ПОЛНОЕ СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ ДЖЭКА ЛОНДОНА

ТОМ II КНИГИ 3 — 4

МОРСКОЙ ВОЛК

РОМАН

РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

ПЕРЕВОД С АНГЛИЙСКОГО
под ред. З. А. ВЕРШИНИНОЙ

ПРИЛОЖЕНИЕ К ЖУРНАЛУ
„ВСЕМИРНЫЙ СЛЕДОПЫТ“
МОСКВА — 1928

JACK LONDON

THE SEA-WOLF

TALES OF THE FISH PATROL



Jack London

1876-1916

ОБЛОЖКА А. МОГИЛЕВСКОГО

ОТПЕЧАТАНО В ТИПОГРАФИИ
„КРАСНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ"
ПИМЕНОВСКАЯ, 16, В КОЛИЧ.
50.000 экз. ГЛАВЛИТ № А—7164
1928

ДЖЭК ЛОНДОН

МОРСКОЙ ВОЛК

ГЛАВА I

Не знаю, как и с чего начать. Иногда, в шутку, обвиняю во всем случившемся Чарли Ферессета. В долине Милль, под сенью горы Тамалпэс, у него была дача, но он приезжал туда только зимой и отдыхал за чтением Ницше и Шопенгауэра. А летом он предпочитал выпариваться в пыльной духоте города, надрываясь от работы.

Если бы не моя привычка приезжать к нему каждую субботу в полдень и оставаться у него до утра следующего понедельника, то это чрезвычайное утро январского понедельника не застало бы меня в волнах бухты Сан-Франциско.

И не потому это произошло, что я сел на плохое судно,—нет, «Мартинец» был новый пароходик и совершал всего четвертый или пятый рейс между Саусалито и Сан-Франциско.

Опасность таилась в густом тумане, который обволакивал бухту и о коварстве которого я, как сухопутный житель, мало знал.

Вспоминаю спокойную радость, с какой я уселся на верхней палубе, у лоцманской рубки [1]), и как туман захватил мое воображение своей таинственностью.

Дул свежий морской ветер, и некоторое время я был один в сырой мгле,—впрочем, не совсем один, так как я смутно чувствовал присутствие лоцмана и того, кого я принимал за капитана, в стеклянном домике над моей головой.

Вспоминаю, как я думал тогда об удобстве разделения труда, делавшем ненужным для меня изучение туманов, ветров, течений и всей морской науки, если я хочу навестить друга, живущего по другую сторону залива. Хорошо, что люди разделяются по специальностям,—думал я в полудремоте. Познания лоцмана и капитана избавляли от забот несколько тысяч людей, которые знали о море и о мореплавании не больше, чем я. С другой стороны, вместо того, чтобы расходовать свою энергию на изучение множества вещей, я мог сосредоточить ее на немногом и более важном, например, на анализе вопроса: какое место занимает писатель Эдгар По в американской

---

[1]) Каюта на верхней палубе.

литературе,—кстати, тема моей статьи в последнем номере журнала «Атлантик».

Когда, садясь на пароход, я проходил через каюту, я с удовольствием заметил полного человека, читавшего «Атлантик», открытый как раз на моей статье. Тут опять было разделение труда: специальные познания лоцмана и капитана позволяли полному джентльмену, пока его везли из Саусалито в Сан-Франциско, знакомиться с моими специальными познаниями о писателе По.

Какой-то краснолицый пассажир, громко захлопнув за собой дверь каюты и выйдя на палубу, прервал мои размышления, и я успел только отметить у себя в мозгу тему для будущей статьи, под названием: «Необходимость свободы. Слово в защиту художника».

Краснолицый человек бросил взгляд на будку лоцмана, посмотрел пристально на туман, проковылял, громко топая, взад и вперед по палубе (у него были, повидимому, искусственные конечности) и стал рядом со мною, широко расставив ноги, с выражением явного удовольствия на лице. Я не ошибся, когда решил, что вся его жизнь протекла на море.

— Этакая пакостная погода поневоле делает людей седыми раньше времени,—сказал он, кивнув на лоцмана, стоявшего в своей будке.

— А я не думал, что тут требуется особое напряжение,—ответил я,—кажется, дело просто, как дважды два четыре. Они знают направление по компасу, расстояние и скорость. Все это точно, как математика.

— Направление!—возразил он.—Просто, как дважды два; точно, как математика!—Он укрепился потверже на ногах и откинулся назад, чтобы посмотреть на меня в упор.

— А что вы думаете насчет этого течения, которое мчится теперь через Золотые Ворота? Знакома ли вам сила отлива?—спросил он.—Поглядите, как быстро относит шхуну. Слышите, как звонит буй [1]), а мы идем прямо на него. Смотрите, им приходится менять курс.

Из тумана несся заунывный колокольный звон, и я видел, как лоцман быстро поворачивал штурвал [2]). Колокол, который, казалось, был где-то прямо перед нами, звонил теперь сбоку. Наш собственный гудок хрипло гудел, и время от времени доносились до нас из тумана гудки других пароходов.

---

[1]) Поплавок из дерева, железа или меди сфероидальной или цилиндрической формы. Буи, ограждающие фарватер, снабжаются колоколом.

[2]) Колесо с ручками для вращения румпеля,—рычага, поворачивающего руль.

— Это, должно быть, пассажирский,—сказал вновь пришедший, обратив мое внимание на гудок, донесшийся справа.—А там, слышите? Это говорят в рупор, вероятно, с плоскодонной шхуны. Да, я так и думал! Эй вы, на шхуне! Глядите в оба! Ну, сейчас затрещит какой-нибудь из них.

Невидимое судно издавало гудок за гудком, и рупор звучал, как бы пораженный ужасом.

— А теперь они обмениваются приветствиями и стараются разойтись,—продолжал краснолицый человек, когда встревоженные гудки прекратились.

Его лицо сияло и глаза искрились от возбуждения, когда он переводил на человеческий язык все эти сигналы гудков и сирен.

— А это вот сирена парохода, держащего курс налево. Слышите этого молодца с лягушкой в горле? Это паровая шхуна, насколько я могу судить, ползет против течения.

Пронзительный тонкий свисток, визжа, как будто он взбесился, слышался впереди, очень близко от нас. Зазвучали гонги на «Мартинце». Наши колеса остановились. Их пульсирующие удары замерли и потом начались вновь. Взвизгивающий свисток, как чириканье сверчка среди рева больших зверей, донесся из тумана сбоку, а затем стал звучать все слабее и слабее.

Я посмотрел на моего собеседника, желая получить разъяснение.

— Это один из дьявольски-отчаянных баркасов,—сказал он.—Я даже, пожалуй, желал бы потопить эту скорлупку. От этаких-то и бывают разные неприятности. А какая от них польза? Всякий негодяй садится на такой баркас, гонит его и в хвост и в гриву. Отчаянно свистит, желая проскочить среди других, и пищит всему свету, чтоб его сторонились. Сам-то не может уберечь себя. А вы должны смотреть в оба. Уйди с дороги! Это самое элементарное приличие. А они этого как раз и не знают.

Меня развеселил его непонятный гнев, и, пока он возмущенно ковылял взад и вперед, я любовался романтическим туманом. И он, действительно, был романтичен, этот туман, подобный серому призраку бесконечной тайны,—туман, клубами окутывавший берега. А люди, эти искры, одержимые сумасшедшей тягой к труду, проносились через него на своих стальных и деревянных конях, пронизывая самое сердце его тайны, слепо прокладывая свои пути сквозь невидимое и перекликаясь в беспечной болтовне, в то время как сердца их сжимались от неуверенности и страха. Голос и смех моего спутника вернули меня к действительности. Я тоже шел ощупью и спотыкался, полагая, что с открытыми и ясными глазами иду сквозь тайну.

— Алло! Кто-то пересекает нам путь,—говорил он.—Вы слышите? Идет на всех парах. Идет прямо на нас. Он, верно, еще не слышит нас. Относит ветром.

Свежий бриз дул нам в лицо, и я уже ясно слышал гудок сбоку, несколько впереди нас.

— Пассажирский?—спросил я.

Он кивнул и добавил:

— Не очень-то хочется ему щелкнуться!—Он насмешливо хмыкнул.—И у нас закопошились.

Я взглянул наверх. Капитан высунул голову и плечи из лоцманской будки и пристально всматривался в туман, как будто он мог пронизать его силой воли. Лицо его выражало такое же беспокойство, как и лицо моего спутника, который подошел к перилам и смотрел с напряженным вниманием в сторону невидимой опасности.

Затем все произошло с непостижимой быстротой. Туман вдруг рассеялся, как будто расщепленный клином, и из него вынырнул остов парохода, тянувшего за собою с обеих сторон клочья тумана, точно водоросли на хоботе Левиафана [1]). Я увидел лоцманскую будку и человека с белой бородой, высунувшегося из нее. Он был одет в синюю форменную тужурку, и я помню, что он показался мне красивым и спокойным. Его спокойствие при этих обстоятельствах было даже страшным. Он встречал свою судьбу, шел с ней рука об руку, хладнокровно размеряя ее удар. Наклонившись, он смотрел на нас без всякой тревоги, внимательным взглядом, как будто желая определить с точностью то место, где мы должны были столкнуться, и не обратил ровно никакого внимания, когда наш лоцман, бледный от бешенства, прокричал:

— Ну, радуйтесь, вы сделали свое дело!

Вспоминая прошлое, я вижу, что замечание было так верно, что вряд ли можно было ожидать на него возражений.

— Ухватитесь за что-нибудь и повисните,—обратился ко мне краснолицый человек. Вся горячность его исчезла, и он точно заразился сверхъестественным спокойствием.

— Прислушайтесь, как закричат женщины,—продолжал он угрюмо, почти злобно, и мне показалось, что он когда-то уже испытал подобное происшествие.

Пароходы столкнулись раньше, чем я мог последовать его совету. Должно быть, мы получили удар в самый центр, потому что я уже не видел ничего: чужой пароход исчез из круга моего зрения. «Мартинец» круто накренился, а затем раздался треск раздиравшейся

---

[1]) Левиафан — в древне-еврейских и средневековых преданиях демоническое существо, кольцеобразно извивающееся.

обшивки. Я был отброшен навзничь на мокрую палубу, и едва успел вскочить на ноги, услышал жалобные вопли женщин. Я уверен, что именно эти неописуемые, леденящие кровь звуки заразили меня общей паникой. Я вспомнил о спасательном поясе, спрятанном у меня в каюте, но в дверях был встречен и отброшен назад диким потоком мужчин и женщин. Что происходило в течение нескольких следующих минут, я совершенно не мог сообразить, хотя отлично припоминаю, что я стаскивал вниз с верхних перил спасательные круги, а краснолицый пассажир помогал надевать их истерически кричавшим женщинам. Воспоминание об этой картине сохранилось у меня яснее и отчетливее, чем что-либо за всю мою жизнь.

Вот как разыгрывалась сцена, которую я вижу перед собой и до сих пор.

Зубчатые края дыры, образовавшиеся в боку каюты, сквозь которую вертящимися клубами врывался серый туман; опустевшие мягкие сиденья, на которых валялись доказательства внезапного бегства: пакеты, ручные саквояжи, зонтики, свертки; полный господин, читавший мою статью, а теперь обмотанный пробкой и парусиной, все с тем же журналом в руках, спрашивающий меня с монотонной настойчивостью, думаю ли я, что есть опасность; краснолицый пассажир, храбро ковыляющий на своих искусственных ногах и набрасывающий спасательные пояса на всех проходящих мимо, и, наконец, бедлам воющих от отчаяния женщин.

Вопль женщин больше всего действовал мне на нервы. То же, по-видимому, угнетало и краснолицего пассажира, потому что передо мной стоит еще и другая картина, которая тоже никогда не изгладится из моей памяти. Толстый господин засовывает журнал в карман своего пальто и странно, как бы с любопытством, озирается по сторонам. Сбившаяся толпа женщин с искаженными бледными лицами и с открытыми ртами кричит, как хор погибших душ; и краснолицый пассажир, теперь уже с багровым от гнева лицом и с руками, поднятыми над головой, точно он собирался бросать громовые стрелы, кричит:

— Замолчите! Перестаньте же, наконец!

Я помню, что эта сцена вызвала во мне внезапный смех, а в следующее мгновение я понял, что заражаюсь истерикой; эти женщины, полные страха смерти и не желавшие умирать, были мне близки, как мать, как сестры. И я помню, что вопли, которые они издавали, напомнили мне вдруг свиней под ножом мясника, и сходство это своей яркостью ужаснуло меня. Женщины, способные на самые прекрасные чувства и нежнейшие привязанности, стояли теперь с открытыми ртами и кричали во всю мочь. Они хотели жить, они были беспомощны, как крысы, попавшие в западню, и все они вопили.

Ужас этой сцены выгнал меня на верхнюю палубу. Я почувствовал себя дурно и опустился на скамейку. Смутно видел и слышал я, как люди с воплями проносились мимо меня к спасательным шлюпкам, стараясь их спустить собственными силами. Это было совершенно то самое, что я читал в книгах, когда описывались подобные сцены. Блоки срывались. Все было в неисправности. Удалось спустить одну лодку, но в ней оказалась течь; перегруженная женщинами и детьми, она наполнилась водой и перевернулась. Другую лодку спустили одним концом, а другой застрял на блоке. Никаких следов чужого парохода, бывшего причиной несчастия, не было видно: я слышал, как говорили, что он во всяком случае должен выслать за нами свои лодки.

Я спустился на нижнюю палубу. «Мартинец» быстро шел ко дну, и видно было, что конец близок. Многие пассажиры стали бросаться в море через борт. Другие же, в воде, умоляли, чтобы их приняли обратно. Никто не обращал на них внимания. Послышались крики, что мы тонем. Началась паника, которая захватила и меня, и я, с целым потоком других тел, бросился через борт. Как я перелетел через него, я положительно не знаю, хотя и понял в ту же минуту, почему те, кто бросился в воду раньше меня, так сильно желали вернуться наверх. Вода была мучительно холодна. Когда я погрузился в нее, меня точно обожгло огнем, и в то же время холод пронизал меня до мозга костей. Это была как бы схватка со смертью. Я задыхался от острой боли в легких под водой, пока спасательный пояс не вынес меня обратно на поверхность моря. Во рту у меня был вкус соли и что-то сжимало мне горло и грудь.

Но самым ужасным был холод. Я чувствовал, что смогу прожить только несколько минут. Люди боролись за жизнь вокруг меня; многие шли ко дну. Я слышал, как они взывали о помощи, и слышал плеск весел. Очевидно, чужой пароход все-таки спустил свои шлюпки. Время шло, и я изумлялся тому, что я все еще жив. В нижней половине тела я не утратил чувствительности, но леденящее онемение обволакивало мое сердце и вползало в него.

Мелкие волны со злобно пенившимися гребешками перекатывались через меня, заливали мне рот и все сильнее вызывали приступы удушья. Звуки вокруг меня становились неясными, хотя я все же услышал последний, полный отчаяния вопль толпы вдали: теперь я знал, что «Мартинец» пошел ко дну. Позже—насколько позже, не знаю—я пришел в себя от объявшего меня ужаса. Я был один. Я не слышал больше криков о помощи. Раздавался только шум волн, фантастически вздымавшихся и мерцавших в тумане. Паника в толпе объединенной некоторой общностью интересов, не так ужасна, как страх в одиночестве, и такой страх я теперь испытывал. Куда несло

меня течение? Краснолицый пассажир говорил, что поток отлива мчится через Золотые Ворота. Значит, меня уносило в открытый океан? А спасательный пояс, в котором я плыл? Разве не мог он каждую минуту лопнуть и развалиться? Я слышал, что пояса делаются иногда из простой бумаги и сухого камыша, скоро пропитываются водой и теряют способность держаться на поверхности. А я не мог бы проплыть без него и одного фута. И я был один, несясь куда-то среди серой первобытной стихии. Признаюсь, что мною овладело безумие: я стал громко кричать, как перед этим кричали женщины, и колотил по воде онемевшими руками.

Как долго это продолжалось, я не знаю, ибо подоспело на помощь забытье, от которого остается не больше воспоминаний, чем от тревожного и мучительного сна. Когда я пришел в себя, мне показалось, что прошли целые века. Почти над самой моей головой выплывал из тумана нос какого-то судна, и три треугольных паруса, один над другим, туго вздувались от ветра. Там, где нос разрезал воду, море вскипало пеной и булькало, и казалось, что я нахожусь на самом пути корабля. Я пробовал закричать, но от слабости не мог издать ни единого звука. Нос нырнул вниз, едва не коснувшись меня, и окатил меня потоком воды. Потом длинный, черный борт судна начал скользить мимо так близко, что я мог бы прикоснуться к нему рукой. Я старался дотянуться до него, с безумной решимостью вцепиться в дерево своими ногтями, но мои руки были тяжелы и безжизненны. Снова я попытался кричать, но так же безуспешно, как и в первый раз.

Затем мимо меня пронеслась и корма судна, то опускаясь, то поднимаясь во впадинах между волнами, и я увидел человека, стоящего у штурвала, и другого, который, казалось, ничего не делал и только курил сигару. Я видел, как дым выходил из его рта, в то время как он медленно поворачивал голову и смотрел поверх воды в моем направлении. Это был небрежный, бесцельный взгляд,—так смотрит человек в минуты полного покоя, когда его не ждет никакое очередное дело, а мысль живет и работает сама по себе.

Но в этом взгляде были для меня жизнь и смерть. Я видел, что карабль уже готов утонуть в тумане, видел спину матроса, стоявшего у руля, и голову другого человека, медленно поворачивавшегося в мою сторону, видел, как его взгляд упал на воду и случайно коснулся меня. На его лице было такое отсутствующее выражение, точно он был занят какой-то глубокой мыслью, и я боялся, что если глаза его и скользнут надо мной, то все-таки он не увидит меня. Но его взгляд вдруг остановился прямо на мне. Он пристально вгляделся и заметил меня, потому что тотчас же подскочил к штурвалу, оттолкнул рулевого и стал обеими руками вертеть колесо, выкрикивая

какую-то команду. Мне показалось, что судно изменило направление, скрываясь в тумане.

Я чувствовал, что теряю сознание, и попытался напрячь все силу воли, чтобы не поддаться темному забытью, обволакивавшему меня. Немного спустя я расслышал удары весел по воде, раздававшиеся ближе и ближе, и чьи-то восклицания. А потом совсем близко я услышал, как кто-то закричал: «Да какого же чорта вы не откликаетесь?» Я понял, что это относится ко мне, но забытье и мрак поглотили меня.

ГЛАВА II

Мне казалось, что я качаюсь в величественном ритме мирового пространства. Сверкавшие точки света носились возле меня. Я знал, что это звезды и яркая комета, которые сопровождали мой полет. Когда я достигал предела моего размаха и готовился лететь обратно, раздавались звуки большого гонга. В течение неизмеримого периода, в потоке спокойных столетий, я наслаждался моим страшным полетом, стараясь постичь его. Но какая-то перемена случилась в моем сне,—я сказал себе, что это, видимо, сон. Размахи становились короче и короче. Меня бросало с раздражающей быстротой. Я едва мог переводить дух, так свирепо меня швыряло по небесам. Гонг гремел все чаще и громче. Я ждал его уже с неописуемым страхом. Потом мне стало казаться, будто меня тащат по песку, белому, накаленному солнцем. Это доставляло невыносимые мучения. Моя кожа горела, точно ее жгли на огне. Гонг гудел похоронным звоном. Светящиеся точки струились в бесконечном потоке, будто вся звездная система изливалась в пустоту. Я задыхался, мучительно ловя воздух, и вдруг открыл глаза. Два человека, стоя на коленях, что-то делали со мной. Могучий ритм, качавший меня туда и сюда, был подъемом и опусканием судна в море во время качки. Страшилищем-гонгом была сковорода, висевшая на стене. Она громыхала и бренчала с каждой встряской судна на волнах. Грубым и раздирающим тело песком оказались жесткие мужские руки, растиравшие мою обнаженную грудь. Я вскрикнул от боли и приподнял голову. Моя грудь была ободранной и красной, и я увидел капельки крови на воспаленной коже.

— Ну, ладно, Ионсон,—сказал один из мужчин.—Разве ты не видишь, как мы ободрали кожу у этого джентльмена?

Человек, которого назвали Ионсоном, мужчина тяжелого скандинавского типа, перестал растирать меня и неуклюже поднялся на ноги. Говоривший с ним был, очевидно, истым лондонцем, настоящим «кокней», с миловидными, почти женственными чертами лица. Он, конечно, вместе с молоком матери всосал в себя звуки колоколов

церкви Bow [1]). Грязный полотняный колпак на голове и грязный мешок, привязанный к его тонким бедрам вместо фартука, говорили о том, что он был поваром на той грязной корабельной кухне, где я пришел в сознание.

— Как вы чувствуете себя, сэр, теперь?—спросил он с искательной улыбкой, которая вырабатывается в ряде поколений, получавших на чай.

Вместо ответа я с трудом сел и с помощью Ионсона попытался стать на ноги. Громыханье и удары сковороды царапали мои нервы. Я не мог собрать свои мысли. Опираясь на деревянную облицовку кухни,—должен признаться, что покрывавший ее слой сала заставил меня крепко стиснуть зубы,—я прошел мимо ряда кипящих котлов, достиг беспокойной сковороды, отцепил ее и с удовольствием швырнул в угольный ящик.

Повар ухмыльнулся на такое проявление нервности и сунул мне в руки дымящуюся кружку.

— Вот, сэр,—сказал он,—это будет вам на пользу.

В кружке была тошнотворная смесь—корабельный кофе,—но теплота ее оказалась живительной. Глотая варево, поглядывал я на мою ободранную и кровоточившую грудь; затем обратился к скандинавцу:

— Спасибо вам, мистер Ионсон,—сказал я,—но не находите ли вы, что ваши меры были несколько героичны?

Он понял мой упрек скорее по моим движениям, чем из слов, и, подняв свою ладонь, стал ее рассматривать. Вся она была в твердых мозолях. Я провел рукой по роговым выступам, и мои зубы опять сжались, когда я почувствовал их ужасающую жесткость.

— Мое имя Джонсон, а не Ионсон,—сказал он на очень хорошем, хотя и с медлительным выговором, английском языке, с еле слышным акцентом.

В его светло-голубых глазах мелькнул легкий протест, и в них же светились прямодушие и мужественность, сразу расположившие меня в его пользу.

— Благодарю вас, мистер Джонсон,—поправился я и протянул руку для пожатия.

Он поколебался, неловкий и застенчивый, переступил с одной ноги на другую и затем крепко и сердечно пожал мне руку.

— Нет ли у вас какой-нибудь сухой одежды, которую я мог бы надеть?—обратился я к повару.

---

[1]) Старинная церковь St. Mary-Bow, или просто Bow-church, в центральной части Лондона—Сити; все, кто родился в квартале возле этой церкви, куда доносится звук ее колоколов, считаются самыми доподлинными лондонцами, которых в Англии в насмешку называют „cocney“.

— Найдется,—ответил он с веселой живостью.—Сейчас я сбегаю вниз и пороюсь в своем приданом, если вы, сэр, конечно, не побрезгуете надеть мои вещи.

Он выскочил из двери кухни или, скорее, выскользнул из нее с кошачьей ловкостью и мягкостью: он скользил бесшумно, точно обмазанный маслом. Эти мягкие движения, как мне пришлось позднее заметить, были наиболее характерным признаком его персоны.

— Где я?—спросил я Джонсона, которого правильно счел за матроса.—Что это за судно и куда оно идет?

— Мы отошли от Фарралонских островов, идем приблизительно на юго-запад,—ответил он медленно и методически, как будто нащупывая выражения на лучшем английском языке и стараясь не сбиться в порядке моих вопросов.—Шхуна «Призрак» идет за котиками в сторону Японии.

— А кто капитан? Я должен повидаться с ним, как только переоденусь.

Джонсон смутился и принял озабоченный вид. Он не решился отвечать до тех пор, пока не справился со своим словарем и не составил в уме полного ответа.

— Капитан—Вульф Ларсен, так его, по крайней мере, все зовут. Я никогда не слышал, чтобы его называли иначе. Но вы разговаривайте с ним поласковее. Не в себе он сегодня. Его помощник...

Но он не окончил. В кухню, точно на коньках, скользнул повар.

— Не убраться ли тебе отсюда поскорее, Йонсон,—сказал он.— Пожалуй, хватится тебя на палубе старик. Не стоит его злить сегодня.

Джонсон послушно направился к двери, подбодрив меня, за спиной повара, забавно торжественным и несколько зловещим подмигиванием, как бы подчеркивая свое прерванное замечание о том, что мне необходимо вести себя помягче с капитаном.

На руке у повара висело смятое и заношенное облачение довольно гнусного вида, отдававшее каким-то кислым запахом.

— Платье уложили мокрым, сэр,—удостоил он объяснить.—Но как-нибудь обойдетесь, пока я не высушу вашей одежды на огне.

Опираясь на деревянную облицовку, то-и-дело оступаясь от корабельной качки, я при помощи повара надел грубую шерстяную фуфайку. В ту же минуту тело мое съежилось и заныло от колючего прикосновения. Повар заметил мои невольные подергивания и гримасы и ухмыльнулся.

— Надеюсь, сэр, что вам никогда больше не придется надевать на себя такую одежду. У вас удивительно нежная кожа, нежнее, чем у лэди; такой, как у вас, я никогда еще не видал. Я сразу понял, что

вы настоящий джентльмен, в первую же минуту, как только увидел вас здесь.

С самого начала он мне не понравился, и, пока он помогал мне одеваться, моя антипатия к нему росла. В его прикосновении было что-то отталкивающее. Я ежился под его руками, мое тело возмущалось. И поэтому, а в особенности из-за запахов от различных горшков, которые кипели и булькали на плите, я спешил как можно скорее выбраться на свежий воздух. К тому же нужно было повидаться с капитаном, чтобы обсудить с ним, каким образом высадиться мне на берег.

Дешевая бумажная рубашка с драным воротом и выцветшей грудью и с чем-то еще, что я принял за старые следы крови,—была надета на меня среди непрекращавшегося ни на одну минуту потока извинений и объяснений. Ноги мои оказались в грубых рабочих сапогах, а штаны были бледно-голубыми, полинявшими, при чем одна штанина дюймов на десять короче другой. Укороченная штанина заставляла думать, будто дьявол пробовал цапнуть через нее душу повара и поймал тень вместо сущности.

— Кого я должен благодарить за эту любезность?—спросил я, напялив на себя все эти лохмотья. На моей голове красовалась крохотная мальчишеская шапочка, а вместо пиджака была грязная полосатая куртка, оканчивавшаяся выше пояса, с рукавами до локтей.

Повар почтительно выпрямился с искательной улыбкой. Я мог бы поклясться, что он ожидал получить от меня на чай. Впоследствии я убедился, что поза эта—бессознательная: то была унаследованная от предков угодливость.

— Магридж, сэр,—расшаркался он, и его женственные черты расплылись в масляной улыбке.—Томас Магридж, сэр, к вашим услугам.

— Хорошо, Томас,—продолжал я,—когда высохнет моя одежда, я вас не забуду.

Мягкий свет разлился по его лицу, и глаза заблестели, точно где-то в глубине его предки шевельнули в нем смутные воспоминания о чаевых, полученных в прежние существования.

— Благодарю вас, сэр,—сказал он почтительно.

Дверь распахнулась бесшумно, он ловко скользнул в сторону,—и я вышел на палубу.

Я все еще чувствовал слабость после продолжительного купанья. Порыв ветра налетел на меня, и я, проковыляв по качающейся палубе до угла каюты, уцепился за него, чтобы не упасть. Сильно накренясь, шхуна то опускалась, то поднималась на длинной тихоокеанской волне. Если шхуна шла, как сказал Джонсон, на юго-запад, то ветер дул, по-моему, с юга. Туман исчез, и появилось солнце, сверкавшее

на волнующейся поверхности моря. Я поглядел на восток, где, как я знал, находилась Калифорния, но не увидел ничего, кроме низко лежавших пластов тумана, того самого тумана, который, без сомнения, был причиною крушения «Мартинца» и ввергнул меня в мое теперешнее состояние. К северу, не очень далеко от нас, возвышалась над морем группа голых скал; на одной из них я заметил маяк. На юго-западе, почти в том же направлении, в каком шли и мы, я увидел неясные очертания треугольных парусов какого-то судна.

Закончив обзор горизонта, я перевел глаза на то, что меня окружало вблизи. Моей первой мыслью было, что человек, перенесший крушение и плечом к плечу коснувшийся смерти, заслуживает больше внимания, чем мне оказали здесь. Кроме матроса у рулевого колеса, с любопытством оглядывавшего меня через крышу каюты, никто не обратил на меня никакого внимания.

Казалось, все были заинтересованы тем, что происходило на середине шхуны. Там, на люке, лежал на спине какой-то грузный человек. Он был одет, но рубашка его была разорвана спереди. Однако, кожи его не было видно: грудь была почти сплошь покрыта массой черных волос, похожих на мех собаки. Его лицо и шея были скрыты под черной с проседью бородой, которая, вероятно, казалась бы жесткой и окладистой, если бы не была испачкана чем-то клейким и если бы с нее не стекала вода. Глаза его были закрыты, и он, по-видимому, лежал без сознания; рот был широко открыт, и грудь тяжело поднималась, точно ей нехватало воздуха; дыхание с шумом вырывалось наружу. Один матрос время от времени, методически, точно совершая самое привычное дело, опускал на веревке брезентовое ведерко в океан, вытаскивал, перехватывая веревку руками, и выливал воду на лежавшего без движения человека.

Взад и вперед по палубе ходил, свирепо пожевывая кончик сигары, тот самый человек, случайный взор которого спас меня из морской глубины. Рост его был, видимо, пять футов десять дюймов, или на полдюйма больше, но он поражал не ростом, а той необыкновенной силой, которую вы чувствовали при первом же взгляде на него. Хотя у него были широкие плечи и высокая грудь, но я не назвал бы его массивным: в нем чувствовалась сила закаленных мускулов и нервов, какую мы склонны приписывать обычно людям сухим и худощавым; а в нем эта сила, благодаря его тяжелому сложению, напоминала что-то в роде силы гориллы. И в то же время по внешности он нисколько не походил на гориллу. Я хочу сказать, что сила его была чем-то вне его физических особенностей. Это была сила, которую мы приписываем древним, упрощенным временам, которую мы привыкли соединять с первобытными существами, обитавшими на деревьях и бывшими нам сродни; это—вольная,

свирепая сила, могучая квинт-эссенция жизни, первобытная мощь, рождающая движение, та первичная сущность, которая лепит формы жизни,—короче, та живучесть, которая заставляет тело змеи извиваться, когда ее голова отрезана, и змея мертва, или которая томится в неуклюжем теле черепахи, заставляя его подскакивать и дрожать от легкого прикосновения пальца.

Такую силу чувствовал я в этом ходившем взад и вперед человеке. Он крепко стоял на ногах, его ступни уверенно ступали по палубе; каждое движение его мускулов, что бы он ни делал,—пожимал ли плечами или плотно сжимал губы, державшие сигару,—было решительным и, казалось, рождалось из чрезмерной и бьющей через край энергии. Однако, эта сила, пронизывавшая каждое его движение, была лишь намеком на другую, еще большую силу, которая в нем дремала и только время от времени шевелилась, но могла проснуться в любой момент и быть страшной и стремительной, как бешенство льва или разрушительный порыв бури.

Повар высунул голову из кухонных дверей, ободряюще ухмыльнулся и указал мне пальцем на человека, ходившего взад и вперед по палубе. Мне дано было понять, что это и был капитан, или, на языке повара, «старик», именно то лицо, которое мне нужно было потревожить просьбой высадить меня на берег. Я уже шагнул вперед, чтобы покончить с тем, что, по моим предположениям, должно было вызвать бурю минут на пять, но в эту минуту страшный пароксизм удушья овладел несчастным, лежавшим на спине. Он сгибался и корчился в конвульсиях. Подбородок с мокрой черной бородой еще больше выпятился кверху, спина изгибалась, а грудь вздувалась в инстинктивном усилии захватить как можно больше воздуха. Кожа под его бородой и на всем теле—я знал это, хотя и не видел—принимала багровый оттенок.

Капитан, или Вульф Ларсен, как называли его окружающие, перестал ходить и посмотрел на умиравшего. Эта последняя схватка жизни со смертью была такой жестокой, что матрос прервал обливание водой и с любопытством уставился на умиравшего, в то время как брезентовое ведро наполовину съежилось, и вода выливалась из него на палубу. Умирающий, выбив на люке зорю своими каблуками, вытянул ноги и застыл в последнем великом напряжении; только голова еще двигалась из стороны в сторону. Затем мускулы ослабли, голова перестала двигаться, и вздох глубокого успокоения вырвался из его груди. Челюсть отвисла, верхняя губа поднялась и обнажила два ряда зубов, потемневших от табака. Казалось, что черты его лица застыли в дьявольской усмешке над миром, оставленным и одураченным им.

После этого произошла удивительная вещь. Капитан разразился над мертвецом как взрыв грома. Проклятия потоком полились из его уст. И это не были обычные ругательства или неприличные выражения. Каждое слово было кощунством, и таких слов было немало. Они переплетались и трещали как электрические искры. Я никогда не слышал ничего похожего и даже не представлял себе, что могут существовать такие выражения. Так как я был литератор и питал большое пристрастие к ярким образам и сочным выражениям, я мог оценить, как ни один другой слушатель, своеобразную силу, живость и богохульство его метафор. Насколько я мог понять, причиной его гнева было то, что покойник, который был на корабле помощником капитана, устроил на берегу дебош перед самым отходом из Сан-Франциско и потом проявил дурной вкус, скончавшись в самом начале плавания и оставив Ларсена без ближайшего сотрудника.

Бесполезно добавлять, особенно для моих друзей, что я был всем этим очень шокирован. Проклятия и гадкая брань были мне всегда противны. Я почувствовал слабость, головокружение и тошноту. Смерть была для меня связана с торжественностью; она представлялась мне тихой и кроткой в своем процессе и священной по своим обрядам. Но смерть в ее отталкивающем и ужасном виде была для меня явлением, с которым я до тех пор не был знаком. Оценив всю силу выражений, которые вылетали из уст Вульфа Ларсена, я был в то же время невыразимо шокирован. Палящий поток брани мог воспламенить даже труп. Я не удивился бы, если бы черная борода вдруг зашевелилась и вспыхнула дымом и пламенем. Но мертвец был невозмутим. Он ухмылялся с сардоническим [1]) юмором, с цинической издевкой и вызовом. Он был хозяином положения.

ГЛАВА III

Вульф Ларсен так же внезапно прекратил свою брань, как и начал. Он снова зажег сигару и огляделся вокруг. Его глаза случайно остановились на поваре.

— Ну-с, повар?—начал он с мягкостью, которая была холодна как сталь.

— Есть, сэр,—преувеличенно живо ответил повар с успокаивающей и заискивающей услужливостью.

— Не кажется ли тебе, что ты не особенно удобно вытягиваешь шею? Это вредно для здоровья, я слышал. Штурман умер, и мне не хотелось бы потерять и тебя. Тебе нужно, дружок, очень-очень беречь свое здоровье. Понял?

---

[1]) Сардонический— желчный, злой, язвительный.

Последнее слово в разящем контрасте с ровным тоном всей речи хлестнуло, как удар кнута. Повар съежился под ним.

— Есть, сэр,—кротко пролепетал он, и его шея, вызвавшая раздражение, исчезла вместе с головой в кухне.

После внезапной головомойки, полученной поваром, остальная команда перестала интересоваться происходившим и погрузилась в ту или другую работу. Однако, несколько человек, которые расположились между кухней и люком и которые, казалось, не были матросами, продолжали между собой разговор в пониженном тоне. Как я потом узнал, это были охотники, считавшие себя несравненно выше простых матросов.

— Иогансен!—крикнул Вульф Ларсен.

Один матрос послушно выступил вперед.

— Возьми иголку и зашей этого бродягу. Ты найдешь старую парусину в ящике для парусов. Прилadь ее.

— А что привязать ему к ногам, сэр?—спросил матрос.

— Ну, там увидим,—ответил Вульф Ларсен и возвысил голос.— Эй, повар!

Томас Магридж выскочил из кухни, как Петрушка из ящика.

— Спустись вниз и насыпь мешок угля. А что, товарищи, не найдется ли у кого-нибудь из вас библии или молитвенника?—было следующим вопросом капитана, на этот раз обращенным к охотникам.

Они отрицательно мотнули головами, а один из них сделал какое-то насмешливое замечание,—я не расслышал его,—вызвавшее общий смех.

Вульф Ларсен обратился с тем же вопросом к матросам. Повидимому, библия и молитвенники были здесь редким явлением, хотя один из матросов вызвался спросить нижнюю вахту и вернулся через минуту с сообщением, что и там этих книг не оказалось.

Капитан пожал плечами.

— Тогда мы попросту перекинем его через борт без всякой болтовни, если только наш поповского вида тунеядец не знает наизусть похоронной службы на море.

И, повернувшись ко мне, он поглядел мне прямо в глаза.

— Вы пастор? Да?—спросил он.

Охотники,—их было шесть,—все как один повернулись и стали на меня смотреть. Я мучительно сознавал, что был похож на пугало. Моя наружность вызвала хохот. Хохотали, нисколько не стесняясь присутствием мертвого тела, вытянувшегося перед нами на палубе с саркастической улыбкой. Хохот был резким, жестоким и откровенным, как и само море. Он исходил от натур с грубыми и притупленными чувствами, не знавших ни мягкости, ни учтивости.

Вульф Ларсен не смеялся, хотя в его серых глазах и зажглась слабым огоньком усмешка. Я стоял как раз перед ним и получил первое общее впечатление от него самого, независимо от того потока кощунств, который я только-что услышал. Квадратное лицо, с крупными, но правильными чертами и строгими линиями, казалось на первый взгляд массивным; но так же, как и от его тела, впечатление массивности вскоре исчезло; рождалась уверенность, что за всем этим лежала в глубине его существа огромная и чрезвычайная духовная сила. Челюсть, подбородок и брови, густые и тяжело нависшие над глазами,—все это сильное и могучее само по себе,—казалось, изобличало в нем необыкновенную мощь духа, которая лежала по ту сторону его физической природы, скрытая от взоров наблюдателя. Нельзя было измерить этот дух, определить его границы или точно классифицировать его и положить на какую-нибудь полочку, рядом с другими, подобными ему типами.

Глаза—а мне судьба предназначила хорошо их изучить—были велики и красивы, они были широко расставлены, как у изваяния, и прикрывались тяжелыми веками под арками густых черных бровей. Цвет глаз был тот обманчивый серый, который никогда не бывает дважды одним и тем же, у которого столько теней и оттенков, как у муара на солнечном свете: он бывает то просто серым, то темным, то светлым и зеленовато-серым, а иногда с оттенком чистой лазури глубокого моря. Это были глаза, которые прятали его душу в тысячах переодеваний и которые только иногда, в редкие минуты открывались и позволяли заглянуть внутрь, как в мир изумительных приключений. Это были глаза, которые могли скрывать безнадежную мрачность осеннего неба; метать искры и сверкать, как шпага в руках воина; быть холодными, как полярный пейзаж, и сейчас же вновь смягчаться и зажигаться горячим блеском или любовным огнем, который очаровывает и покоряет женщин, заставляя их сдаваться в блаженном упоении самопожертвования.

Но вернемся к рассказу. Я ему ответил, что я, как это ни печально для похоронного обряда, не был пастором, и он тогда резко спросил:

— Чем же вы живете?

Признаюсь, что мне никогда не задавали такого вопроса, и я никогда не размышлял над ним. Я был ошеломлен и, прежде чем успел притти в себя, глупо пробормотал:

— Я... я—джентльмен.

Его губы покривились в быстрой усмешке.

— Я работал, я работаю!—закричал я запальчиво, как будто он был моим судьей и мне нужно было перед ним оправдываться; в то же время я сознавал, как глупо с моей стороны обсуждать этот вопрос в такой обстановке.

— Чем вы живете?

В нем было что-то настолько властное и повелительное, что я совсем растерялся, «нарвался на выговор»,—как определил бы это состояние Ферессет,—точно дрожащий ученик перед строгим учителем.

— Кто вас кормит?—был его следующий вопрос.

— У меня есть доходы,—ответил я надменно, и в то же мгновение готов был откусить себе язык.—Все эти вопросы, простите мне мое замечание, не имеют никакого отношения к тому, о чем я хотел бы с вами поговорить.

Но он не обратил внимания на мой протест.

— Кто заработал ваш доход? А? Не вы сами? Я так и думал. Ваш отец. Вы стоите на ногах мертвеца. Вы никогда не стояли на своих собственных ногах. Вы не сможете пробыть один от восхода до восхода солнца и добыть пищу для своего брюха, чтобы набить его три раза в день. Покажите-ка вашу руку!

Дремавшая страшная сила, видимо, шевельнулась в нем, и, раньше чем я успел сообразить, он шагнул вперед, взял мою правую руку и поднял ее, рассматривая. Я попробовал отнять ее, но его пальцы сжались без видимого усилия, и я почувствовал, что мои пальцы будут сейчас размозжены. Было трудно сохранить свое достоинство при таких обстоятельствах. Я не мог барахтаться или бороться, как школьник. Точно так же я не мог сделать нападение на существо, которому было достаточно тряхнуть мне руку, чтобы сломать ее. Пришлось стоять смирно и принять покорно обиду. Я все же успел заметить, что у мертвеца на палубе были обшарены карманы и что его вместе с его улыбкой обернули в парусину, которую матрос Иогансен зашивал толстой белой ниткой, протыкая иголку сквозь парусину с помощью кожаного приспособления, надетого на ладонь.

Вульф Ларсен выпустил мою руку с презрительным жестом.

— Руки мертвецов сделали ее мягкой. Ни на что не годна, кроме посуды и работы на кухне.

— Я хочу, чтобы меня спустили на берег,—сказал я твердо, овладев собой.—Я вам заплачу, во что вы оцените задержку в пути и хлопоты.

Он с любопытством смотрел на меня. Насмешка светилась в его глазах.

— А у меня есть встречное предложение для вас, и это для вашей же пользы,—ответил он.—Мой помощник умер, и у нас будет много перемещений. Один из матросов займет место штурмана, каютный юнга займет место матроса, а вы займете место юнги. Вы подпишете условие на один рейс и будете получать двадцать долларов в месяц на всем готовом. Ну, что вы скажете? Заметьте—это для вашего блага. Это сделает из вас кое-что. Вы научитесь, может быть,

стоять на собственных ногах и даже, пожалуй, немного ковылять на них.

Я молчал. Паруса корабля, который я увидел на юго-западе, делались виднее и отчетливее. Они принадлежали такой же шхуне, как и «Призрак», хотя корпус судна—я заметил—был немного меньше. Красивая шхуна, скользившая по волнам к нам навстречу, очевидно, должна была пройти около нас. Ветер внезапно усилился, и солнце, сердито блеснув два-три раза, исчезло. Море сделалось мрачным, свинцово-серым и стало бросать к небу зашумевшие пенящиеся гребни. Наша шхуна ускорила ход и сильно накренилась. Один раз набежал такой ветер, что борт погрузился в море, и палуба была мгновенно залита водой, так что два охотника, сидевшие на скамье, должны были быстро поднять ноги.

— Это судно скоро пройдет мимо нас,—сказал я после небольшой паузы.—Так как оно идет в противоположном нам направлении, то можно предполагать, что оно направляется в Сан-Франциско.

— Очень вероятно,—ответил Вульф Ларсен и, отвернувшись, крикнул:—Повар!

Повар тотчас же высунулся из кухни.

— Где этот малый? Скажи ему, что он мне нужен.

— Есть, сэр!—и Томас Магридж быстро исчез у другого люка вблизи рулевого колеса.

Спустя минуту он выскочил обратно в сопровождении тяжеловатого юноши, лет восемнадцати-девятнадцати, с красным и злобным лицом.

— Вот и он, сэр,—доложил повар.

Но Вульф Ларсен не обратил на него внимания и, повернувшись к каютному юнге, спросил:

— Как тебя зовут?

— Джордж Лич, сэр,—последовал угрюмый ответ, и по лицу юнги было видно, что он уже знал, почему его позвали.

— Не очень-то ирландское имя,—отрезал капитан.—О'Тул или Мак-Карти лучше подошли бы к твоему рылу. Впрочем, вероятно, у твоей матери был какой-нибудь ирландец с левой стороны.

Я видел, как кулаки парня сжались при оскорблении и как побагровела его шея.

— Но пусть будет так,—продолжал Вульф Ларсен.—У тебя могут быть основательные причины, чтобы желать забыть свое имя, и ты понравишься мне от этого не меньше, если только выдержишь свою марку. «Телеграфная Гора», этот жульнический притон,—конечно, порт твоего отправления. Это написано на всей твоей пакостной физиономии. Я знаю вашу упрямую породу. Ну-с, ты должен сообразить,

что здесь ты свое упрямство должен бросить. Понял? Кстати, кто сдал тебя на службу на шхуну?

— Мак-Криди и Свансон.

— Сэр!—прогремел Вульф Ларсен.

— Мак-Криди и Свансон, сэр,—поправился парень, и в глазах у него вспыхнул злой огонек.

— Кто получил задаток?

— Они, сэр.

— Ну, разумеется! И ты, конечно, был чертовски рад, что дешево отделался. Ты позаботился поскорее удрать, потому что слышал от некоторых джентльменов, что тебя кто-то разыскивает.

В одно мгновение парень преобразился в дикаря. Его тело скорчилось как бы для прыжка, лицо исказилось яростью.

— Это...—закричал он.

— Что это?—спросил Вульф Ларсен с особой мягкостью в голосе, как будто его чрезвычайно интересовало услышать невыговоренное слово.

Парень поколебался и овладел собой.

— Ничего, сэр,—ответил он.—Я беру свои слова назад.

— Ты доказал мне, что я был прав.—Это было сказано с удовлетворенной улыбкой.—Сколько тебе лет?

— Только-что исполнилось шестнадцать, сэр.

— Ложь! Тебе никогда не увидеть снова восемнадцати лет. Такой громадный для своего возраста, и мускулы как у лошади. Сверни свои пожитки и отправляйся на бак [1]). Ты теперь лодочный гребец. Повышение. Понял?

Не дожидаясь согласия юноши, капитан повернулся к матросу, который только-что закончил свою жуткую работу—зашивание мертвеца.

— Иогансен, ты что-нибудь смыслишь в навигации?

— Нет, сэр.

— Ну, не беда, все равно ты назначаешься штурманом. Перенеси свои вещи на койку штурмана.

— Есть, сэр,—последовал веселый ответ, и Иогансен со всех ног бросился на нос.

Но каютный юнга не двигался с места.

— Чего же ты ждешь?—спросил Вульф Ларсен.

— Я не подписывал контракта на лодочного гребца, сэр,—был ответ.—Я заключил договор на каютного юнгу и не хочу служить гребцом.

---

[1]) Верхняя палуба от бушприта до фок-мачты (т.-е. от носа корабля до первой мачты).

— Свертывайся и марш на бак.

На этот раз команда Вульфа Ларсена звучала властно и грозно. Парень ответил угрюмым, гневным взглядом и не двигался с места.

Тут снова Вульф Ларсен показал свою страшную силу. Это было совершенно неожиданно и продолжалось не более двух секунд. Он сделал прыжок в шесть футов через палубу и ударил парня кулаком в живот. В то же мгновение я почувствовал болезненный толчок в области желудка, как будто ударили меня. Я упоминаю об этом, чтобы показать чувствительность моей нервной системы в то время и подчеркнуть, как непривычно было для меня проявление грубости. Юнга,—а он весил не меньше ста шестидесяти пяти фунтов,—скорчился. Его тело свернулось над кулаком капитана, как мокрая тряпка на палке. Затем он подскочил в воздух, описал короткую кривую и упал около трупа, ударившись головой и плечами о палубу. Он остался лежать там, корчась почти в агонии.

— Ну-с,—обратился ко мне Вульф Ларсен.—Вы обдумали?

Я поглядывал на приближавшуюся шхуну: она теперь шла наперерез нам и была на расстоянии каких-нибудь двухсот ярдов. Это было чистенькое, изящное суденышко. Я заметил большой черный номер на одном из его парусов. Судно походило на виденные мною раньше изображения лоцманских судов.

— Что это за судно?—спросил я.

— Лоцманское судно «Лэди Майн»,—ответил Вульф Ларсен.—Доставило своих лоцманов и возвращается в Сан-Франциско. С этим ветром оно будет там через пять или шесть часов.

— Пожалуйста, сигнализируйте, чтобы оно доставило меня на берег.

— Очень сожалею, но я уронил за борт сигнальную книгу,—ответил он, и в группе охотников раздался смех.

Секунду я колебался, глядя ему в глаза. Я видел ужасную расправу с юнгой и знал, что и я, вероятно, могу получить то же, если не хуже. Как я уже сказал, я колебался, но затем я сделал то, что считаю наиболее храбрым поступком во всей моей жизни. Я подбежал к борту, размахивая руками, и закричал:

— Лэди Майн! А-о! Возьмите меня с собой на берег! Тысячу долларов, если доставите на берег!

Я ждал, глядя на двух людей, стоявших у рулевого колеса; один из них правил, другой в это время приставлял к губам мегафон [1]). Я не оборачивался, хотя и ожидал каждую минуту смертельного удара со стороны человека-зверя, стоявшего позади меня. Наконец, после паузы, показавшейся мне вечностью, будучи не в силах

---

[1]) Мегафон — усовершенствованный рупор.

выдерживать дольше напряжение, я оглянулся. Ларсен оставался на прежнем месте. Он стоял все в той же позе, слегка покачиваясь в такт судну и закуривая новую сигару.

— В чем дело? Какая-нибудь беда?—раздался крик с «Лэди Майн».

— Да!—закричал я изо всех сил.—Жизнь или смерть! Тысячу долларов, если доставите меня на берег!

— Слишком много выпили во Фриско! [1])—закричал вслед за мной Вульф Ларсен.

— Вот этому,—он показал на меня пальцем,—мерещатся морские змеи и обезьяны!

Человек с «Лэди Майн» расхохотался в мегафон. Лоцманское судно промчалось мимо.

— Пошлите его от моего имени к чорту!—донесся последний крик, и оба матроса замахали руками на прощание.

В отчаянии я перегнулся через борт, глядя, как между хорошенькой шхуной и нами быстро увеличивалось темное пространство океана. И это судно будет в Сан-Франциско через пять или шесть часов. Моя голова, казалось, готова была лопнуть. Больно сжалось горло, точно к нему поднялось сердце. Пенящаяся волна ударилась о борт и обдала мои губы соленой влагой. Ветер рванул сильнее, и «Призрак», сильно накренившись, коснулся воды левым бортом. Я слышал шипение волн, захлестывавших палубу. Минуту спустя я обернулся и увидел, как юнга поднимался на ноги. Его лицо было страшно бледно и подергивалось от боли.

— Ну, Лич, идешь на бак?—спросил Вульф Ларсен.

— Да, сэр,—послышался покорный ответ.

— Ну, а вы?—обратился он ко мне.

— Я предлагаю вам тысячу...—начал, было, я, но он меня перебил:

— Довольно! Намерены ли вы приняться за ваши обязанности каютного юнги? Или мне и вас придется вразумить?

Что мне оставалось делать? Быть жестоко избитым, может быть, даже убитым,—я не хотел погибать так нелепо. Я с твердостью посмотрел в жестокие серые глаза. Казалось, они были из гранита, так мало было в них света и тепла, свойственного человеческой душе. В большинстве человеческих глаз можно видеть отражение души, но его глаза были мрачны, холодны и серы, как само море.

— Ну?

— Да,—сказал я.

— Скажите: да, сэр!

[1]) Фриско — сокращенное название города Сан-Франциско (см. примечание на стр. 22, том I).

— Да, сэр,—поправился я.

— Ваше имя?

— Ван-Вейден, сэр.

— Не фамилия, а имя.

— Гемфри, сэр, Гемфри Ван-Вейден.

— Возраст?

— Тридцать пять лет, сэр.

— Ладно. Идите к повару и учитесь у него своим обязанностям.

Так сделался я подневольным рабом Вульфа Ларсена. Он был сильнее меня, вот и все. Но это казалось мне удивительно нереальным. Даже и теперь, когда я оглядываюсь назад, все пережитое кажется мне совершенно фантастичным. И всегда будет представляться чудовищным, непонятным, ужасным кошмаром.

— Подождите! Не уходите пока!

Я послушно остановился, не дойдя до кухни.

— Иогансен, зови всех наверх. Теперь все уладилось, возьмемся за похороны, нужно очистить палубу от излишнего мусора.

Пока Иогансен созывал команду, два матроса, по указаниям капитана, положили зашитое в парусину тело на крышку люка. С обеих сторон палубы были вдоль бортов прикреплены вверх дном небольшие лодки. Несколько человек подняли крышку люка с ее ужасной ношей, перенесли ее на подветренную сторону и положили на лодки, ногами к морю. К ногам привязали мешок с углем, принесенный поваром. Я всегда представлял себе похороны на море как торжественное и внушающее благоговение зрелище, но эти похороны меня разочаровали. Один из охотников, маленький темноглазый человек, которого товарищи называли Смоком, рассказывал веселые историйки, щедро уснащенные проклятиями и непристойностями, и среди охотников поминутно раздавались взрывы смеха, звучавшие для меня как вой волков или лай адских псов. Матросы шумной толпой собрались на палубе, перебрасываясь грубыми замечаниями; многие из них спали перед тем и теперь протирали сонные глаза. На их лицах лежало мрачное и озабоченное выражение. Было ясно, что им мало улыбалось путешествие с таким капитаном, да еще при таких печальных предзнаменованиях. Время от времени они украдкой поглядывали на Вульфа Ларсена; нельзя было не заметить, что они побаиваются его.

Вульф Ларсен подошел к покойнику, и все обнажили головы. Я бегло осмотрел матросов—их было двадцать, а включая рулевого и меня—двадцать два. Мое любопытство было понятно: судьба, повидимому, связывала меня с ними в этом миниатюрном пловучем мирке на недели, а может быть, и на месяцы. Большинство матросов было англичане или скандинавцы, и лица их казались угрюмыми и тупыми.

У охотников, наоборот, были более интересные и живые лица, с яркой печатью порочных страстей. По странно—на физиономии Вульфа Ларсена не было отпечатка порока. Правда, черты его лица были резки, решительны и тверды, но выражение лица было открытое и искреннее, и это подчеркивалось еще тем, что он был гладко выбрит. Я с трудом поверил бы,—если бы не недавний случай,—что это лицо того человека, который мог поступать так возмутительно, как он поступил с юнгой.

Лишь только он открыл рот и хотел заговорить, порывы ветра один за другим налетели на шхуну и накренили ее. Ветер запел в снастях свою дикую песнь. Некоторые из охотников тревожно поглядели наверх. Подветренный борт, где лежал покойник, накренился, и когда шхуна поднялась и выпрямилась, вода помчалась по палубе, заливая нам ноги выше сапог. Внезапно пошел проливной дождь, и каждая его капля била нас так, точно это был град. Когда дождь прекратился, Вульф Ларсен стал говорить, а люди с обнаженными головами закачались в такт с подъемами и опусканиями палубы.

— Я помню только одну часть похоронного обряда,—сказал он,—а именно: «И тело должно быть сброшено в море». Итак, бросайте его.

Он смолк. Люди, державшие крышку от люка, казались смущенными, озадаченными краткостью обряда. Тогда он яростно заревел:

— Поднимайте же с этой стороны, будьте вы прокляты! Какой чорт вас держит?!

Поспешно подняли испуганные матросы край крышки, и, как собака, перекинутая через борт, мертвец, ногами вперед, скользнул в море. Привязанный к его ногам уголь потянул его вниз. Он исчез.

— Иогансен!—резко крикнул Вульф Ларсен своему новому штурману.—Задержи всех людей наверху, раз они уже здесь. Убрать марселя и сделать это как следует! Мы входим в зюйд-ост. Возьмите рифы на кливере и гроте [1]) и не зевайте, если принялись за работу!

В один миг вся палуба пришла в движение. Иогансен заревел как бык, отдавая приказания, люди стали травить канаты,—и все это, конечно, было ново и непонятно для меня, сухопутного жителя. Но всего больше поразила меня общая бессердечность. Мертвец был уже прошедшим эпизодом. Его сбросили, зашитого в парусину, а судно шло вперед, работа на нем не прекращалась, и никого это событие не затронуло. Охотники смеялись новому рассказу Смока, команда тянула снасти, и два матроса взбирались наверх; Вульф Ларсен

---

[1]) Марселя—средние (считая по вертикали) паруса на первой и второй мачтах (фок- и грот-мачта). Кливер—косой парус перед фок-мачтой (первой от носа корабля). Рифы берутся у парусов для уменьшения площади прямых парусов, захватывая часть парусов короткими веревками—риф-сезнями. Взятие рифов—очень трудный маневр.

изучал сумрачное небо и направление ветра... А человек, так непристойно умерший и так недостойно погребенный, опускался в морскую глубину все ниже и ниже.

Таковы были жестокость моря, его безжалостность и неумолимость, обрушившиеся на меня. Жизнь стала дешевой и бессмысленной, скотской и бессвязной, бездушным погружением в грязь и тину. Я держался за перила и смотрел через пустыню пенящихся волн на стлавшийся туман, скрывавший от меня Сан-Франциско и калифорнский берег. Дождевые шквалы налетали между мной и туманом, и я едва видел стену тумана. А это странное судно, со своей страшной командой, то взлетая на вершины волн, то проваливаясь в бездну, уходило все дальше на юго-запад, в пустынные и широкие просторы Тихого океана.

ГЛАВА IV

Все, что происходило со мной в следующие дни на промысловой шхуне «Призрак» в то время, как я пытался освоиться с новой обстановкой, было беспрерывным унижением и страданием. Повар, которого команда звала «доктором», охотники—«Томми», а Вульф Ларсен—«поваришкой», совершенно изменился. Перемена моего положения соответственно переменила и его обращение со мной. Раньше он заискивал и подмазывался, теперь он сделался властным и требовательным. В самом деле,—я был для него уже не изящным джентльменом с тонкой, «как у лэди», кожей, а обыкновенным и очень бестолковым юнгой.

Он нелепо настаивал на том, чтобы я называл его «мистером Магриджем», и его заносчивость, когда он объяснял мне мои обязанности, была совершенно невыносимой. Кроме работы в кают-компании с ее четырьмя маленькими отделениями—спальнями, на меня возлагалась обязанность помогать повару по кухне, и мое полное невежество в таких вещах, как чистка картофеля или мытье сальных кастрюль, было неиссякаемым источником для его саркастического изумления. Он отказывался принимать во внимание, чем я был или, скорее, какова была раньше моя жизнь и какая обстановка была мне привычной. Это пренебрежение входило как необходимая часть в его обращение со мной, и признаюсь, что прежде, чем окончился день, я возненавидел его так, как никогда еще никого не ненавидел в своей жизни.

Первый день моей службы был для меня особенно труден еще и оттого, что «Призрак» должен был «при тройных рифах» (я значительно позже ознакомился с подобными терминами) бороться с тем,

что мистер Магридж называл «воющим зюйд-остом» [1]). По указаниям Магриджа я в половине пятого накрыл стол в каюте, расставил на местах особую посуду, употребляющуюся во время бурной погоды, и начал подавать снизу из кухни чай и горячую пищу. В связи с с этим я не могу не рассказать о своем первом знакомстве с бурным морем.

— Гляди в оба, а то искупаешься,—было напутствие мистера Магриджа, когда я вышел в первый раз из кухни, держа в одной руке большой чайник, а другою прижимал к себе несколько кусков свежеиспеченного хлеба. Один из охотников, высокий, ловкий парень по имени Гендерсон, как раз в это время шел по палубе к капитанской рубке. Вульф Ларсен стоял на корме, со своей вечной сигарой во рту.

— Вот она катится! Смотри!—прокричал повар. Я остановился, недоумевая, что именно катится, и увидел, как дверь в кухню с треском захлопнулась. Гендерсон, как сумасшедший, подпрыгнул, чтобы ухватиться за веревочную лестницу, и стал быстро взбираться по ней, пока, наконец, не оказался на несколько футов выше моей головы. Затем я увидел большую волну, которая пенилась и загибалась высоко над бортом. Она шла прямо на меня. Мой мозг не мог быстро работать, так как все было для меня слишком ново и страшно. Я чувствовал, что мне грозит опасность, но не знал, что делать. В ужасе я оцепенел. Тогда Вульф Ларсен закричал с кормы:

— Хватайтесь за что-нибудь! Эй, вы! Сутулый!

Но было поздно. Я подскочил к вантам, за которые мог бы ухватиться, если б на меня не обрушилась вдруг водяная стена. Что случилось потом, припоминаю очень смутно. Я был под водой и чувствовал, что задыхаюсь и тону. Меня что-то сбило с ног, меня крутило, бросало, переворачивало и несло неизвестно куда. Несколько раз натыкался я на твердые предметы и вдруг сильно ударился обо что-то правым коленом. Потом вода начала спадать, и я мог снова дышать живительным воздухом. Как оказалось, меня отбросило сначала к двери кухни, потом понесло вокруг каюты и по всей подветренной стороне. Ушибленное колено болело невыносимо. Мне казалось, что я не могу сделать и шагу. Я был уверен, что нога сломана. Но повар уже кричал на меня из двери кухни:

— Эй, вы! Не всю же ночь вам возиться! Где чайник? За бортом? Чорт вас побери, лучше б вы сами сломали себе шею!

Я с трудом поднялся на ноги. Большой чайник был у меня в руках. Я проковылял до кухни и передал его повару. Но тот не

---

[1]) Зюйд-ост—юго-восток и ветер этого направления.

переставал ругаться, охваченный негодованием,—подлинным или деланым, трудно сказать.

— Будь я проклят, если вы не последняя слякоть! Ну, годитесь ли вы на что-нибудь, желал бы я знать. А? Даже чай не смог пронести как следует. Теперь мне опять придется кипятить! И чего вы сопите?—разразился он в новом припадке ярости.—Ушибли бедную ножку?! Эх вы, маменькин любимчик!

Я не сопел, но лицо мое, вероятно, кривилось от боли. Я собрал всю свою решимость, стиснул зубы и заковылял от кухни до каюты и обратно без дальнейших злоключений. Мое несчастье принесло мне разбитую коленную чашку (мне не удалось даже как следует перевязать ее, и я страдал от этого ушиба долгие месяцы) и прозвище «Сутулый», которым наградил меня с кормы Вульф Ларсен. С тех пор я стал известен под этой кличкой, и она настолько прочно отожествилась с моей личностью, что я и сам думал о себе как о «Сутулом», как будто я всегда носил это прозвище.

Прислуживать в кают-компании за столом, где обедали Вульф Ларсен, Иогансен и шестеро охотников, было нелегким делом. Каюта была тесна, и двигаться по ней было особенно трудно при сильной качке, которая не прекращалась. Но больше всего поражало меня полное равнодушие тех людей, которым я прислуживал. Колено у меня все более и более распухало. От боли я был близок к обмороку. Время от времени передо мною мелькало в зеркале мое лицо, бледное и страшное, искаженное болью. Вероятно, все видели, в каком я состоянии, но ни один не проронил ни слова. Поэтому я был почти благодарен Вульфу Ларсену, когда он, несколько позже (я мыл посуду), сказал мимоходом:

— Не поддавайтесь такому пустяку. Это вам пойдет на пользу. Может быть, вас немного и скрючит, но вы научитесь ходить. У вас это называется парадоксом [1]), не так ли?—добавил он.

Он, повидимому, был доволен, когда я кивнул и сказал обычное: «Да, сэр!»

— Вы, кажется, понимаете кое-что в литературе? Ладно. Когда-нибудь поговорим с вами об этом.

И затем, не обращая на меня больше внимания, он повернулся и вышел на палубу.

В эту ночь, после бесконечного множества всяких дел, меня отправили спать на бак, к охотникам, где я занял свободную койку. Я был рад отделаться от присутствия ненавистного мне повара и дать, наконец, отдых ногам. К моему удивлению, платье уже высохло

[1]) Парадокс—мнение, расходящееся с общепринятым, остроумная мысль, поражающая своей необычайностью.

на мне, и я не чувствовал признаков простуды ни от моей последней ванны, ни от продолжительного пребывания в воде при гибели «Мартинеца». При обычных обстоятельствах, после всего, что я пережил, я, конечно, был бы уложен в постель, и за мной ухаживала бы сиделка.

Но колено меня очень беспокоило. Как мне казалось, надколенная чашка сместилась под опухолью. Когда я, сидя на своей койке, рассматривал больное колено (все шесть охотников были тут же, курили и громко разговаривали), Гендерсон, проходя мимо, бросил взгляд на опухоль.

— Скверный вид,—сказал он,—обмотайте потуже тряпкой,— может быть, и пройдет.

Вот и все. А на суше я был бы заботливо уложен в кровать, и хирург лечил бы меня и давал строгие приказания не двигаться и спокойно лежать. Но надо отдать справедливость этим людям. Равнодушные к моим страданиям, они были так же равнодушны и к своим собственным. Это происходило, я думаю, во-первых, от привычки, а во-вторых, от притупленной чувствительности. Я убежден, что человек с тонкой нервной организацией страдал бы вдвое или втрое больше, чем они, от одинакового поранения. Несмотря на всю мою усталость и измученность, я не мог заснуть от боли в колене. С трудом я крепился, чтобы не стонать громко. Дома я, конечно, не удержался бы от стонов, но эта новая грубо-стихийная обстановка, казалось, призывала меня к суровой сдержанности.

Как у дикарей, поведение этих людей было стоическим при крупных событиях и детским в пустяках. Мне пришлось видеть в дальнейшем плавании, как один из охотников, Керфут, раздробил себе палец; у него при этом не вырвалось ни звука, и даже выражение лица не изменилось. И тот же Керфут—я видел это не раз—приходил в бешенство из-за малейшего пустяка.

Это происходило и теперь: он кричал, рычал, размахивал руками и ругался как дьявол, и все из-за спора с другим охотником о том, как учится детеныш тюленя плавать. Он утверждал, что новорожденный тюлень умеет плавать с того самого момента, как появляется на свет. Другой охотник, Латимер, худой, похожий на янки парень с хитрыми узкими глазами, утверждал, что тюлень оттого и родится на суше, что не умеет плавать и что мать учит своих детенышей плавать подобно тому, как птица учит своих птенцов летать.

Остальные четверо охотников сидели, облокотившись на стол, или лежали на своих койках, следя с интересом за развитием спора между двумя противниками и время от времени поддерживая ту или другую сторону. Иногда они начинали говорить все сразу, так что их голоса гулко раздавались в каюте, подобно бутафорским ударам

грома в закрытом помещении. Тема спора была совсем детская; аргументация их была еще более детской и несерьезной. В сущности, доводов не было совсем. Методом спора было утверждение, предположение или же голословное опровержение. Они доказывали уменье или неуменье новорожденного тюленя плавать, просто высказывая свое мнение с воинственным видом и сопровождая его насмешками над здравым смыслом, национальностью и прошлым своего противника. Я рассказываю это с целью показать умственный уровень тех людей, с которыми мне пришлось войти в общение. Интеллектуально—это были дети, у которых были тела взрослых мужчин.

Они беспрерывно курили дешевый вонючий табак. Воздух в каюте был тяжелым и темным от дыма. Этот дым вместе с отчаянной качкой боровшегося с бурей судна, конечно, довели бы меня до морской болезни, если бы я был подвержен ей. Однако, спазма отвращения перехватила мне дыхание, вызванная, вероятно, сильной болью в ноге и усталостью.

Лежа на койке без сна, я, естественно, начал размышлять о себе и о своем положении. Неслыханно и невероятно, чтобы я, Гемфри Ван-Вейден, ученый и любитель, с вашего разрешения, искусства и литературы, был где-то около Берингова моря и лежал здесь, на какой-то шхуне, охотящейся на котиков! Каютный юнга! Никогда в жизни не занимался я тяжелым ручным трудом. Я жил спокойно, безмятежно, без особых событий, жизнью ученого и затворника, имея для этого достаточные средства. Жизнь приключений и спорт никогда меня не привлекали. Я оставался книжным червем, как называли меня в детстве отец и сестры.

Единственный раз я принял участие в пешеходной экскурсии, но сбежал в самом начале и поспешил вернуться к удобствам и уюту домашнего крова. И вот я здесь, и предо мною мрачная бесконечная перспектива накрывания столов, чистки картофеля, мытья посуды. А я не был крепким! Врачи, положим, говорили мне, что у меня удивительное телосложение, но я никогда не развивал упражнениями своего тела. Мои мускулы были слабы и вялы, как у женщины, так, по крайней мере, утверждали доктора при неоднократных попытках убедить меня заняться гимнастикой. Но я предпочитал упражнять голову, а не мускулы,—и вот я очутился здесь, совершенно неприспособленный к предстоящей мне тяжелой жизни.

Отмечаю немногое из того, что я передумал тогда, чтобы заранее оправдать себя за ту слабую и беспомощную роль, которую мне суждено было играть. Но я думал также и о моей матери и сестрах и представлял себе их горе. Я, разумеется, числился среди погибших при катастрофе, в списке «неразысканных тел». Я представлял

себе заголовки газет; я видел моих приятелей в университетском клубе, говоривших при упоминании обо мне: «бедняга». И я мысленно рисовал себе Чарли Фересета, когда я прощался с ним в то памятное утро, и он полулежал в халате на кушетке у окна, рассыпая свои двусмысленные и пессимистические эпиграммы.

А пока я думал, шхуна «Призрак» прокладывала себе путь дальше и дальше, в самое сердце Тихого океана, качаясь, содрогаясь, взбираясь на движущиеся горы и падая в пенящиеся бездны,—и я был на ней. Я слышал вой ветра наверху. Он доносился до меня глухим ревом. Время от времени слышалось топанье ног по палубе. Кругом все скрипело; деревянная облицовка и перегородки стонали, визжали и жаловались на тысячу разных голосов. Охотники все еще спорили и рычали, словно какие-то человекообразные земноводные; в воздухе висели проклятия и непристойные выражения. Я видел их лица, злые и красные. Зверские черты становились еще резче от тусклого желтого света морских ламп, которые качались взад и вперед вместе с судном. Сквозь густые облака табачного дыма койки казались логовищами животных в зверинце. Кожаная промасленная одежда и морские сапоги висели на стенах, а на полках лежали ружья и винтовки. Все это напоминало снаряжение пиратов и морских разбойников давнопрошедших лет. Мое воображение разыгралось, и я никак не мог заснуть. Да! Это была долгая-долгая ночь,—томительная, тяжкая, бесконечно длинная.

ГЛАВА V

Моя первая ночь в каюте с охотниками была и последней. На следующий день Иогансен, новый штурман, был изгнан Вульфом Ларсеном из своей каюты и переселен в каюту к охотникам, а я поместился в крохотной каютке, в которой за первый же день путешествия перебывало уже два жильца. Охотники скоро узнали о причине выселения штурмана, и это вызвало с их стороны сильный ропот. Оказалось, что Иогансен переживал каждую ночь во сне все происшествия истекшего дня. Вульфу Ларсену надоело выслушивать его беспрерывную сонную болтовню, вопли, выкрикивания приказаний, и он свалил эту неприятность на охотников.

После бессонной ночи я поднялся совершенно обессиленный и разбитый, чтобы проковылять мой второй день на «Призраке». В половине шестого Томас Магридж разбудил меня грубее, чем Билль Сайкс [1]) будил свою собаку; но жестокость Магриджа по отношению

[1]) Билль Сайкс — грубый, жестокий вор — один из персонажей романа Диккенса „Оливер Твист“.

ко мне была ему возмещена сторицей. Ненужный шум, поднятый им, чтобы разбудить меня,—я всю ночь не смыкал глаз,—разбудил кого-то из охотников: тяжелый башмак пролетел в полумраке, и мистер Магридж, застонав от боли, был вынужден извиниться перед всеми. Несколько позже, на кухне, я увидел, что его ухо в крови и сильно распухло. Надо прибавить, что оно не вернулось больше к своему первоначальному виду и впоследствии получило от матросов название «капустный лист».

День был полон для меня мелких неприятностей. Накануне вечером я взял из кухни свое высохшее платье, и первое, что я сделал в это утро—это сбросил с себя вещи повара. Я стал разыскивать свой кошелек. Кроме мелочи (а у меня на это хорошая память), в нем было у меня в момент крушения сто восемьдесят пять долларов золотом и кредитками. Все содержимое кошелька, за исключением мелкой серебряной монеты, исчезло. Я заявил об этом повару тотчас же, как поднялся на палубу и приступил к исполнению своих обязанностей на кухне. Хотя я и ждал от него грубого ответа, однако, не был подготовлен к той заносчивой речи, с которой он на меня опрокинулся.

— Слушай-ка, Сутулый,—начал он с зловещим огоньком в глазах и с хриплой злобой в голосе,—ты, верно, желаешь, чтобы тебе разбили нос? Если ты воображаешь, что я вор, то лучше побереги это про себя, а то увидишь, как ты чертовски ошибался. Чтоб я ослеп на этом самом месте, если в тебе есть хоть капля благодарности! Ты появляешься здесь, несчастный, жалкий, и я беру тебя к себе на кухню, ухаживаю за тобой. И вот твоя плата! Иди к чорту, у меня чешутся руки показать тебе дорогу.

При этих словах он сжал кулаки и стал на меня наступать. К моему стыду, я старался увильнуть от удара и выбежал из кухни. Что мне было делать? Сила, грубая сила властвовала на этом зверском судне. Мораль была здесь неизвестна. Вообразите, в самом деле: человек среднего роста, нежного сложения, с неразвитыми, слабыми мускулами, который всегда жил тихой и мирной жизнью и не привык ни к какому проявлению насилия,—ну что было делать такому человеку? Ведь стать лицом к этим зверям в образе людей—все равно что вступить в бой с разъяренным быком.

Так я рассуждал в то время, чувствуя потребность в самооправдании и желая примириться со своей совестью. Но такого рода оправдание не удовлетворило меня. И до сего дня, вспоминая прошлое, я испытываю некоторый стыд и не могу быть вполне удовлетворенным своим тогдашним поведением. По существу, положение исключало рациональные поступки и требовало чего-то большего, нежели холодные доводы рассудка. С точки зрения формальной логики, нет

ни одного поступка, которого мне пришлось бы стыдиться; однако, как только я начинаю припоминать, мне каждый раз становится стыдно: моя мужская гордость в чем-то была унижена и оскорблена.

Но оставим запоздалые сожаления. Быстрота, с которой я выбежал из кухни, вызвала в моем колене страшную боль, и я беспомощно опустился на выступ юта [1]). Повар не преследовал меня.

— Смотрите, как он улепетывает!—кричал он издали.—Смотрите! А еще охромел! Иди назад, бедный маменькин сынок, не бойся. Не трону я тебя, не бойся!

Я вернулся и принялся за прерванную работу. На этом весь эпизод—правда, на время—и закончился. Дальнейшее развитие событий еще должно было последовать. Я накрыл в каюте стол для завтрака и в семь часов стал прислуживать охотникам и Вульфу Ларсену. Буря, видимо, стихла за ночь, хотя тяжелые волны все еще вздымались, и дул свежий ветер. Утренняя вахта уже поставила паруса, и «Призрак» несся по волнам при полной оснастке, кроме двух марселей и кливера. Как я понял из разговора, и эти три паруса надлежало поставить немедленно после завтрака. Я также узнал, что Вульф Ларсен намерен использовать этот ветер, который гнал его на юго-запад, именно в ту часть океана, где он надеялся застать северо-восточный пассат [2]). Он рассчитывал под этим пассатом пройти большую часть пути до Японии, спуститься затем к тропикам и, наконец, снова подняться к северу, когда мы приблизимся к берегам Азии.

После завтрака у меня был еще один незавидный опыт. Покончив с мытьем посуды, я выгреб из печки в каюте золу и вынес ее на палубу, чтобы выкинуть за борт. Вульф Ларсен и Гендерсон оживленно беседовали у руля. Управлял рулем матрос Джонсон. Когда я двинулся к наветренному борту, я заметил, что он сделал неожиданное для меня движение головой, которое я ошибочно принял за утреннее приветствие. На самом же деле он хотел предупредить меня, чтобы я не бросал золу против ветра. Не сознавая своего промаха, я прошел мимо Вульфа Ларсена и выбросил золу через борт. Ветер моментально подхватил ее, отнес обратно на шхуну и не только обдал ею всего меня, но обсыпал также Гендерсона и Вульфа Ларсена. В одно мгновение Вульф Ларсен дал мне жестокий пинок, словно дворняжке. Я не воображал, что пинком можно причинить такую боль. Я отскочил и прислонился к каюте в полуобморочном

---

[1]) Ют—верхняя палуба от бизань-мачты до кормы корабля (бизань-мачта—третья мачта от носа).

[2]) Пассаты—ветры, дующие между тропиками круглый год, в северном полушарии с северо-востока, в южном—с юго-востока, отделяясь друг от друга безветренной полосой.

состоянии. Все поплыло перед глазами, и меня затошнило. Я едва дотащился до борта. Вульф Ларсен за мной не последовал. Смахнув золу с куртки, он как ни в чем не бывало возобновил разговор с Гендерсоном. Увидев со своего мостика, что произошло, Иогансен послал двух матросов подмести палубу.

В то же самое утро, несколько позже, я натолкнулся на сюрприз совершенно другого сорта. По распоряжению повара я прошел в каюту Вульфа Ларсена, чтобы привести ее в порядок и прибрать постель. На стене, у изголовья койки, висела полка с книгами. Я посмотрел на них и с удивлением увидел таких авторов, как Шекспир, Теннисон, Эдгар По и Де-Куинси. Были и научные сочинения, и среди них труды Тиндаля, Проктора и Дарвина, а также книги по астрономии и физике. Я заметил «Сказочный век» Бэлфинча, «Историю английской и американской литературы» Шоу и «Естественную историю» Джонсона в двух больших томах. Было здесь несколько грамматик Меткафа, Рида и Келлога, и я не мог не улыбнуться, увидев «Английский язык для священника».

Я никак не мог примириться с мыслью, что эти книги принадлежат Вульфу Ларсену, и я усомнился, мог ли он действительно их читать. Но затем, когда я стал прибирать постель, из одеяла выпал томик Броунинга кембриджского издания,—очевидно, Ларсен читал его перед сном. Книга была открыта на стихах «На балконе», и некоторые места были подчеркнуты карандашом. В книгу был вложен листок бумаги, испещренный геометрическими чертежами и выкладками.

Было ясно, что этот страшный человек не был невежественным чурбаном, как можно было бы предположить, судя по его грубости. Он стал для меня загадкой. Та или другая сторона его личности в отдельности была совершенно понятна, но взятые вместе они положительно ошеломляли. Я уже и раньше заметил, что он говорил превосходным языком, лишь с незначительными случайными неточностями. В грубом разговоре с матросами и охотниками он, разумеется, часто уснащал свою речь ошибками, свойственными морскому жаргону, но в тех немногих словах, которыми он обменялся со мной, его произношение было точным и ясным.

Случайное знакомство с его другой стороной подбодрило меня, и я решился заговорить с ним о моих пропавших деньгах.

— Меня обокрали,—обратился я к нему немного погодя, когда он в одиночестве разгуливал по палубе.

— Сэр,—сказал он не резко, но сурово.

— Меня обокрали, сэр,—поправился я.

— Как это случилось?—спросил он.

Я рассказал всю историю: как я оставил платье в кухне для просушки и как потом я чуть не был избит поваром за то, что позволил себе указать ему на пропажу. Ларсен улыбнулся, выслушав меня.

— Стащил,—заключил он,—стащил поваришка. А разве ваша жалкая жизнь не стоит этих денег? Как вы думаете? К тому же смотрите на это как на урок. Со временем вы научитесь беречь свои деньги. До сих пор этим занимался, вероятно, ваш поверенный или нотариус.

Я почувствовал в его словах спокойную насмешку, но все же спросил:

— Как же мне получить деньги обратно?

— Ну, это уж ваше дело. Здесь у вас нет ни поверенного, ни нотариуса; рассчитывайте только на самого себя. Добудете доллар, держитесь за него. Человек, оставляющий деньги валяться где попало, как это сделали вы, заслуженно лишается их. К тому же вы и согрешили. Не сейте соблазны на дороге ваших ближних! Вы соблазнили поваришку, и он пал. Его бессмертную душу вы подвергли опасности. Кстати, верите вы в бессмертие души?

Он медленно поднял веки, и мне показалось, что раскрылась глубина, и я гляжу в его душу. Но это было иллюзией. Ни одному человеку не удалось глубоко заглянуть в душу Вульфа Ларсена. В этом я был совершенно убежден. Его душа всегда была одинокой,—мне суждено было узнать это,—она никогда не снимала маски, хотя в редкие минуты и играла в откровенность.

— Я читаю бессмертие в ваших глазах,—ответил я, опуская «сэра» в виде опыта, так как подумал, что некоторая интимность разговора должна была это позволить. Он не обратил на это внимания.

— Я допускаю, что вы видите в них нечто живое, но этому живому нет необходимости жить вечно.

— Я вижу больше, чем это,—продолжал я смело.

— Значит, вы имеете в виду сознание. Вы видите сознание живой жизни, но не больше, не бесконечность жизни.

Как он ясно думал и как ясно выражал свои мысли! Он отвернулся от меня и стал смотреть на свинцовое море. Что-то мрачное мелькнуло в его глазах, и линии рта сделались резкими и суровыми. Он, видимо, был в пессимистическом настроении.

— Но какая цель?—спросил он отрывисто, повернувшись ко мне.—Если я бессмертен, то зачем?

Я молчал. Как мог я объяснить этому человеку свой идеализм? Как я мог вложить в свою речь что-то неопределимое, что-то похожее на музыку, которую мы слышим во сне, что-то такое, что убеждало, но что не улавливалось словами?

— Во что же вы верите тогда?—в свою очередь спросил я.

— Я верю в то, что жизнь—борьба. Она подобна дрожжам, которые движутся, могут шевелиться минуту, час, год или сто лет, но в конце концов все-таки должны остановиться. Большие пожирают маленьких, чтобы продолжать двигаться, сильные пожирают слабых, чтобы удержать в себе свою силу. Кому посчастливится, те съедают больше и двигаются дольше, вот и все. А какого вы мнения об этом?

Нетерпеливым жестом он указал на группу матросов, которые что-то делали с веревками на палубе.

— Они двигаются, но ведь и морские медузы двигаются. Они передвигаются для того, чтобы есть и благодаря этому продолжать двигаться. Вот вам и все. Они живут для желудка, а желудок существует для их движения. Это заколдованный круг—выбраться некуда. Они и не выбираются. В конце концов наступает остановка. Они больше не двигаются. Они мертвы.

— У них бывают мечты,—прервал я,—красивые, радостные сны.

— О жратве,—закончил он решительно.

— Не только...

— Только о жратве. Побольше бы разжечь аппетит и поудачнее бы удовлетворить его.—Голос его звучал резко. В нем не было и тени шутки.—Смотрите: они мечтают о счастливых плаваниях, которые дадут им много денег, мечтают о том, что они сделаются командирами на судах, что они найдут клады,—одним словом, мечтают, как бы захватить побольше возможностей для притеснения своих ближних, спать спокойно, есть вкусно и переложить на кого-то всю грязную работу. И мы с вами совершенно такие же. Разницы никакой нет, разве только в том, что мы ели лучше и больше. Я теперь пожираю их, и вас также. Но раньше вы ели больше меня. Вы спали на мягких постелях, одевались в хорошее платье и съедали хорошие обеды. А кто делал эти постели? Кто шил одежду? Кто добывал и готовил пищу? Не вы. Вы никогда ничего в поте лица своего не делали. Вы жили на средства, заработанные вашим отцом. Вы похожи на птицу-фрегат, бросающуюся на бакланов и отнимающую у них рыбу, которую они наловили для себя. Вы частица той группы людей, которая изобрела так называемое правительство, чтобы захватить власть над всеми другими людьми, чтобы есть пищу, которую добывают другие и которую они хотели бы есть сами. Вы носите теплую одежду. Ее сделали для вас другие, но сами они дрожат от холода, едва прикрытые лохмотьями, и просят вас или вашего управляющего о работе.

— Но это к делу не относится!—воскликнул я.

— Относится.—Он говорил быстро, и глаза его блистали.—Это свинство, и это жизнь. Для чего же нужно вечное свинство? Какой в этом смысл? Какая конечная цель? Вы не добывали пищи. Однако,

та пища, которую вы съели или испортили, могла бы спасти жизнь многих несчастных, которые произвели эту пищу, но не ели ее. Какой же вечной цели вы служили? Или они? Подумайте о себе и обо мне. К чему сводится ваше хваленое бессмертие души, когда ваша жизнь сталкивается с моей? Вы хотели бы вернуться на сушу, где раздолье для свинства в вашем духе. А мой каприз—держать вас на судне, где процветает мое свинство. И я буду вас держать. Я переделаю вас, или сломаю. Вы можете умереть сегодня, через неделю, через месяц. Я мог бы убить вас немедленно, одним ударом кулака, потому что вы жалкое, хилое существо. Но если мы бессмертны, каков смысл в этом? Быть свиньями, как мы с вами были всю нашу жизнь, как будто не совсем подходящая вещь для бессмертных. Ну, в чем же смысл? Почему я держу вас здесь?

— Потому что вы сильнее,—брякнул я.

— Но почему сильнее?—продолжал он свои настойчивые вопросы.—Потому что во мне больше дрожжей, чем в вас. Разве вы не понимаете? Неужели не понимаете?

— Но как все это безнадежно!—запротестовал я.

— Я с вами согласен,—ответил он.—Если жить значит только двигаться, то зачем двигаться? Если бы мы не двигались и не составляли части этих дрожжей, то не было бы и безнадежности. Но в этом-то и вся суть—мы хотим жить и двигаться, хотя причины на это у нас никакой нет, и только потому так выходит, что закон жизни в том, чтобы жить и двигаться, в желании жить и двигаться. Если бы этого закона не было, то жизнь была бы мертва. Только от этого брожения жизни вы и мечтаете о бессмертии. Оно живет в вас и хочет жить вечно. Ха-ха! Вечность свинства!

Он вдруг повернулся на каблуках и отошел от меня. Остановившись у мостика на корме, он подозвал меня.

— Кстати,—спросил он,—сколько утащил у вас поваришка?

— Сто восемьдесят пять долларов, сэр,—ответил я.

Он кивнул. Минутой позже, спускаясь по трапу накрывать стол, я слышал, как он громко ругал кого-то на палубе.

ГЛАВА VI

На следующее утро буря стихла, и «Призрак» слегка покачивался на спокойной глади, при полном отсутствии ветра. Однако, временами ощущалось слабое движение воздуха, и Вульф Ларсен стоял все время на корме, изучая море в северо-восточном направлении, откуда должен был подуть стремительный пассат.

Команда была вся на палубе, приготовляя лодки к сезонной охоте. Всего было семь лодок—капитанский баркас и шесть

промысловых. Команда каждой состояла из трех человек: охотника, гребца и рулевого. Из этих же гребцов и рулевых состояла команда шхуны. Впрочем, и охотники могли стоять на вахте, находясь всегда в распоряжении капитана.

Все это и многое другое узнавал я постепенно. «Призрак» считался самой быстроходной шхуной среди парусных судов Сан-Франциско и Виктории. Когда-то она была частной яхтой и построена с расчетом на особую скорость. Ее размеры и оснастка,—хотя я и не смыслю в таких вещах,—говорят сами за себя. Во время вчерашней дневной вахты Джонсон кое-что порассказал мне о ней. Он говорил с энтузиазмом, с такой же любовью к великолепному судну, какую некоторые люди проявляют к лошадям. Но во всем остальном он был разочарован, и дал мне понять, что Вульф Ларсен среди капитанов пользовался очень сомнительной репутацией. Джонсона привлекла сама шхуна «Призрак», и он записался в ее команду, а теперь начинал уже раскаиваться.

От него я узнал, что «Призрак»—восьмидесятитонная шхуна чрезвычайно изящной конструкции. Ее ширина двадцать три фута, а длина немногим больше девяноста. Свинцовый киль сказочной, неслыханной тяжести делает ее очень устойчивой, позволяя нести огромное количество парусов. От палубы до вымпела грот-мачты несколько больше ста футов, в то время как бизань-мачта со своей стеньгой на восемь или десять футов ниже. Я привожу эти данные для того, чтобы можно было себе представить размеры нашего маленького мирка, вмещавшего в себе команду из двадцати двух человек. Это был действительно очень маленький мирок, точка или атом среди безбрежного моря, и я часто изумлялся, как люди смели выходить в море на таких утлых и ничтожных скорлупках.

Вульф Ларсен был известен еще и тем, что беззаботно играл парусами. Я подслушал, как об этом разговаривали Гендерсон и другой охотник, по имени Стэндиш, калифорниец. Два года тому назад во льдах Берингова моря бурей сорвало с «Призрака» все три мачты; теперешние мачты, поставленные после катастрофы, были более прочные и тяжелые. Говорили, что, ставя их, Ларсен хвалился, что скорее перевернет шхуну, чем потеряет новые мачты.

Повидимому, все здесь, кроме Иогансена, несколько возгордившегося своим повышением, стыдились своей службы у Ларсена и старались оправдаться в том, что согласились поступить на «Призрак». Половина команды—моряки дальнего плавания, и они уверяли, что ничего не знали до поступления на это судно о капитане Ларсене. А те, кто знали, сообщали шопотом, что наши охотники, хотя и отличные стрелки, были до такой степени известны своим задорным

характером и жульничеством, что не смогли бы подписать контракта ни с какой другой приличной шхуной.

Я познакомился еще с одним матросом из команды, круглолицым и веселым ирландцем Луисом из Новой Шотландии. Этот общительный парень был способен говорить без передышки, лишь бы кто-нибудь его слушал. Около полудня, когда повар спал, а я чистил свой вечный картофель, Луис зашел поболтать в кухню. В оправдание своей службы на «Призраке», он говорил, что был пьян, когда подписывал контракт. В трезвом виде он ни за что на свете не сделал бы этого. Повидимому, он уже много сезонов под ряд бил котиков и в течение двенадцати лет числился среди тех двух-трех гребцов, лучше которых нет во всей флотилии Сан-Франциско и Виктории.

— Ах, дружище,—говорил он, зловеще покачивая головой,—это самая плохая шхуна, которую вы могли выбрать; и притом вы не были пьяны, как я. Знаете, на другом судне охота на тюленей и котиков это просто рай. У нас первым скапутился штурман, но запомните мои слова: к концу нашего плавания у нас будет немало покойников. Теперь слушайте, только пусть это останется между нами и этим столом,—Вульф Ларсен сущий дьявол, а «Призрак» покажет себя чортовой посудиной, какой он всегда и был с тех пор, как Ларсен стал командовать им. Разве я не знаю этого? Знаю, и даже очень хорошо. Разве я не помню, как два года тому назад, в Хакодате [1]), у него на шхуне случилась драка, и он застрелил четырех матросов! Разве я не был тогда на «Эмме» всего в каких-нибудь трехстах ярдах [2]) от него! И в том же году он ударом кулака убил человека. Да, сэр, он убил его наповал. Его голова разлетелась как яичная скорлупа. А разве не было такого случая, когда губернатор острова Куры и начальник полиции—два японских джентльмена—явились на «Призрак» в гости, да притом еще и с женами—маленькими такими бабеночками, каких рисуют на японских веерах! Разве не вышло так, что когда Ларсен отплывал, то любящие мужья оказались вдруг высаженными в свои джонки [3]), по какому-то странному недоразумению, а их бедные маленькие жены через неделю оказались вдруг на противоположном берегу острова, и им не оставалось ничего другого, как итти домой через горы пешком, в своих крошечных соломенных сандалиях, которые сейчас же с них и свалились! Разве я всего этого не знаю? Он-то и есть настоящий зверь. Вульф Ларсен—это тот самый Великий Зверь из Апокалипсиса. И поверьте мне, все это к добру не приведет. Но имейте в виду—я ничего вам

---

1) Хакодате—город и порт в Японии на о. Иессо.

2) Ярд—английская мера длины=трем английским футам=0,9144 *м.*

3) Джонка—китайское судно с широкой и высоко поднятой кормой.

не говорил. Я ни словечка вам не шепнул ни о чем, потому что старый, жирный парнюга Луис желает выскочить из этого плавания живым, если даже все остальные маменькины сынки отправятся на съедение рыбам.

— Вульф Ларсен!—воскликнул он через минуту.—Вслушайтесь хорошенько в это имечко! «Вульф»—вот он кто! Волк это значит! Он не жесток, как некоторые. Нет, но у него вовсе нет сердца. Волк, сущий волк! Хорошее имечко ему дали, а?

— Но если всем известно, что он за человек,—спросил я,—то как же он набирает себе команду?

— А как вообще находят людей, готовых сделать все что угодно на земле и на море?—спросил Луис с ирландской запальчивостью.—Как бы я, например, оказался здесь, если бы не был пьян, как свинья, когда подмахивал контракт? Всегда найдутся такие, которые все равно не могли бы попасть на лучшее судно, а другие ровно ничего не знали, как, например, вон те бедняги на носу. Но они поймут, да, они поймут и проклянут тот день, когда явились на свет. Право, я поплакал бы о них, если бы не беспокоила меня больше всего судьба старого толстяка Луиса. Но смотрите—я вам ничего не говорил. Ни-ни! Ни единого звука!

— Жуткие ребята эти охотники,—снова разразился он, увлекаемый страстью к болтовне.—Но обождите, пусть только они начнут выкидывать свои штуки! Вульф Ларсен сумеет скрутить их. Он вложит страх божий в их гнилые черные сердца. Посмотрите на милейшего охотника Горнера,—тихоня, ходит легонько, говорит сладенько, как барышня. Можно подумать даже, что масло не растает у него во рту! А не он ли в прошлом году убил своего рулевого? Тогда признали это «несчастным случаем», но я встретил его гребца в Иокогаме, и он мне прямиком расписал, как было дело. А Смок, этот черномазый чертенок,—вы ведь не знаете, что русские приговорили его к трем годам каторжных работ в сибирских рудниках за то, что он браконьерствовал на Медном Острове, право охоты на котором принадлежит русским. Его сковали рука с рукой и нога с ногой с его товарищем. А там, в рудниках, они перессорились из-за чего-то. И Смок прикончил своего близнеца и отправил его наверх в бадье с солью: но посылал его по частям—сегодня ногу, завтра—руку, послезавтра—голову.

— Что вы говорите!—воскликнул я, пораженный ужасом.

— Что я говорю?—вспыхнул он, точно огонь.—Я не говорил вам ровно ничего. Я глух и нем, чего и вам желаю, ради блага родной вашей матери. Если я открывал рот, то лишь для того, чтобы рассказать вам самые прекрасные вещи о них и о Ларсене, пусть

чорт скрючит его душу, пусть он гниет в чистилище десять тысяч лет и пусть низвергнется потом в самую глубину преисподней.

Джонсон, тот самый матрос, который чуть не содрал мне кожу, когда я впервые попал на борт, казался наименее подозрительным изо всей этой братии. Он, повидимому, не был двуличным. Он с самого начала поражал своими прямотой и достоинством, смягчавшимися скромностью, которую можно было ошибочно принять за робость. Но робким он не был. Он храбро высказывал свои взгляды, в нем было упрямое мужество. Сознание своего достоинства заставило его, в начале нашего знакомства, протестовать против того, чтобы его называли Ионсоном. И вот насчет этой щепетильности начал Луис чесать свой длинный язык и пророчествовать.

— Славный парень этот самый головастый Джонсон. Лучший у нас матрос. Он у меня гребцом в лодке. Но запомните мое слово, будет у него беда с Вульфом Ларсеном. Уж я это знаю. Уж я вижу, надвигается и подходит она, как грозовая туча. Я хотел поговорить с ним по-братски, но он ничего не хочет слушать, все ему надо разбирать, где правильные огни, а где фальшивые сигналы. Он ворчит, когда ему что-нибудь не нравится, а здесь всегда найдется болтун, который донесет об этом Вульфу. Вульф силен, но волк ненавидит чужую силу, а он видит силу в Джонсоне. У Джонсона нет этой приниженности, нет того, чтобы он на пинок или ругательство ответил: «Да, сэр!» или: «Очень благодарен, сэр!» Ох, быть беде, быть беде! И где я достану тогда другого гребца? До чего дошел упрямый дурак! Когда старик назвал его Ионсоном, он отрезал ему: «Мое имя Джонсон, сэр, а не Ионсон!» И повторяет свою фамилию по складам, буква за буквой. Посмотрели бы вы на лицо капитана! Я думал, что он тут же уложит его на месте. Он этого не сделал, но сделает, сломает ему гордыню! Или уж я ровно ничего не понимаю в людях на судах дальнего плавания!

Томас Магридж становится все невыносимее. Я принужден называть его «мистер» и «сэр»—при каждом слове. Одна из причин его заносчивости та, что Вульф Ларсен как будто благоволит к нему. Капитану быть за панибрата с поваром, мне кажется, совсем недопустимо; но именно так и повел себя Вульф Ларсен. Два или три раза он просовывал голову в кухню и добродушно зубоскалил с Магриджем, а сегодня днем он проболтал с ним на корме целых пятнадцать минут. Когда разговор кончился, и Магридж вернулся в кухню, лицо его сияло как медный грош, и он продолжал работу, напевая уличные песни душу раздирающим и фальшивым фальцетом» [1]).

---

[1]) Фальцет—высокий голосовой звук особого тембра.

— Я умею ладить со старшими,—сказал он мне конфиденциальным тоном.—Я знаю, как мне держать себя, чтобы меня ценили. Вот к примеру мой последний шкипер... Мне ничего не стоило зайти к нему запросто в каюту для дружеской беседы и выпить с ним стаканчик вина. «Магридж,—говорил он мне,—Магридж, ты упустил свое истинное призвание!»—«А какое?»—спрашиваю я.—«Ты должен был родиться джентльменом и никогда не работать». Разрази меня гром на этом самом месте, если он не говорил мне этого! И я сидел в его каюте, веселый и довольный, курил его сигары и пил его ром.

Эта болтовня доводила меня до сумасшествия. Никогда раньше не слышал я голоса, который был бы мне так противен. Его масляный, вкрадчивый тон, расплывчатая улыбка и безудержное самомнение действовали мне на нервы до такой степени, что меня иногда просто трясло. Положительно, он был самой отталкивающей личностью, какую я когда-либо встречал. Он был неописуемо грязен, и так как он один готовил всю пищу на судне, то мне поневоле приходилось есть с большой осторожностью, выбирая то, к чему он меньше прикасался.

Меня очень беспокоило состояние моих рук, не привыкших к грубой работе. Ногти стали черными, а кожа до такой степени пропиталась грязью, что даже жесткая щетка не могла ее оттереть. Потом появились волдыри, крайне мучительные. На плече у меня был большой ожог: во время качки я упал на кухонную плиту. Не поправлялось и разбитое колено. Опухоль не уменьшалась, и коленная чашка все еще находилась не на месте. Постоянное движение с утра до вечера мешало выздоровлению. Чтобы поправиться, мне нужен был покой, самое главное—покой.

Отдых! Я ранее не понимал значения этого слова. Я всю свою жизнь отдыхал, сам того не сознавая. А теперь, если бы я мог спокойно посидеть полчасика, ничего не делая, даже не думая, то это было бы для меня приятнее всего на свете. Но, с другой стороны, моя теперешняя жизнь была для меня откровением. Только теперь я понял, как приходится жить рабочему люду. Мне раньше и не снилось, что работа может быть так ужасна. С половины шестого утра и до десяти часов вечера я был рабом для всех, не имея при этом ни одной минуты для себя, кроме тех редких моментов, которые я уворовывал в конце второй утренней вахты. Но стоило только мне заглядеться на море, сверкающее на солнце, или на матроса, взбирающегося вверх на реи или на бушприт, как уж раздавался ненавистный голос: «Эй! Сутулый, нечего лодырничать, идите сюда!»

Среди охотников, повидимому, нарастает раздражение, и говорят, что Смок и Гендерсон подрались. Гендерсон, кажется, лучший охотник; это медлительный человек, которого трудно раздражить; но,

очевидно, все-таки его разозлили, потому что у Смока оказался подбитым глаз, и когда он явился к ужину, то вид у него был злобный и мрачный.

Перед ужином произошел неприятный случай, показавший всю притупленность и грубость этих людей. В команде был один новичок, по имени Гаррисон, неуклюжий деревенский парень, увлеченный, как я предполагаю, духом искания приключений и совершавший свое первое плавание. При слабом, переменчивом ветре шхуна быстро лавировала, при чем паруса перекидывались с одной стороны на другую, и нужно было послать матроса наверх что-то там прикрепить. Каким-то образом, в то время как Гаррисон был наверху, парус защемился в блок, по которому ходит снасть. Как мне объяснили, было два способа освободить парус: спустить фок [1]), что сравнительно легко и безопасно, или заставить кого-нибудь влезть на конец реи [2]), что весьма рискованно.

Иогансен приказал Гаррисону лезть наверх. Ясно было для всех, что парень боится. И трудно не испугаться, если надо повиснуть на тонких, раскачивающихся канатах, на восьмидесятифутовой высоте над палубой. Если бы еще был попутный ветер, дело не обстояло бы так плохо, но «Призрак» выдерживал в это время боковую качку, и с каждым его креном паруса с шумом полоскали в воздухе, а снасти то ослаблялись, то вновь натягивались. Они могли столкнуть оттуда человека, как муху. Гаррисон расслышал приказание и понял, что от него требовалось, но колебался. Повидимому, он влезал на снасти первый раз в жизни. Иогансен, который уже успел заразиться от Вульфа Ларсена властолюбием, разразился потоком брани и проклятий.

— Довольно, Иогансен,—резко сказал Вульф Ларсен.—На этом судне ругаюсь я один. Если мне нужна будет помощь, я вас позову.

— Слушаю, сэр,—покорно ответил штурман.

Гаррисон тем временем уже отправился наверх. Я смотрел через кухонную дверь и видел, как он дрожал всем телом, точно в лихорадке. Он продвигался очень медленно и осторожно. Выделяясь на ясном голубом фоне неба, он был похож на огромного паука, который полз по своей паутине.

Надо было карабкаться очень осмотрительно, так как фок был высоко закреплен, а фалы, проходя через различные блоки на гафеле [3]) и мачте, давали только отдельные точки опоры для рук и ног. Но главная трудность заключалась в том, что ветер не был ни

---

[1]) Фок—нижний парус на фок-мачте.

[2]) Реи—горизонтальные деревья, укрепленные поперек мачт.

[3]) Гафеля—наклонные деревья, упирающиеся нижним концом в мачту. Фалы—снасти, поднимающие паруса.

довольно сильным, ни довольно ровным, чтобы держать паруса вполне надутыми. Когда Гаррисон был уже на полдороге, «Призрак» сильно накренился в одну сторону, а затем в другую, во впадину между волнами. Гаррисон остановился и крепко уцепился за снасти. Стоя в восьмидесяти футах под ним, я видел мучительное напряжение его мускулов, когда жизнь его висела на ниточке. Парус захлопал, и гафель стремительно повернулся. Фалы, на которых висел Гаррисон, ослабли, и хотя это случилось очень быстро, я все-таки успел заметить, что они осели под тяжестью его тела. Затем гафель с резкой стремительностью качнулся в сторону, огромный парус хлопнул как пушечный выстрел, а три ряда сезней ударились о парус с шумом, подобным треску залпа из ружей. Крепко уцепившись, Гаррисон проделал головокружительный полет. Но ветер внезапно прекратился, и фалы сразу натянулись. Это походило на взмах кнута. Гаррисон был смят. Сначала сорвалась одна рука, за ней последовала, после краткого судорожного цепляния, другая. Его тело было сброшено, но ему все-таки удалось зацепиться ногами. Теперь он висел головой вниз. Сделав усилие, он опять дотянулся руками до фалов, но еще долго возился и извивался, пока вернулся в прежнее положение, скрюченный и жалкий.

— Держу пари, что у него не будет аппетита за ужином,—донесся до моего слуха голос Вульфа Ларсена, вышедшего из-за угла кухни.—Отойдите, эй вы, Иогансен! Смотрите! С ним начинается!

Гаррисону было, действительно, дурно, как бывает при морской болезни; и в течение долгого времени он висел на своем сомнительном нашесте, без попытки пошевелиться. Тем не менее Иогансен продолжал свирепо понукать его, заставляя выполнить работу.

— Стыд какой!—услышал я ворчанье Джонсона, говорившего, как всегда, медленно, но на правильном английском языке. Он стоял под грот-мачтой, в нескольких шагах от меня.—Ведь малый старается! Он научится, если как следует учить его. А это простое...—Он остановился, потому что с его языка уже готово было сорваться слово «убийство».

— Тсс, с ума сошел! Ради своей матери, попридержи язык!—зашептал ему Луис.

Но Джонсон продолжал ворчать.

— Послушайте,—обратился охотник Стэндиш к Вульфу Ларсену,—он мой гребец, и мне не хочется остаться без него.

— Правильно, Стэндиш,—ответил капитан,—он ваш гребец пока он у вас на лодке, но он мой матрос, пока он здесь, и, чорт возьми, я могу делать с ним все, что хочу.

— Но это не отговорка...—начал, было, Стэндиш.

— Довольно. Отойдите-ка лучше,—посоветовал Вульф Ларсен,—я вам сказал, и кончено дело. Парень мой и я велю сварить суп из него, и съем, если мне захочется.

В глазах у охотника мелькнул сердитый огонь, он повернулся на каблуках и ушел в свое помещение, где и оставался, поглядывая оттуда наверх. Вся команда была теперь на палубе, и все глаза смотрели вверх, где человеческая жизнь боролась со смертью. Тупость и бессердечие этих людей, которым современный промышленный строй предоставил власть над жизнью других людей, ужасали меня. Мне, жившему вне житейского водоворота, никогда и на ум не приходило, что могла быть работа такого сорта. Жизнь казалась мне святыней, а здесь она не ценилась ни во что, была цифрой в коммерческих расчетах. Я должен, однако, сказать, что матросы все же проявляли некоторое сострадание, чему примером мог служить Джонсон; но «начальство» (охотники и капитан) было бессердечно равнодушно. Даже протест Стэндиша объяснялся только тем, что ему не хотелось потерять гребца. Если бы на мачте оказался гребец другого охотника, то и Стэндиш, подобно всем остальным, забавлялся бы этим приключением.

Но вернемся к Гаррисону. Прошло не менее десяти минут, пока Иогансен, все время оскорбляя и браня беднягу, не добился, наконец, того, что тот решился двинуться дальше. Он добрался до конца гафеля, где, сев верхом, почувствовал более прочную точку опоры. Он освободил парус и мог теперь, двигаясь по наклонной плоскости, вдоль по фалам, вернуться к мачте. Но у него окончательно ослабели нервы. Несмотря на всю рискованность своего положения, он боялся переменить его на еще более опасное на фалах.

Он взглянул на воздушный путь, который ему предстояло пройти, и потом вниз на палубу. Его глаза были широко открыты от страха. Я никогда раньше не видел на человеческом лице такого выражения страха. Он весь дрожал. Иогансен напрасно кричал ему, чтобы он спускался вниз. Каждую минуту его могло сбросить с гафеля, но он оцепенел от страха. Вульф Ларсен, прогуливаясь по палубе и разговаривая со Смоком, не обращал на него никакого внимания, хотя раз и крикнул резко рулевому:

— Сбиваешься с курса, любезный! Осторожней, а то влетит!

— Есть, сэр!—ответил рулевой, повернув штурвал на две спицы. Он был повинен в том, что уклонился на два-три градуса от курса, чтобы дать небольшому ветерку натянуть и держать парус в одном положении. Ему хотелось помочь этим несчастному Гаррисону, даже рискуя навлечь на себя гнев Вульфа Ларсена.

Время шло, и напряженное ожидание стало для меня невыносимым. А Магридж находил все это очень забавным: он высовывал

голову из кухни и делал веселые замечания. Ах, как я ненавидел его! Моя ненависть к нему выросла вдесятеро во время этого ужасного происшествия! В первый раз в моей жизни я ощутил в себе потребность убийства, или, как говорят некоторые писатели, любящие живописные выражения, почувствовал «красный туман в глазах».

Жизнь вообще священна, но в частном случае, у Томаса Магриджа, она была оскверненной. Я ужаснулся, сознав в себе «красный туман», и подумал: «Не заразился ли я жестокостью в этой обстановке,—я, который даже в самых ужасных судебных делах отрицал необходимость смертной казни?»

Прошло полчаса, и я заметил, что между Джонсоном и Луисом началось какое-то пререкание. Закончилось оно тем, что Джонсон отбросил от себя руку Луиса и двинулся вперед. Он перешел через палубу, ухватился за фок-ванты [1]) и начал карабкаться вверх. Но быстрый взгляд Вульфа Ларсена заметил его.

— Эй ты, куда лезешь?—закричал он.

Джонсон приостановился. Он взглянул прямо в глаза капитану и медленно ответил:

— Я хочу снять оттуда парня.

— Спускайся с вант, и притом живо, чорт возьми! Слышишь? Сползай вниз!

Джонсон поколебался, но долгие годы повиновения командирам на судах сломили его волю, он угрюмо соскользнул на палубу и пошел на бак.

В половине шестого я спустился вниз, чтобы накрыть на стол в каюте, но почти ничего не соображал,—мои глаза и мозг были отуманены видом бледного, дрожавшего человека, который смешно, точно клоп, цеплялся за раскачивающуюся снасть. В шесть часов, когда я подавал ужин и бегал через палубу за кушаньями в кухню, я все еще видел Гаррисона в одном и том же положении. Разговор за столом шел о чем-то постороннем. Казалось, никто не интересовался жизнью человека, по капризу подвергнутого опасности. Немного позже, пробегая по палубе, я с радостью увидел, что Гаррисон, пошатываясь, пробирался от вант к люку на баке. Он, наконец, набрался мужества и спустился вниз.

Чтобы покончить с этим происшествием, я должен привести отрывок из моего разговора с Вульфом Ларсеном в каюте, когда я мыл тарелки.

— Сегодня у вас был унылый вид,—начал он.—В чем дело?

---

[1]) Ванты—снасти для бокового укрепления мачт. Фок-ванты—снасти, укрепляющие фок-мачту.

Я видел, что он знал, почему мне было почти так же скверно, как Гаррисону, и что он просто хотел втянуть меня в разговор.

— На меня подействовало,—ответил я,—бесчеловечное обращение с матросом.

Он усмехнулся.

— Это нечто вроде морской болезни. Одни выносят ее, другие нет.

— Это не то,—возразил я.

— Именно то,—продолжал он.—Земля полна жестокости, как море движения. Одни болеют от первого, другие от второго. В этом вся штука.

— Вы смеетесь над человеческой жизнью... Неужели вы не признаете за ней никакой цены?

— Цены? Какой цены?

Он посмотрел на меня, и хотя его взгляд был неподвижен и упорен, мне почудилась в нем циничная улыбка.

— Какого рода цены?—продолжал он.—Как вы ее определяете? Кто оценивает?

— Я оцениваю,—был мой ответ.

— Так чему же она для вас равняется? Жизнь другого человека, я подразумеваю. Ну-ка, чего она стоит?

Ценность жизни! Как определить ее? Обычно находчивый в разговоре, я с Вульфом Ларсеном терялся. Впоследствии я решил, что это происходило отчасти от личных свойств этого человека, но больше всего от полного различия наших взглядов. С другими материалистами я находил общее; с ним же никакого общего пункта не было. Может быть, меня сбивала элементарная простота его ума. Он так прямо подходил к сути дела, отбрасывая ненужные подробности и высказывая окончательные суждения, что мне казалось, будто я барахтаюсь в глубокой воде, потеряв почву под ногами.

Ценность жизни! Как мог я сразу ответить на этот вопрос? Жизнь священна,—это было для меня аксиомой. Что жизнь имела внутреннюю ценность, было для меня общим местом, которое я никогда не подвергал сомнению. Но когда он потребовал от меня защитить это общее место, я онемел.

— Мы говорили об этом вчера,—сказал он.—Я утверждал, что жизнь—фермент [1]), нечто вроде дрожжей, нечто пожирающее другую жизнь, чтобы жить самой. Торжествующее свинство. С точки зрения спроса и предложения, жизнь—самая дешевая вещь на свете. Количество земли, воздуха, воды ограничено; но жизни, желающей родиться, нет пределов. Природа расточительна. Взгляните на рыб

[1]) Ферменты—ускорители реакций, протекающих в клетках организмов.

я на мириады их зародышей—икру. Или посмотрите на себя и на меня. В нас лежат возможности миллионов жизней. Если бы мы нашли время и возможность использовать каждую крупицу нерожденной жизни, которая живет в нас, мы могли бы заселить материки и сделаться отцами народов. Жизнь? Ха-ха! В ней нет никакой ценности. Из всех дешевых вещей—она самая дешевая. Она бродит везде с мольбой о рождении. Природа рассыпает ее щедрой рукой. Там, где место для одной жизни, природа сеет их тысячи; и жизнь пожирает жизнь, пока не останутся самые сильные и самые свинские жизни.

— Вы читали Дарвина,—сказал я.—Но вы неправильно поняли, если сделали вывод, что борьба за существование оправдывает ваше своевольное разрушение жизни.

Он пожал плечами.

— Вы, видимо, разумеете только человеческую жизнь,—сказал он.—Что же касается четвероногих, птиц и рыб, то вы истребляете их так же, как и я или всякий другой. Но человеческая жизнь ничем не отличается от жизни прочих животных, хотя вы в чем-то находите различие и думаете, что можете его доказать. Почему я должен беречь эту дешевую, ничего не стоящую вещь? На свете больше матросов, чем судов для них, и больше рабочих, чем фабрик и машин. Вы, живущие на суше, знаете, что хотя вы и размещаете бедноту на окраинах, обрекая ее на болезни и голод, все-таки остается множество бедняков, умирающих за неимением корки хлеба или куска мяса (то есть чьей-то разрушенной жизни), и вы не знаете, как с ними быть. Видели ли вы когда-нибудь доковых рабочих в Лондоне, как они, точно звери, дерутся из-за работы?

Он направился к трапу, но повернул голову для последнего замечания.

— Единственной оценкой жизни, знаете ли, будет та, которую она сама себе дает. И, конечно, всегда бывает переоценка, так как— кто же ценит себя дешево? Возьмем этого человека, которого я послал наверх. Он цеплялся там, как будто он драгоценнейшая вещь, сокровище превыше бриллиантов и рубинов. Для вас? Нет. Для меня? Еще меньше. Для себя? Да. Но я не согласен с его оценкой. Он чрезмерно преувеличивает свою стоимость. Есть огромный запас жизней, желающих родиться. Если бы он свалился, и его мозг разбрызгался по палубе как мед из сота, то свет не ощутил бы никакой потери. Для мира он не представляет ни малейшей ценности. Он был ценен только самому себе, и насколько обманчива его собственная оценка, видно из того, что, потеряв жизнь, он не мог бы осознать, что потерял самого себя. Лишь он один ценил себя превыше бриллиантов и рубинов. Бриллианты и рубины разбрызганы по палубе, и

достаточно ведра воды, чтобы смыть их, а он даже и не почувствует, что бриллиантов и рубинов больше нет. Он ничего не теряет, потому что, потеряв себя, он утрачивает понятие о потере. Видите? Что вы можете на это сказать?

— Что вы, по крайней мере, последовательны,—это было все, что я смог ответить, и продолжал мыть посуду.

ГЛАВА VII

Наконец, после трехдневных переменных ветров мы поймали северо-восточный пассат. Я вышел на палубу, отлично отдохнув за ночь, несмотря на продолжавшуюся боль в колене. Я увидел, что «Призрак» летит точно на крыльях, вспенивая волны и распустив все паруса, кроме кливеров. О, изумительный пассат! Мы плыли день и плыли ночь, и следующий день, и еще следующий, и так день за днем, а ветер все время ровно и сильно дул нам с кормы. Шхуна неслась, не требуя забот. Не надо было тянуть снасти и перекидывать марселя; у матросов не было другого дела, кроме управления рулем. За ночь паруса несколько ослабевали от росы, а утром, высыхая, они снова натягивались,—вот и все!

Десять, одиннадцать, двенадцать узлов—так увеличивалась скорость, с которой мы шли. И все время дул бодрый северо-восточный ветер, уносивший нас вперед на двести пятьдесят миль в сутки. Меня и огорчала и радовала та скорость, с которой мы удалялись от Сан-Франциско и неслись к тропикам. С каждым днем делалось заметно теплее. Во время второй дневной вахты матросы выходили на палубу, раздевались и поливали друг друга водой. Появились летучие рыбы, и по ночам вахтенные ползали по палубе в погоне за теми из рыбок, которые попадали на палубу. Томаса Магриджа задабривали взяткой, и утром по всей кухне распространялся приятный запах жареной рыбы. Иногда ели мясо дельфина, когда Джонсону удавалось поймать с бушприта [1]) одного из этих сверкающих красавцев.

Джонсон проводил тут или наверху, на реях, все свое свободное время, наблюдая, как «Призрак» под напором пассата рассекал воду. В его глазах светились страсть и восторг. Он бродил как во сне, глядя в экстазе на надувшиеся паруса, пенившееся море и следя за свободным бегом судна по текучим горам, двигавшимся вместе с нами величавой вереницей. Дни и ночи—сплошное чудо и наслаждение, и хотя у меня оставалось немного времени, свободного от скучной работы, я все же выкрадывал случайные минуты и глядел, глядел

[1]) Бушприт—наклонная мачта, укрепленная на носу корабля.

на бесконечное торжество красоты, которая мне никогда раньше и не снилась. Вверху—безоблачное синее небо, синее как море, которое у носа корабля такого же цвета и блеска, как лазурный атлас. Над горизонтом—бледные, легкие облачка. Они не меняются, не двигаются,—как бы серебряная оправа для чистой бирюзы небес.

Я не забуду одной ночи, когда вместо того, чтобы спать, я лежал на носу и смотрел вниз на игравшую всеми цветами радуги полосу пены, которую отбрасывал от себя «Призрак». Слышалось журчание, подобное шуму ручейка, бегущего по мшистым камням в тихой долине, и эта журчащая песня убаюкала меня и унесла далеко-далеко от самого себя. Мне казалось, что я и не «Сутулый»—каютный юнга, и не прежний Ван-Вейден, промечтавший тридцать пять лет жизни среди своих книг.

Меня привел в себя раздавшийся за моей спиной голос. Я не мог не узнать его. Это был голос Вульфа Ларсена, уверенный и сильный, но смягченный и растроганный теми прекрасными словами, которые он декламировал.

— «О, пламенная тропическая ночь, когда след корабля, как сияющий пояс, держит горячее небо, и когда упрямый нос его зарывается в глубину, усыпанную пылью звезд, где испуганный кит кидается в пламя.

«Палуба корабля покороблена зноем, милая девушка, и снасти его натянулись от росы, и мы несемся с тобою на всех парусах по старому пути, по нашему пути и вне пути. Мы клонимся к югу на старый, долгий путь,—путь вечно новый».

— Ну, Сутулый,—вдруг обратился он ко мне после внушительной паузы, достойной сказанных стихов и обстановки,—вас это не поражает?

Я посмотрел ему в лицо,—оно сияло как море и глаза его сверкали при свете звезд.

— Меня поражает, что вы способны приходить в восторг,—сказал я холодно.

— Ну, что же, человек, значит, бурлит!—воскликнул он.—Это—жизнь!

— Дешевая, не стоящая ровно ничего вещь,—бросил я ему его же собственные слова.

Он засмеялся, и в первый раз я услышал искреннюю веселость в его голосе.

— Ах, никак не могу добиться, чтобы вы поняли, никак не могу вбить вам в голову, что за штука жизнь. Конечно, вообще жизнь ничтожна, но для себя она драгоценна. И моя жизнь, могу сказать вам, как раз в эту минуту чрезвычайно ценна для меня. Она сейчас

свыше всякой цены, что вы, конечно, поспешите назвать ужасающей переоценкой, но ничего не поделаешь: сама жизнь, бурлящая сейчас во мне, определяет себе цену.

Он остановился, как будто подыскивая слова для своей мысли, и затем продолжал:

— Знаете! Я переполнен странной радостью. Я чувствую в себе голоса столетий, как будто все силы в моей власти. Я знаю правду, различаю добро от зла, истину от лжи. Мой взор ясен и проникает в будущее. Я почти могу поверить в бога. Но...—его голос изменился, и глаза потухли,—что же это за состояние, в котором я нахожусь? Радость жизни? Упоение жизнью? Или это вдохновение? Это просто то, что приходит, когда у человека хорошее пищеварение, когда желудок в порядке, аппетит хорош, и все идет гладко. Это приманка жизни, шампанское в крови, брожение закваски... И одни люди полны святыми мыслями, другие видят бога или же создают его, когда не могут видеть. Вот и все: опьянение, брожение дрожжей, бессвязный лепет жизни, опьяненной сознанием, что она жива. Ну, да! Завтра я буду расплачиваться за все это, как пьяница после запоя. И я буду знать, что должен умереть, скорее всего—на море, перестану копошиться в себе, чтобы закопошиться по-другому в общем разложении моря, стану падалью, пищей для других существ, чтобы сила и движение моих мышц сделались силой и движением в плавниках, в чешуе или в кишечнике рыб. Ладно! Довольно! Шампанское выдохлось. Нет уже искр и пузырьков. Осталась бесвкусная бурда.

Он покинул меня так же внезапно, как и появился, спрыгнув на палубу с легкостью и мягкостью тигра.

А «Призрак» все шел и шел вперед. Я заметил, что журчание у носа было похоже на похрапывание, и по мере того, как я прислушивался к нему, впечатление, оставленное Вульфом Ларсеном с его бурным срывом от возвышенного вдохновения к отчаянию, медленно покидало меня.

Из середины корабля доносилось пение. Превосходный тенор бывалого матроса пел «Песню о пассате»:

Я—ветерок, приятный морякам,
Я ровен, свеж, могуч,
Они следят за мной по нежным облакам,
На юге нету туч.
Я день и ночь бегу за кораблем,
Как верный пес, разинув пасть.
Я легок по ночам, сильнее дую днем,
Вздуваю паруса, раскачиваю снасть.

ГЛАВА VIII

Иногда Вульф Ларсен кажется мне сумасшедшим, или, по меньшей мере, полусумасшедшим, так дики его капризы и причуды. Иногда же я готов признать его за великого человека, за гения, какого никогда еще не было. А в конце концов я убежден, что он совершенный образец первобытного человека, родившегося с опозданием на тысячи лет, ходячий анахронизм в наш век торжества цивилизации. Он, несомненно, ярый индивидуалист. И еще больше: он очень одинок. Между ним и всеми остальными на шхуне нет ничего общего. Невероятная физическая сила и большой ум отделяют его от других. Все, даже охотники—для него точно дети, и он обращается с ними как с детьми. Спускаясь до их уровня, он играет с ними как с щенками. А иногда он изучает и пытает их жестокими руками вивисектора [1]), роясь в их умственных процессах и исследуя их души, как бы для того, чтобы понять, из какого материала они сделаны.

Не раз я был свидетелем, как он за столом оскорблял то одного охотника, то другого, смотря на них холодным, пристальным взором. Он с таким любопытством следил за их поступками, ответами или гневом, что мне, наблюдавшему эти сцены в качестве постоянного зрителя и понимавшему Ларсена, становилось почти смешно. Его припадки ярости, по моему убеждению, были притворны; повидимому, они служили ему для экспериментов, а главным образом, были той манерой обращения со своей командой, которую он считал необходимой для себя. За исключением случая с умершим штурманом, я ни одного раза не видел его по-настоящему разгневанным, да, признаться, и не хотел бы видеть, как вся его сила вырвется наружу в подлинной ярости.

Что касается его причуд, я расскажу о том, что приключилось с Томасом Магриджем, и кстати покончу с тем случаем, о котором уже дважды упоминал мимоходом. Как-то раз после обеда, подававшегося обыкновенно в двенадцать часов, когда я закончил уборку каюты, Вульф Ларсен и Томас Магридж спустились по трапу. Хотя у повара и был свой закоулок при каюте, но он не осмеливался бывать или даже показываться в самой каюте и только иной раз проскальзывал через нее как робкое привидение.

— Итак, значит, ты умеешь играть в «пэп»,—обратился к нему Вульф Ларсен веселым голосом.—Разумеется, как англичанин, ты

---

[1]) Вивисекция — производство опытов над живыми животными, напр., рассечение, прививка болезней кроликам и т. д.

должен знать эту игру. Я сам научился этой игре на английских кораблях.

Томас Магридж глупо сиял, радуясь, что капитан разговаривает с ним по-приятельски. Его ужимки и мучительные усилия походить на «воспитанного джентльмена» были бы глубоко противны, не будь они так забавны. Он совершенно не замечал моего присутствия, а может быть, не был уже и способен разглядеть меня. Его светлые, бесцветные глаза мерцали, подернутые влагой, как томное летнее море, и моего воображения нехватало представить себе, какие блаженные видения таились за ними.

Они уселись за стол.

— Достаньте карты, Сутулый,—приказал Вульф Ларсен,—принесите сигары и виски. Вы найдете все у меня в каюте, в ящике.

Я повернулся как раз в тот момент, когда Магридж прозрачно намекал, что с его рождением связана тайна, что он—сын «джентльмена», который не мог оставить семью, или что-то в этом роде. Он упомянул далее, что его нарочно удалили из Англии, хорошо заплатив ему за отъезд.

Я поставил рюмки для вина, но Вульф Ларсен нахмурился и сделал мне знак, чтобы я принес стаканы. Потом я наполнил их на две трети неразбавленным виски—«напиток джентльменов», как выразился Томас Магридж,—и, чокнувшись в честь знаменитой игры «нэп», партнеры закурили сигары и принялись тасовать и сдавать карты.

Играли на деньги. Ставки росли. Игроки непрерывно пили и скоро опорожнили бутылку. Я принес вторую. Не знаю, шулерничал ли Вульф Ларсен,—он был способен и на это,—но, во всяком случае, он все время выигрывал. Повар несколько раз ходил к своей койке за деньгами. С каждым разом он все более фанфаронил, но все-таки не приносил больше нескольких долларов зараз. Наконец, он совершенно опьянел, стал фамильярничать и с трудом мог сидеть прямо и смотреть в карты.

— Да, у меня есть деньги, есть деньги. Говорю вам, я сын джентльмена...

Вульф Ларсен не пьянел, хоть и пил виски стаканами. В нем не произошло никакой перемены. Его, видимо, даже и не забавляли выходки собутыльника.

В конце концов повар, громко приговаривая, что он может проигрывать как джентльмен, поставил на карту последние деньги и проиграл. После этого он опустил голову на руки и зарыдал. Вульф Ларсен с любопытством посмотрел на него, как будто собираясь исследовать и анализировать его, потом передумал, увидев, что и исследовать-то здесь нечего.

— Сутулый,—вежливо сказал он,—пожалуйста, возьмите мистера Магриджа под руку и помогите ему выйти на палубу. Он не совсем хорошо себя чувствует. И скажите Джонсону, чтобы он освежил его несколькими ведрами холодной воды,—прибавил он вполголоса.

Я покинул мистера Магриджа на палубе, передав его на руки двум ухмылявшимся матросам. Мистер Магридж все еще сонно бормотал, что он сын джентльмена. Но, спускаясь по трапу, я услышал, как он закричал благим матом от первого ведра воды.

Вульф Ларсен подсчитывал свой выигрыш.

— Сто восемьдесят пять долларов,—сказал он громко,—я так и думал. Этот нищий явился сюда без гроша в кармане.

— И то, что вы выиграли, сэр,—смело сказал я,—принадлежит мне.

Он удостоил меня насмешливой улыбкой.

— Сутулый, я в свое время изучал грамматику и думаю, что вы перепутали времена. Вы должны сказать: «принадлежало мне», а не «принадлежит».

— Этот вопрос не грамматики, а этики [1],—ответил я.

Прошло около минуты, прежде чем он заговорил.

— Знаете, Сутулый,—начал он медленно и серьезно, с еле уловимой грустью в голосе,—я в первый раз слышу из уст человека слово «этика». Мы с вами здесь единственные люди, знающие его значение. Когда-то,—продолжал он после новой паузы,—я мечтал, что научусь говорить с теми, для кого обычен такой язык, что поднимусь с того низа, где родился, и буду общаться с людьми, разговаривающими о таких вещах, как этика. Сегодня я в первый раз услышал это слово. Но все это между прочим. Вы неправы. Это вопрос не грамматики и не этики, а фактов.

— Я понимаю,—сказал я,—факт тот, что деньги у вас.

Его лицо прояснилось. Казалось, он был доволен моей проницательностью.

— Но вы удаляетесь от сущности вопроса, которая относится к праву,—продолжал я.

— Ну!—пренебрежительно искривил он губы,—я вижу, вы все еще верите в такие вещи, как право и бесправие.

— А вы?—спросил я.—Совершенно не верите?

— Нисколько. Право в силе, вот и все. Слабый всегда виноват. Быть сильным хорошо, а слабым—плохо, или, еще лучше, приятно быть сильным, потому что это выгодно, и отвратительно быть слабым, потому что от этого страдаешь. Обладать вот этими деньгами

---

[1]) Этика—учение о нравственности.

приятно. Так как я могу ими владеть, то я буду неправ к себе и живущей во мне жизни, если отдам их вам и лишу себя удовольствия пользоваться ими.

— Но вы несправедливы по отношению ко мне, удерживая их,— возразил я.

— Ничуть. Человек не может быть несправедлив к другому. Он может быть несправедлив только к себе. По моим взглядам, я всегда неправ, когда считаюсь с интересами других. Поймите, как могут быть неправы друг к другу две молекулы дрожжей, стараясь поглотить одна другую? В них заложена потребность поглощать и вложен инстинкт не давать себе проглатывать. Нарушая предписанное, они грешат, они неправы.

— Так, значит, вы не верите в альтруизм? [1])—спросил я.

Слово это, видимо, было знакомо ему, хотя он погрузился в размышление.

— Позвольте,—сказал он,—это что-то относительно содействия другому, содружества? Не так ли? Что-то вроде кооперации?

— Ну, в некотором смысле, пожалуй, есть связь,—ответил я, не удивившись пробелам в его словаре: ведь он расширял его, так же как и свои знания, путем чтения и самообразования. Никто не руководил его занятиями. Он много думал, но ни с кем не разговаривал.

— Альтруистическим поступком мы называем такой поступок, который совершается для блага других. Он бескорыстен, в противоположность поступку исключительно в своих интересах. Такой акт мы называем эгоистическим.

Он кивнул.

— Да,—сказал он,—я теперь припоминаю. Я читал что-то у Спенсера.

— У Спенсера!—воскликнул я.—Вы читали Спенсера?

— Немного,—признался он.—Я понял кое-что в «Основных началах», но на его «Биологию» у меня нехватило ветра для парусов; в «Психологии» я много дней напрасно бился при мертвом штиле. Никак не мог понять, к чему он вел. Я объяснил это своей умственной несостоятельностью, но потом решил, что это происходило от моей неподготовленности. Не было правильного подхода. Только я да Спенсер знаем, как я мучился. Но из «Данных этики» я кое-что

---

[1]) Альтруизм—поведение, бескорыстно направленное на пользу другим людям, в противоположность эгоизму. Понятие очень неопределенное, так как моралисты, исходящие из понятия альтруизма, не принимали во внимание классового момента в развитии социальных симпатий человека. Вне классовых же отношений социальные симпатии являются понятием неопределенным, расплывчатым.

выудил. Там я встретился и с «альтруизмом», и припоминаю теперь, как этот термин применялся.

Что мог извлечь из «Этики» Спенсера такой человек, как Ларсен? Я достаточно помнил Спенсера и знал, что он считал альтруизм обязательным для высшего идеала человеческого поведения.

Очевидно, Вульф Ларсен пропустил мимо ушей учение великого философа, откинув все, что было чуждо, и выбрав лишь то, что соответствовало его собственным нуждам и желаниям.

— А еще что вы у него нашли?—спросил я.

Его брови слегка сдвинулись от усилия выразить те мысли, для которых он никогда раньше не находил слов. Я почувствовал волнение. Я заглядывал в его душу, так же как он обычно заглядывал в души других. Я вступал на девственную почву. Странная, чрезвычайно странная область развертывалась передо мной.

— Если сказать кратко,—начал он,—Спенсер рассуждает так: во-первых, человек должен стремиться к собственной пользе. В этом мораль и добро. Затем он должен работать на пользу своих детей. И, в-третьих, приносить пользу своей расе.

— А высшее, самое прекрасное и правильное поведение,—добавил я,—когда человек одновременно приносит пользу и себе, и детям, и расе.

— На этом я не настаивал бы,—ответил он,—не вижу ни необходимости, ни здравого смысла. Я отбрасываю расу и детей. Я ничем бы для них не пожертвовал. Это все ерунда и сентиментальность, по крайней мере для того, кто не верит в вечную жизнь. Будь бессмертие, альтруизм я считал бы выгодной сделкой. Я поднял бы свою душу до невероятных высот. Но не видя ничего вечного, кроме смерти, и получив на краткий срок то брожение дрожжей, которое называют жизнью, я чувствую, что было бы совершенно безнравственно подвергать себя жертвам. Каждая жертва, лишающая меня лишнего биения жизни,—глупость, и не только глупость, но и несправедливость к самому себе,—следовательно, злое дело. Я не должен терять ни одного глотка, ни одного движения, если желаю использовать возможно лучше свое брожение. И вечная тишина, которая надвигается на меня, не будет ни легче, ни тяжелее от того, приносил ли я себя в жертву, или проявлял свой эгоизм, пока я ползал на земле.

— Значит, вы индивидуалист и материалист, а следовательно— гедонист [1]).

— Громкие слова!—улыбнулся он.—Кстати, что такое гедонист?

Он одобрительно кивнул, выслушав мои объяснения.

---

[1]) Гедонизм—наслаждение жизнью.

— И кроме того,—продолжал я,—вы, значит, такой человек, которому даже в мелочах нельзя доверять, если к ним примешивается эгоистический интерес?

— Наконец-то вы начинаете понимать!—воскликнул он весело.

— Вы человек, совершенно лишенный того, что люди называют моралью?

— Вот именно.

— Человек, которого нужно всегда бояться?

— Совершенно верно.

— Так, как боятся обыкновенно змеи, тигра или акулы?

— Теперь вы знаете меня,—сказал он,—и знаете таким, каким вообще меня знают. Меня и называют «Волком».

— Вы чудовище,—смело добавил я.—Калибан, ссылающийся на Сетебоса [1]) и действующий по своей прихоти и капризу.

Он нахмурился при этом намеке. Видимо, он не понял, и я догадался, что он не читал поэмы про Калибана.

— Я как раз читаю теперь Броунинга,—признался он.—Это чтение довольно трудно для меня. Прочел я маловато, а уже запутался.

Чтобы не утомлять читателя, скажу только, что я тотчас же достал из его каюты книгу и прочел ему вслух «Калибана». Он был в восторге. Примитивное мышление и упрощенное отношение к вещам были вполне понятны ему. Он неоднократно прерывал меня своими комментариями и критикой. Когда я кончил, он заставил меня прочесть поэму во второй, а затем и в третий раз. Мы увлеклись спором о философии, науке, прогрессе и религии. Он выражался с угловатостью, свойственной самоучке, но с уверенностью и прямотой первобытного ума. В самой простоте его доказательств была сила, и его материализм был несравненно убедительнее, чем хитросплетенный материализм моего друга Чарльза Ферусета. Не то чтобы я, закоренелый, или, по выражению Ферусета, «прирожденный» идеалист, мог поддаться убеждениям Вульфа Ларсена, но несомненно, что он нападал на последние твердыни моих верований с силой, которая возбуждала уважение, как ни были взгляды его чужды моим.

Время шло. Пора было ужинать, а стол еще не был накрыт. Я начал беспокоиться, и когда Магридж с хмурым, злым лицом заглянул в каюту, я собрался итти исполнять свои обязанности, но Ларсен крикнул ему:

---

[1]) Калибан — чудовище в образе человека, выведенное в трагедии Шекспира „Буря“ и в поэме английского поэта Роберта Броунинга, где Калибан противопоставлен светлому духу—Сетебосу.

— Повар, тебе придется похлопотать сегодня. Сутулый занят. Обойдись без него.

И опять произошло нечто неслыханное. В этот вечер я сидел за столом с капитаном и охотниками, в то время как Томас Магридж нам прислуживал и потом мыл посуду—новый каприз, калибановская прихоть Вульфа Ларсена,—прихоть, от которой я предвидел много неприятностей. А пока мы говорили и говорили, раздражая охотников, которые не понимали ни единого слова.

ГЛАВА IX

Три дня отдыха! Три дня блаженного отдыха провел я с Вульфом Ларсеном. Я обедал за общим столом в кают-компании, ничего не делал, а только рассуждал с капитаном о жизни, литературе и законах вселенной, в то время как Томас Магридж бесился, выполняя всю мою и свою работу.

— Берегитесь шквала, вот все, что я вам могу сказать,—предостерег меня Луис, когда я остался на полчаса один на палубе; Ларсен был занят улаживанием ссоры между охотниками.

— Никто не может сказать, что случится,—продолжал Луис в ответ на мою просьбу дать более точные объяснения.—Этот человек изменчив, как ветер в море. Вы никогда не угадаете его намерений. Вы думаете, что поняли его, и плавно плывете мимо его, а он круто обернется, налетит вихрем, и все ваши паруса, рассчитанные на хорошую погоду, изорвутся в клочки.

Итак, я не был особенно удивлен, когда на меня налетел шквал, предсказанный Луисом. Мы горячо спорили с капитаном,—о жизни, конечно,—и я, чересчур расхрабрившись, начал резко говорить о самом Вульфе Ларсене и его жизни. Я увлекся и стал выворачивать его душу наизнанку так же едко и основательно, как он делал это с другими. Один из моих недостатков—колкость речи; а тут я разнуздался и начал колоть и хлестать, пока все внутри у него не стало на дыбы. Его темно-бронзовое загорелое лицо почернело от гнева, глаза запылали. В них уже не было ясности и спокойного понимания,—не было ничего, кроме ярости сумасшедшего. Я увидел волка, и притом бешеного.

Он с глухим ревом подскочил ко мне и схватил мою руку. Я попробовал вырваться, хотя внутренно дрожал. Однако, его громадная сила была чрезмерной для моего сопротивления. Он схватил меня за руку пониже плеча, и когда сжал свои пальцы, я закричал во все горло. Ноги у меня подкосились. Я не мог стоять, не мог выдерживать эту пытку. Мои мускулы отказывались служить. Боль была нестерпима. Мне казалось, что рука моя размозжена.

Вульф Ларсен, видимо, овладел собой. В его глазах блеснуло сознание, и он с коротким смехом, походившим на рычание, отпустил мою руку. Я от слабости упал на пол. Он сел, закурил сигару и стал следить за мной, как кошка следит за мышью. Пока я корчился, я подметил в его глазах удивление, вопрос и то недоумение, с каким он обычно глядел на непонятную ему жизнь.

Затем я кое-как встал на ноги и поднялся по трапу. Ясная погода миновала, и мне оставалось вернуться на кухню. Моя левая рука онемела, как парализованная, и прошло много дней, прежде чем я стал снова владеть ею, и много недель, пока боль исчезла окончательно, и возвратилась свобода движения. А он ведь не приложил всей своей силы! Он не ломал руки и не выворачивал ее. Он только сжал мне предплечье спокойной хваткой. А что мог он сделать, если бы захотел, я понял на следующий день. В знак возобновившейся дружбы он просунул голову в кухню и спросил меня, как поживает моя рука.

— Могло бы быть хуже,—улыбнулся он.

Я чистил картофель. Вульф Ларсен выбрал твердую, крупную неочищенную картофелину. Он взял ее и сжал так, что картофель брызнул жидкой кашицей.

Он бросил в чугун оставшийся комок и вышел, а я получил ясное представление о том, что могло случиться со мной, если бы этот зверь бросился на меня со всей своей силой.

Три дня отдыха все же принесли мне пользу. Ноге стало гораздо легче, опухоль заметно спала, и коленная чашка как будто вошла на свое место. Но эти три дня отдыха принесли и неприятности, которые я предвидел. Томас Магридж решил заставить меня расплатиться за эти блаженные три дня. Он стал обращаться со мной еще хуже, чем раньше, беспрестанно осыпал меня проклятиями и взвалил на меня всю свою работу. Он даже дерзнул замахнуться на меня кулаком, но я сам озверел и так грозно зарычал прямо ему в лицо, что он испугался и попятился. Не очень приятная была картина, насколько теперь вспоминаю: я, Гемфри Ван-Вейден, сидящий на корточках над своей работой в углу этой мерзкой кухни, лицом к лицу со злобным существом, каждую минуту готовым меня ударить. Рот мой оскален, как у собаки, я рычу, зубы ляскают, глаза сверкают от страха и бессилия и от храбрости отчаяния. Не нравится мне эта картина. Она напоминает мне крысу в западне. Но результат ее все же был таков, что замахнувшийся кулак не опустился на меня.

Томас Магридж отступил, глядя на меня с такой же ненавистью и злобой, как и я на него. Мы, точно два зверя, запертые вместе, скалили друг на друга зубы. Он был трусом, боявшимся ударить

меня только потому, что я не сробел перед ним. Поэтому он избрал новый способ запугать меня. В кухне был один сносный нож; благодаря долгому употреблению лезвее его сделалось узким и тонким. У него был такой страшный вид, что я первое время брался за него с содроганием. Повар взял у Иогансена брусок и принялся точить нож. Делал он это весьма хвастливо, бросая на меня многозначительные взгляды. Целый день он точил нож во всю его длину. Каждую свободную минуту он брал нож и брусок и точил, точил. Нож стал остр как бритва. Магридж пробовал его большим пальцем и поперек ногтя. Сбривая им волосы на руке, смотрел на острие так внимательно, точно в микроскоп, и вдруг находил, или делал вид, что находил на нем легкую неровность. Тогда он вновь брал брусок и точил, точил, точил, пока я, наконец, не расхохотался, так это было комично.

Однако, этим нельзя было шутить: он был способен пустить нож в ход. Под всей его трусостью у него, как и у меня, таилась храбрость именно труса, которая могла побудить его сделать как раз то самое, против чего протестовало все его существо, и чего он сам боялся. «Повар точит нож на Сутулого»,—шептали кругом матросы, а некоторые из них даже начали поддразнивать его. Он сносил все это спокойно и только таинственно покачивал головой, пока Джордж Лич, прежний каютный юнга, не попробовал грубо подшутить над ним по этому поводу.

Надо заметить, что Лич был одним из матросов, посланных Вульфом Ларсеном облить Магриджа водой после игры в карты с капитаном. Очевидно, Лич исполнил возложенное на него поручение с такой основательностью, что Магридж никак не мог ему это простить; на шутку Лича повар ответил потоком ругательств и стал угрожать ему тем самым ножом, который он точил на меня. Лич захохотал и отпустил еще дозу своего жаргона с «Телеграфной Горы», но не успели мы опомниться, как его правая рука оказалась располоснутой от локтя до кисти одним быстрым ударом ножа. Повар отступил назад с дьявольским видом, держа перед собою нож для защиты. Но Лич отнесся к делу совершенно спокойно, хотя кровь лилась из раны, как вода из фонтана.

— Я до тебя доберусь, поваришка,—сказал он.—И тебе тогда круто придется! Когда я приступлю к делу, у тебя этого ножа не будет.

С этими словами он повернулся и спокойно вышел. Лицо Магриджа было мертвенно бледно от испуга перед тем, что он сделал, и от ожидания мести, которая рано или поздно должна была последовать со стороны раненого. Но со мной он стал обращаться еще ужаснее. В нем проснулось при виде пролитой им крови вожделение,

похожее на безумие. Он стал жаждать крови. Психология эта достаточно запутанная, но я тем не менее мог читать то, что происходило в его сознании, как в открытой книге.

Прошло несколько дней, и «Призрак» все еще продолжал пенить море под пассатным ветром. Я мог поклясться, что видел теперь явное сумасшествие в глазах Магриджа. Признаюсь, мне было страшно, очень страшно. Он точил, точил, точил свой нож целыми днями. Когда он пробовал пальцем острее своего ножа и посматривал на меня, в его глазах сверкало кровожадное безумие. Я боялся повернуться к нему спиной и, выходя из кухни, каждый раз пятился, что весьма забавляло матросов и охотников, нарочно собиравшихся у дверей, чтобы посмотреть, как я буду входить и выходить. Постоянное напряжение измучило меня. Порой я думал, что мой собственный разум не выдержит; да это было бы вполне естественно на ужасном судне сумасшедших и зверей. Каждый час, каждую минуту моя жизнь находилась в смертельной опасности. Я переживал мучительное отчаяние, и, несмотря на это, ни одна живая душа ни на корме, ни на баке не выказывала мне ни капли сочувствия, и никто не желал притти мне на помощь. Временами у меня появлялась мысль просить заступничества у Вульфа Ларсена, но воспоминание о насмешливом огоньке в его глазах, издевавшихся над жизнью, каждый раз останавливало меня. Иногда я серьезно подумывал о самоубийстве, и нужна была вся сила моей оптимистической философии, чтобы удержать меня от прыжка в бездну в темноте ночи.

Вульф Ларсен несколько раз пытался втянуть меня в спор, но я давал односложные ответы и старался его избегать. В конце концов он приказал мне перебраться в кают-компанию и передать работу повару. Тогда я ему откровенно рассказал о том, что мне пришлось вынести от Томаса Магриджа в расплату за те три дня, когда капитан проявил ко мне свое особое благоволение. Вульф Ларсен посмотрел на меня с улыбкой.

— Так вы боитесь?—засмеялся он.

— Да,—честно признался я,—мне страшно.

— Все вы таковы!—воскликнул он полусердито, полупечально.— Сентиментальничаете о своих бессмертных душах, а умирать боитесь. При виде острого ножа и трусливого хулигана, ваше цепляние за жизнь побеждает все ваши глупости. Милейший! Вы же будете жить вечно! Вы бог, а бога убить нельзя. Ведь повар ничего не может вам сделать. Вы уже уверены в своем воскресении! Чего же вам бояться? Перед вами вечная жизнь, вы миллионер, и никогда не можете потерять свое богатство. Оно прочнее, чем вот эти звезды, и так же вечно, как время и пространство. Вам нельзя итти против

своих основных взглядов. Бессмертие—нечто, не имеющее ни начала, ни конца. Как хотите, а вечность есть вечность, и хотя вы сегодня здесь и умрете, ваша жизнь все-таки должна продолжиться где-нибудь. И как прекрасно вдруг скинуть с себя плоть и освободить плененный материей дух. Нет, поваришка не может повредить вам! Он может только толкнуть вас на тот путь, по которому вам извечно суждено итти. Но если вы не хотите, чтобы вас теперь же толкнули на ваш путь, то почему бы вам не толкнуть на него поваришку? Он ведь тоже миллионер бессмертия. Вы не можете разорить его. Его акции всегда будут котироваться аль-пари [1]). Убив его, вы не сократите срока его жизни, потому что срок этот не имеет ни начала, ни конца. Где-то, как-то, но этот человек будет жить вечно. Так подтолкните же его! Всадите в него нож, выпустите его дух на свободу. Сейчас дух этот томится в отвратительной тюрьме, и вы проявите любезность, взломав для него дверь. И кто знает? Быть может, оставив свою безобразную земную оболочку, на свободу вырвется и взовьется в синеву неба прекраснейший дух? Так пырните же ножом повара, и я поставлю вас на его место—а он получает сорок пять долларов в месяц.

Было ясно, что на какую-нибудь помощь или сострадание со стороны Вульфа Ларсена я рассчитывать не мог. Значит, нужно было рассчитывать только на самого себя; и из мужества отчаяния я выработал план борьбы с Томасом Магриджем при помощи его же собственного способа. Я тоже достал себе у Иогансена точильный брусок. Рулевой Луис давно просил меня достать ему сгущенного молока и сахару. Склад, где хранились эти деликатесы, находился под полом кают-компании. Улучив минуту, я украл пять жестянок молока и той же ночью, во время вахты Луиса, выменял у него кортик, такой же узкий и страшный на вид, как и нож Магриджа. Кортик был ржавый и тупой, но мы с Луисом хорошо отточили его: он точил, а я вертел точильный камень. В эту ночь я спал крепче обыкновенного.

На следующее утро после завтрака Томас Магридж опять начал свое: чирк, чирк, чирк. Я осторожно посмотрел на него, стоя на коленях и выгребая из печки золу. Выкинув ее за борт и вернувшись в кухню, я увидел, что он разговаривает с Гаррисоном, честное лицо которого выражало крайнюю степень изумления.

— Да,—говорил Магридж,—и что же сделал судья? Он посадил меня всего только на два года в Рэдингскую тюрьму. Но, чорт возьми,

---

[1]) Аль-пари—коммерческое выражение, означающее, что стоимость той или иной кредитной бумаги расценивается на золото равно с номинальной ценой.

мне было все равно. Тому кувшинному рылу тоже досталось на орехи. Посмотрел бы ты на него. Вот таким точно ножом. Я воткнул его точно в сливочное масло! А! как он заорал! Честное слово, это было забавнее, чем в балагане за два пенса.—Магридж бросил взгляд в мою сторону, чтобы убедиться, действует ли на меня этот рассказ, и продолжал:—И хныкал же этот парень, умолял меня! «Простите, Томми,—говорит,—я вовсе не желал вам зла, ей-богу, говорит, я не желаю вам зла». Ладно,—подумал я,—уж я тебя устрою! И, не отпуская его от себя, я тут же нарезал из него ремней, а он все время пищал. Один раз он ухватился за нож и хотел удержать его. Я дернул нож и разрезал ему руку до самой кости. Ну и вид у него был, могу сказать!

Окрик штурмана прервал кровавый рассказ, и Гаррисон отправился на ют. Магридж присел на порог кухни и продолжал точить нож. Я отложил кочергу и спокойно уселся против него на угольный ящик. Он бросил на меня хищный взгляд. Все еще спокойно, хотя мое сердце сильно колотилось, я вынул из-за голенища кортик Луиса и тоже начал точить его на бруске. Я ожидал какой-нибудь выходки со стороны повара, но, к моему удивлению, он как будто даже и не заметил, что я делаю. Он точил свой нож, я свой. Мы просидели так часа два, лицом к лицу, и точили, точили, точили, пока весть об этом не распространилась по всему судну, и половина команды не столпилась у дверей кухни поглядеть на это зрелище.

На нас сыпались советы и поощрения, а Джэк Горнер, тихий, молчаливый охотник, неспособный, по виду, обидеть даже муху, советовал мне пырнуть кортик не меж ребер, а прямо в живот, и показал в воздухе, как надо это делать. Этот прием он назвал «испанским поворотом». Лич, выставляя напоказ перевязанную руку, заклинал меня оставить для него хотя какие-нибудь потроха от повара. Даже сам Вульф Ларсен раза два останавливался во время своей прогулки по корме, чтобы с любопытством посмотреть на то, что он называл «брожением жизненной закваски».

Должен признаться, что в это время в моих глазах жизнь не представляла большой ценности. В ней не было ничего прекрасного, ничего божественного. Просто два труса, в которых еще бродили жизненные дрожжи, сидели друг против друга и точили ножи о камни, а группа других таких же живых существ, более или менее трусливых, следила за ними. Я уверен, что половина из этих зрителей нетерпеливо ждала, когда мы начнем резать друг друга. Это было бы для них забавой. И я думаю также, что не нашлось бы ни одного человека, который вмешался бы, если бы схватка действительно приняла смертельный оборот.

И в то же время в этом было много смешного и ребяческого. Чирк, чирк, чирк! Гемфри Ван-Вейден, точивший на кухне шхуны свой нож и пробовавший его лезвее на своем пальце! Из всех возможных положений это было самое нелепое и самое дикое. Все знавшие меня ранее никогда бы не поверили, что такая вещь возможна. Не даром же меня всю жизнь называли женским именем—«Сисси» Ван-Вейден, и то, что Сисси Ван-Вейден способен на такие дела, было откровением даже для Гемфри Ван-Вейдена, который не знал—гордиться ему этим или стыдиться.

Однако, ничего не случилось. Через два часа Томас Магридж отложил нож и брусок и протянул мне руку.

— Ну, к чему служить посмешищем для этих уродов?—сказал он.—Они нас не любят и были бы дьявольски рады, если бы мы перерезали друг другу горло. Ты, Сутулый, не плохой парень. В тебе огонек есть, как вы, янки, говорите, и ты мне даже нравишься. Ну, иди-ка сюда, давай лапу!

Я был трус, но все же менее трус, чем он. Это была моя явная победа, и я отказался умалить ее, пожав его гнусную руку.

— Ну, ладно!—сказал он необидчиво.—Не хотите—не надо. Я вас от этого меньше ценить не стану.

И, не желая показывать мне свое лицо, он свирепо обернулся к зрителям:

— Убирайтесь из моей кухни, эй, вы, мокрые швабры!

Приказ этот был подкреплен кастрюлей с кипятком, при виде которой все матросы быстро отступили. Это было своего рода победой Томаса Магриджа и способствовало тому, что он принял более спокойно нанесенное ему мною поражение. По отношению к охотникам он был все же более осторожен и не пытался гнать их из кухни.

— Скоро нашему поваришке придет конец,—услышал я, как говорил Смок Горнеру.

— Верно,—согласился тот.—Сутулый теперь хозяин на кухне; повару придется прятать свои когти.

Магридж расслышал это и бросил на меня быстрый взгляд, но я сделал вид, что разговор этот не долетел до моих ушей. Я не считал свою победу полной и окончательной, но решил не уступать ничего из своих завоеваний.

Следующие дни показали правильность пророчества Смока. Повар держал себя со мной более подобострастно и раболепно, чем даже с самим Вульфом Ларсеном.

Я больше не называл его «сэр» и «мистер», не чистил больше картофеля и не мыл сальной посуды. Я исполнял только свою

работу, делал ее, как считал нужным и когда хотел. Я стал носить свой кортик по-матросски, на ремне у бедра, и обращался с Томасом Магриджем властно и презрительно.

ГЛАВА X

Моя дружба с Вульфом Ларсеном возрастает, если только можно называть «дружбой» отношения между хозяином и слугой, или, еще вернее, между королем и шутом... Я для него игрушка, и он ценит меня не больше, чем ребенок свою игрушку. Моя обязанность—забавлять его, и пока я забавляю его, все идет хорошо. Но лишь только он начинает скучать или на него находит мрачное настроение, как он сейчас же ссылает меня из кают-компании на кухню, и счастье еще, если мне удается уйти целым и невредимым.

Его одиночество постепенно начинает ложиться тяжестью на мою душу. На судне нет ни одного человека, который не боялся бы и не ненавидел его. И нет ни одного, которого он, в свою очередь, не презирал бы. Кажется, будто его пожирает та ужасная сила, которая заключена в нем и не находит себе исхода. Он таков, каким был бы гордый Люцифер [1]), если бы он был изгнан в общество призраков.

Такое одиночество тягостно само по себе, но оно еще более отягощалось постоянной меланхолией, свойственной его расе. Узнав его, я все яснее и яснее понимал старые скандинавские легенды. Белолицые рыжеволосые дикари, создавшие свой страшный пантеон [2]), были одной с ним кости. Легкомыслие веселых представителей латинской расы не находило в нем никакого отзвука. Его смех—выражение жесткого юмора. Но он смеется редко, гораздо чаще он печален. И печаль его так же глубока, как корни его расы. Он унаследовал ее от своих предков. Эта печаль сделала его народ умеренным, воздержанным, трезво мыслящим, опрятным и до фанатичности нравственным. Особенно ярко проявились эти черты в английском пуританизме. Главный исход эта первобытная меланхолия находила в религии, в ее наиболее грозных формах. Но Вульф Ларсен отрицал такого рода утешение. Его звериный материализм исключал религию. И поэтому, когда на него находило мрачное настроение, ему оставались только его дьявольские выходки. Если бы

---

[1]) Люцифер, буквально — „светоносец"; наименование утренней звезды; одно из древних и средневековых названий дьявола.

[2]) Пантеон—в древности храм, посвященный всем богам; усыпальница великих людей.

он не был таким ужасным человеком, я мог бы иногда жалеть его. Так, например, три дня тому назад, утром, когда я зашел к нему в каюту, чтобы налить воды в кувшин, я вдруг неожиданно натолкнулся на него. Он меня не видел. Он опустил голову на руки, и его плечи судорожно подергивались от рыданий. Его душа точно разрывалась от страдания. Я тихонько вышел и услыхал за дверью, как он стонал: «Боже мой, боже мой!» Я не думаю, чтобы он в это время призывал бога,—это было просто восклицание, но оно шло из самой глубины его души.

За обедом он спросил охотников, не знают ли они какого-нибудь средства от головной боли,—а вечером он, сильный человек, был почти слеп и от боли метался по кают-компании.

— Никогда в жизни я не болел, Сутулый!—сказал он, в то время как я провожал его в каюту.—И головной боли у меня никогда не было, кроме того раза, когда мне раскроило голову рукояткой от лебедки.

Эта страшная головная боль продолжалась три дня, и все это время он страдал безропотно и одиноко, как дикий зверь: без жалобы, без сочувствия, как, повидимому, обычно страдают на судах.

Однако, сегодня утром, войдя в его каюту, чтобы прибрать постель, я нашел его здоровым и погруженным в работу. Его стол и койка были завалены чертежами и вычислениями. Он наносил с помощью циркуля и угольника на большой прозрачный лист кальки какой-то чертеж.

— А, Сутулый!—приветливо встретил он меня.—Я как раз кончаю последние штрихи. Хотите посмотреть в чем дело?

— А что это?—спросил я.

— Изобретение, сберегающее труд моряков и сводящее мореплавание к простоте детской игры. Теперь даже ребенок сможет управлять судном. Всякие сложные выкладки отпадают. Все, что отныне понадобится в самую бурную ночь,—это одна звезда, с помощью которой вы мгновенно сможете определить, где вы находитесь. Смотрите. Я помещаю чертеж на прозрачной бумаге на эту карту звездного неба и поворачиваю его к северному полюсу. Я вычислил и перевел на чертеж широты и долготы. Достаточно положить его на звездную карту и поворачивать, пока данная точка не придется против цифр на нижней карте, и—готово! Вот вам и точное местонахождение судна.

В его голосе звучало торжество, и его глаза, в это утро чистые и голубые, как море, сияли ярким светом.

— Вы, должно быть, хорошо знаете математику,—сказал я.—Где вы учились?

— К сожалению, я никогда не был в школе,—ответил он,—приходилось самому добиваться всего.

— А как вы думаете, почему я сделал эту штуку?—неожиданно спросил он.—«Иль мыслю я оставить след в песках времен?»

Он засмеялся своим ужасным язвительным смехом.

— Нисколько. Я просто хочу получить патент, нажить денег и свински прокутить их за одну ночь, пока другие люди будут работать в поте лица. Вот моя цель. А вместе с тем мне было просто приятно работать над этой задачей.

— Радость творчества,—пробормотал я.

— Да, кажется, это так надо назвать. Это только другой способ выразить радость жизни, победу движения над материей, живого над мертвым, или, наконец, гордость закваски, сознающей, что она действительно закваска жизни.

Я всплеснул руками в беспомощном негодовании на его закоснелый материализм и занялся приготовлением постели. Он продолжал вычерчивать линии и геометрические фигуры на прозрачной бумаге. Его работа требовала необыкновенной чистоты и точности, и я восхищался тем, как он сдерживал свою силу и чертил тонкие, изящные линии.

Закончив уборку, я загляделся на него, зачарованный. Он был безусловно красив, красив настоящей мужественной красотой. И вновь с прежним изумлением я заметил, что у него на лице нет следов ни порока, ни жестокости, ни греха. Можно было поклясться, что это лицо человека, который неспособен на злое дело. Говоря это, я не хочу, чтобы меня превратно понял читатель. Я хочу только сказать, что это было лицо человека, который или не делал ничего противоречащего указаниям его совести, или не имел ее совсем. Я скорее склонен именно к последнему объяснению. Он был великолепным представителем атавизма [1]). Человек, принадлежащий к первобытному типу, явившийся в мир до введения каких-либо моральных законов. Ему была неизвестна мораль, он был аморален.

Как я уже сказал, он был образцом мужественной красоты. Его лицо было гладко выбрито, и каждая черта выступала четко и резко, как у камеи. Его белая кожа от морского ветра и яркого солнца стала темно-бронзовой и говорила о многих жизненных битвах. Этот загар еще больше подчеркивал его дикость и красоту. Губы его обладали той твердостью, почти резкостью, которая характерна для тонких губ. Подбородок, челюсти говорили о жестокости и неукротимости самца. Нос был резко очерчен. Он чуть-чуть напоминал

---

[1]) Атавизм—появление у потомства признаков, отсутствующих у родителей, но существовавших у более отдаленных предков.

орлиный клюв и принадлежал человеку, рожденному побеждать и властвовать. Он мог быть греческим, мог быть и римским, только для первого он был немного широк, а для второго тонок. И хотя все лицо было воплощением жестокости и силы, на нем лежала печать изначальной меланхолии. Она углубляла линии в углах рта, проводила морщинки у глаз и на лбу и, казалось, придавала величие и законченность, которых иначе недоставало бы его облику.

Итак, я поймал себя на том, что стоял без дела и изучал его. Не могу передать, как глубоко заинтересовал меня этот человек. Кто он? Чем он был? Как он жил раньше? Казалось, ему принадлежали все силы, все возможности,—почему же он оставался безвестным капитаном какой-то промысловой шхуны и славился среди моряков только своей невероятной жестокостью?

Мое любопытство разразилось потоком слов.

— Почему вы не совершили великих подвигов в этом мире? С вашей мощью вы могли бы подняться до любой высоты. Не зная ни совести, ни морального инстинкта, вы могли бы властвовать над миром, сломить его мановением руки. А между тем я вижу вас здесь, в зените вашей жизни, когда она уже начинает итти на ущерб,—вижу вас влачащим темное и грязное существование, охотящимся на каких-то морских зверей для удовлетворения женского тщеславия и кокетства, купающимся в свинстве, говоря вашими собственными словами. В этом нет ничего прекрасного. Почему при всей вашей изумительной силе вы ничего не сделали? Ничто не могло бы помешать или остановить вас,—ничто. В чем же дело? Или у вас не было честолюбия? Или вы не устояли перед искушениями? Скажите,—отчего это?

Он в самом начале моей вспышки поднял на меня глаза и спокойно следил за мной, пока я, наконец, не кончил. Я стоял перед ним задыхающийся и смущенный. Он с минуту подождал, как бы ища с чего начать, и затем сказал:

— Сутулый, знаете ли вы притчу о сеятеле, который вышел сеять? Если вы помните, «иное зерно упало на камень, где оказалось немного земли, и скоро пустило росток, потому что земля была не глубока. Когда же взошло солнце, зерно увяло и засохло, потому что у него не было корня; иное упало в терние, и выросло терние и заглушило его».

— Ну, хорошо,—сказал я.

— Хорошо?—повторил он насмешливо.—Нет, совсем не хорошо. Я был одним из этих зерен.

Он наклонился над чертежом и стал продолжать работу. Я кончил уборку и уже взялся за ручку двери, чтобы уйти, когда он опять обратился ко мне.

— Сутулый, если вы взглянете на карту западного берега Норвегии, то вы увидите там залив, который называется Ромсдаль-фиорд. Я родился в ста милях от этого морского рукава. Но я не родился норвежцем. Я датчанин. Мой отец и мать—датчане; я никогда не мог узнать, как они попали в эту пустынную часть западного берега Норвегии. За исключением этого, никакой тайны в их жизни не было. Это были простые, бедные, неграмотные люди. Они происходили от целого ряда поколений таких же бедных и неграмотных людей, посылавших с незапамятных времен своих сыновей в море. Больше мне нечего сказать о них и о себе.

— Как нечего?—возразил я.—Еще многое для меня неясно.

— Ну, что же я вам могу еще рассказать?—спросил он снова, делаясь мрачным.—Рассказать и лишениях, перенесенных ребенком? О рыбной диэте и грубой жизни? О лодках, на которых я плавал в море, едва научившись ходить? О моих братьях, которые один за другим уходили в море и не возвращались? О самом себе, безграмотном каютном юнге, плававшем с десяти лет на старых каботажных судах? О жестокой качке и еще более жестоком обращении, когда пинки и удары были моим сном и обедом и заменяли собою слова, а в душе моей оставляли страх, ненависть и боль? Я не хочу вспоминать. Меня охватывает даже теперь приступ безумия, когда я думаю об этом. Были каботажные [1]) шкипера, которых я, вернувшись на родину в зрелом возрасте, охотно убил бы на месте, но только я не встретился с ними. К сожалению, эти шкипера уже поумирали, все, кроме одного, который тогда был еще штурманом, а когда я с ним встретился, стал капитаном. Я оставил его калекой, которому ходить никогда больше не придется.

— Но где же вы, читающий Спенсера и Дарвина и никогда не посещавший школы, научились читать и писать?

— На английских торговых судах. Каютным юнгой—двенадцати лет, юнгой—четырнадцати, матросом—шестнадцати, и, наконец, поваром на баке. У меня были бесконечные планы и бесконечное одиночество. Я не получал ни поддержки, ни сочувствия. Я до всего дошел сам—до навигации, математики, естественных наук, литературы,—и чего еще? А какая польза? Владелец и капитан судна в зените жизни, как вы говорите,—я начинаю уже итти на убыль и приближаться к смерти. Жалкая жизнь! И когда взошло солнце, я увял и засох, так как у меня не было корней.

— Но история говорит нам о рабах, поднявшихся до трона,—упрекнул я его.

---

1) Каботажный—прибрежный.

— История также говорит и о счастливых возможностях, представившихся этим рабам, поднявшимся до трона,—ответил он мрачно.—Ни один человек не создает себе сам счастливого случая. Великие люди ловили этот случай, когда он им представлялся. Корсиканец [1]) поймал свой случай. У меня были мечты не менее великие, чем у него. Я узнал бы свой случай, но он никогда ко мне не приходил, терние выросло и задушило меня. И вот что, Сутулый, могу вам добавить: вы знаете обо мне больше, чем кто-либо на свете, кроме моего брата.

— А кто он и где он?

— Владелец парохода «Македония», промыслового судна. Мы, вероятно, встретимся с ним у берегов Японии. Его называют «Смерть-Ларсен».

— Смерть-Ларсен!—невольно вскрикнул я.—Он похож на вас?

— Не очень. Он безголовый кусок мяса. В нем, как и во мне, много... много...

— Зверского,—подсказал я.

— Да, благодарю вас за слово, именно—«зверского»; в нем не меньше зверского, чем во мне, но он едва умеет читать и писать.

— И он никогда не философствует о жизни?—добавил я.

— Нет,—ответил Вульф Ларсен с неописуемой горечью,—и он счастливее меня, оставляя все эти вопросы в покое. Он слишком занят самой жизнью, чтобы еще задумываться над ней. Моя ошибка в том, что я когда-то открыл книгу.

ГЛАВА XI

«Призрак» дошел, наконец, до самой южной точки той дуги, которую он описывал в Тихом океане, и устремился к северо-востоку, по направлению к какому-то одинокому острову, где ему предстояло пополнить запасы пресной воды, прежде чем отправиться на охоту вдоль берегов Японии. Охотники пробовали свои ружья и винтовки и упражнялись в стрельбе, а матросы, гребцы и рулевые приготовили паруса для лодок, обшили кожей и оплели веревками весла и уключины, чтобы не шуметь, когда они будут подбираться к котикам,—вообще привели лодки в «полный парад», по выражению Лича.

Кстати, рука Лича быстро заживает, хотя шрам останется на всю жизнь. Томас Магридж все еще боится его и с наступлением темноты не показывается на палубе. На баке произошли три или

---

[1]) Наполеон I—по происхождению корсиканец (род. на о. Корсика в Средиземном море).

четыре крупных ссоры. Луис сообщил мне, что болтовня матросов передается на корму, и что двое доносчиков были жестоко избиты своими товарищами. Он с сомнением качает головой, заговаривая о будущем Джонсона: Луис и Джонсон—гребцы на одной и той же лодке. Джонсон повинен в том, что слишком откровенно высказывается, и уже два или три раза столкнулся с Вульфом Ларсеном из-за произношения своей фамилии. Недавно ночью он поколотил Иогансена па палубе, и с тех пор штурман произносит его имя правильно. Но, конечно, нельзя ожидать, чтобы Джонсон мог поколотить Вульфа Ларсена.

Луис дал мне дополнительные сведения о другом Ларсене, которого прозвали «Смерть-Ларсен». Рассказы Луиса совершенно совпадают с краткой характеристикой, данной капитаном. Мы можем ждать встречи с этим Ларсеном у японских берегов.

— И тогда ждите грозы,—предсказывал Луис,—потому что они ненавидят друг друга, как настоящие волки. Смерть-Ларсен командует «Македонией»—единственным промысловым пароходом во всей флотилии. У «Македонии» четырнадцать лодок, в то время как у остальных шхун только по шести. Ходят слухи, что па «Македонии» имеются даже пушки и что она предпринимает самые рискованные экспедиции, начиная от контрабандного ввоза опиума в Соединенные Штаты и незаконной перевозки оружия в Китай и кончая вербовкой рабов на Полинезийских островах и открытым пиратством.

Я не мог не верить Луису, как ни казалось все это фантастичным, потому что я еще ни разу не поймал его на лжи, а знания его были подобны энциклопедии по всем вопросам, касавшимся команд промысловых флотилий и боя котиков.

На этом дьявольском судне везде происходило одно и то же: на баке и в кухне, на корме и в кают-компании. Все ссорились, все были на ножах друг с другом, и каждый дрожал за свою собственную шкуру. Охотники все время ждали, что между Смоком и Гендерсоном дело дойдет до стрельбы: их старая ссора все еще не была изжита, а Вульф Ларсен определенно заявил, что в случае поединка между ними он застрелит того, кто останется жив. Он совершенно откровенно признает, что позиция, занятая им, основана не на моральных соображениях и что все охотники могли бы спокойно перерезать и сожрать друг друга на его глазах, если бы он не нуждался в них для охоты. Если они согласятся воздержаться от драки до конца сезона, то он обещает им царскую потеху: они могли бы тогда уладить все свои споры, выбросить трупы за борт и потом придумать какие угодно объяснения гибели недостающей части экипажа. Мне кажется, что даже охотники были поражены его

хладнокровной кровожадностью. Как ни были они свирепы сами, они, несомненно, боялись его.

Томас Магридж в своем подчинении мне стал похож на собаку, а я все-таки не переставал втайне его побаиваться. Ему была свойственна храбрость, рождавшаяся под влиянием страха, — странное явление, которое я наблюдал на себе самом,—и это состояние могло в любую минуту победить в нем животную трусость и заставить его броситься на меня. Мое колено почти совсем поправилось, хотя иногда и побаливает. Понемногу поправляется и рука, которую сжал мне Вульф Ларсен. Мои мускулы увеличились и сделались тверже. Но руки огорчают меня: у них очень жалкий вид, они точно ошпаренные и покрыты трещинами, ногти сломаны и черны от въевшейся в них грязи, на ладонях мозоли. Кроме того, меня часто мучили нарывы,—вероятно от пищи, так как раньше у меня никогда их не было.

На-днях Вульф Ларсен позабавил меня. Я застал его за чтением библии, экземпляр которой, после тщательных поисков в начале плавания, наконец, оказался в сундуке умершего штурмана. Я поинтересовался, что извлекал оттуда Вульф Ларсен, и он прочел мне кое-что из Екклезиаста. Мне казалось во время чтения, что он произносил свои собственные мысли, и его голос, гулко и мрачно звучавший в маленькой каюте, очаровывал и держал меня в состоянии напряженного внимания. Ларсен необразован, но он умеет передавать музыку стихов и прозы. Я и сейчас слышу его голос и никогда не забуду, как все с той же враждебной ему печалью он читал следующие строки из Екклезиата:

«Собрал себе серебра и золота и драгоценностей от царей и областей; завел у себя певцов и певиц, и для услаждения сынов человеческих—разные музыкальные орудия.

«И сделался я великим и богатым,—богаче всех, бывших прежде меня в Иерусалиме; и мудрость моя пребывала со мною.

«И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, на труд, которым трудился я, делая их; и вот все суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем!

«Всему и всем—одно: одна участь праведнику и несчастному, доброму и злому, чистому и нечистому, приносящему жертву и не приносящему жертвы, как добродетельному, так и грешнику, как клянущемуся, так и боящемуся клятвы.

«Это-то и худо во всем, что делается под солнцем, что одна участь всем, и сердце сынов человеческих исполнено зла,—и безумие в сердцах их, в жизни их; а после того они отходят к умершим.

«Кто находится между живыми, тому есть еще надежда, так как и псу живому лучше, нежели мертвому льву.

«Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздаяния, потому что и память о них предана забвению.

«И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже исчезли, и нет им более части во-веки ни в чем, что делается под солнцем».

— Ну вот вам, Сутулый,—сказал он, закладывая пальцем книгу и глядя на меня.—Пророк, царь Израиля в Иерусалиме, думал то же, что и я. Вы называете меня пессимистом. Разве это не самый мрачный пессимизм? «Все суета и томление духа...» «Нет от них пользы под солнцем...» «Одна участь всем»—глупцу и мудрецу, чистому и нечистому, грешнику и святому,—и эта участь—смерть, и это злая вещь, говорит пророк. Потому что он любил жизнь и не хотел умирать, не даром он сказал: «Живому псу лучше, чем мертвому льву». Он все-таки предпочитал суету и томление духа неподвижности могилы. И я тоже. Ползать—свинское дело, но походить на камень и скалу—ужасно. Это ужасно для той жизни, которую я чувствую в себе, той жизни, основой которой является движение и сознание силы этого движения. Жизнь полна неудовлетворенности, но предвидеть смерть еще менее утешительно.

— Ваш взгляд хуже взгляда Омара,—сказал я.—Он, по крайней мере, хоть после обычных юношеских томлений нашел удовлетворение и наполнил свой материализм радостью.

— Кто был этот Омар?—спросил Вульф Ларсен, и мне уже не пришлось работать ни в этот день, ни в следующие.

В своем случайном чтении Вульф Ларсен до сих пор как-то не наталкивался на «Рубаяту» Омара Хаяма [1]), и эта книга теперь представилась ему целым кладом сокровищ. Большую часть стихов я знал на память,—пожалуй, две трети всех четверостиший,—и мне удалось без труда восстановить в памяти и все остальные. Мы целыми часами говорили об отдельных стансах, и я заметил, что он находил в них ноты печали и возмущения, которых я сам раньше не замечал. Возможно, что я вносил в декламацию свою собственную радостную мелодию, потому что при втором чтении, а иногда даже и при первом, он повторял (память у него была очень хорошая) те же самые строфы слово в слово и наполнял их бурным и страстным протестом, покорявшим слушателя.

Меня интересовало, какое четверостишие понравится ему больше всего, и я не удивился, когда он выделил то, где отразилось

---

[1]) Омар Хаям—персидский философ и поэт-пессимист; умер в 1123 г. в Нишапуре. После смерти стяжал мировую славу своими стихами-четверостишиями (Рубаи), переведенными на все европейские языки. Особенно популярна его книга среди англо-саксов, в замечательном переводе англичанина Эдварда Фитцжеральда. В 1922 г. книга Фитцжеральда появилась в русском стихотворном переводе.

мгновенное раздражение, шедшее вразрез со спокойной философией перса и его благодушным взглядом на жизнь:

Что, не спросясь, пригнало нас сюда?
И, не спросясь, уносит нас—куда?
Чтоб память об обиде этой смыть,
Вино, друзья, пусть льется, как вода.

— Великолепно!—воскликнул Вульф Ларсен.—Замечательно! Это ключ ко всей книге! Обида! Нельзя придумать лучшего слова!

Я напрасно пытался возражать. Он засыпал меня своими доводами.

— Природа жизни такова. Жизнь всегда возмущается, когда знает, что должна прекратиться. Этому помочь нельзя. Пророк нашел, что жизнь и все дела житейские—суета и томление и злая вещь; но смерть—это прекращение суеты и страдания—нечто еще более жестокое. Из главы в главу он горюет по поводу той участи, которая одинаково ждет всех нас. То же и с Омаром, то же со мной и даже с вами, потому что и вы возмутились против смерти, когда поваришка стал точить на вас нож. Вы боялись умереть. Та жизнь, которая в вас, которая составляет ваше «я» и которая больше вас самого, не хотела умирать. Вы говорили об инстинкте бессмертия. Я говорю об инстинкте жизни, о воле к жизни, которая при угрозе смерти побеждает то, что вы называете инстинктом бессмертия. Она победила этот инстинкт в вас, вы не можете это отрицать, и только потому, что какому-то дураку пришла охота точить на вас нож. Вы и теперь боитесь повара. Вы боитесь меня. Вы не станете это отрицать. Если бы я схватил вас за горло, вот так,—его рука была уже у моего горла, и у меня захватило от страха дыхание,—и начал бы выжимать из вас жизнь, вот так и так, то ваш инстинкт бессмертия очень слабо замерцал бы в вас, а инстинкт жизни, рвущийся к бытию, вспыхнул бы, и вы стали бы бороться, чтобы только спастись. А! Я уже вижу страх смерти в ваших глазах. Вот вы уже бьете по воздуху руками. Вы напрягаете всю свою крохотную силу, чтобы бороться за свою жизнь. Ваша рука поднимается, язык высовывается, лицо темнеет, и глаза теряют свой блеск. Жить! Жить!—кричите вы, и своим криком вы молите о жизни сейчас, здесь, а не за гробом. Вы теперь сомневаетесь в своем бессмертии? А?! Ха-ха! Вы уже не уверены в нем. А рисковать вам не хочется. Вы уверены в реальности только этой жизни. А в глазах у вас все темнеет и темнеет. Это мрак смерти, прекращение существования, чувства, движения. Он сгущается вокруг вас, опускается на вас, растет вокруг вас. Ваши глаза останавливаются. Теперь они уже остеклянели. Мой голос доносится до вас слабо и точно издалека. Вы уже не видите моего лица.

Но все еще боретесь под моей рукой. Брыкаетесь. Тело у вас извивается, как у змеи. Грудь содрогается, вы задыхаетесь. Жить! Жить! Жить!..

Больше я уже ничего не мог слышать,—мое сознание погрузилось в тот мрак, который он так образно описал, и когда я пришел в себя, я лежал на полу, в то время как он курил сигару и задумчиво посматривал на меня, со знакомым мне огоньком любопытства в глазах.

— Ну, убедил ли я вас?—спросил он.—Вот выпейте-ка этого. Я хочу вас кое о чем спросить еще.

Лежа на полу, я отрицательно покачал головой.

— Ваши аргументы... слишком насильственны,—с трудом проговорил я, и почувствовал вдруг сильную боль в горле.

— Через полчаса все пройдет,—уверил он меня.—И я обещаю, что больше не буду применять к вам физического воздействия для доказательства. Ну, вставайте же! Вы ведь можете сесть на стул!

И я—игрушка в руках этого чудовища—должен был снова принять участие в разговоре об Омаре и Екклезиасте, и мы просидели до полуночи и все говорили и говорили.

ГЛАВА XII

Последние двадцать четыре часа прошли как вакханалия зверства. Она распространилась по всему судну, от кают-компании до бака, точно зараза. Я просто не знаю, с чего начать рассказ. Виновником всему был Вульф Ларсен. Отношения между людьми на судне, напряженные, насыщенные взаимной враждой, были все время неустойчивы, и злые страсти вспыхнули пламенем, как степной пожар.

Томас Магридж оказался змеей, шпионом и доносчиком. Он пытался вернуть себе благоволение капитана, наушничая на матросов. Он-то и передал—я знаю это—Вульфу Ларсену неосторожные слова Джонсона. Джонсон купил себе в складе нашей шхуны штаны и куртку из промасленной кожи. Вещи оказались плохого качества, и он открыто говорил об этом. Небольшие склады непортящихся товаров имеются обыкновенно на всех промысловых шхунах. В них есть все, что может понадобиться матросу во время плавания. Стоимость купленного высчитывается впоследствии из заработка, после охоты на котиков. Во время охоты все гребцы и рулевые получают вместо жалованья известную плату с каждой шкуры котика, убитого охотниками их лодки.

Но я ничего не знал о недовольстве Джонсона, и то, что я увидел, было для меня совершенной неожиданностью. Я только-что

кончил подметать каюту и был вовлечен Вульфом Ларсеном в спор о Гамлете, его любимом шекспировском герое, как вдруг Иогансен спустился по трапу в сопровождении Джонсона. Последний, по морскому обычаю, снял шапку и почтительно остановился против капитана посередине каюты, неловко переминаясь с ноги на ногу, в такт раскачиванию шхуны.

— Заприте дверь на задвижку,—сказал мне Вульф Ларсен.

Исполняя приказание, я заметил тревогу в глазах у Джонсона, но ничего не понял. Я не мог и вообразить себе того, что должно было произойти, пока это не разыгралось на моих глазах. Но Джонсон знал, что должно случиться, и храбро ждал. И в его поведении я нашел полное опровержение материалистических теорий Вульфа Ларсена. Простой матрос Джонсон одушевлялся идеей, принципом, правдой и искренностью. Он был прав, знал, что прав, и не боялся ничего. Если бы понадобилось, он бы умер за правду. Он хотел быть до конца правдивым и искренним по отношению к собственной душе. Он доказывал мне победу духа над телом, непобедимость и нравственное величие души, не знающей ограничений и поднимающейся над временем, пространством, материей с такой непобедимостью, какая может быть только при вере в вечность и бессмертие.

Но возвратимся к рассказу. Я увидел тревожный огонек в глазах у Джонсона, но принял это за естественную застенчивость матроса. Штурман Иогансен стоял в нескольких шагах, а Вульф Ларсен сидел на вращающемся стуле, на расстоянии трех ярдов от Джонсона. После того как я запер дверь, наступило молчание, длившееся с минуту. Оно было прервано Вульфом Ларсеном.

— Йонсон,—начал он.

— Мое имя—Джонсон, сэр,—смело поправил матрос.

— Ну, чорт возьми, Джонсон так Джонсон! Догадываетесь ли вы, зачем я послал за вами?

— И да, и нет, сэр,—последовал медленный ответ.—Я добросовестно исполняю свою работу. Штурман это знает, и вы знаете, сэр. Жалоб не может быть.

— И это все?—спросил Вульф Ларсен мягким, тихим и вкрадчивым голосом.

— Я знаю, что вы ополчились на меня,—продолжал Джонсон со своей неизменной медлительностью,—я вам не нравлюсь. Вы, вы...

— Продолжайте,—ободрял его Вульф Ларсен,—не бойтесь оскорбить меня.

— Я не боюсь,—ответил матрос с легкой краской гнева на лице, показавшейся из-под загара.—Если я говорю медленно, то это потому, что я не так давно покинул родину, как вы. Я не пришелся вам по вкусу, потому что я уважаю самого себя. Вот, сэр, почему.

— Вы даже слишком «уважаете себя» для судовой дисциплины, если вы именно это хотели сказать, и если вы понимаете, что я хочу сказать,—было репликой Вульфа Ларсена.

— Я знаю английский язык и понимаю, что вы хотели сказать, сэр,—ответил Джонсон, краснея еще гуще при намеке на его плохое знание английского языка.

— Джонсон,—сказал Вульф Ларсен с таким видом, словно весь предыдущий разговор был лишь предисловием к предстоящему делу,—я так понял, что вы не совсем довольны купленным костюмом.

— Да, недоволен. Он нехорош, сэр.

— И вы болтали об этом?

— Я всегда говорю, что думаю, сэр,—смело ответил матрос, не изменяя в то же время правилам морской вежливости, требовавшей прибавления «сэр» к каждой фразе.

В этот момент я случайно взглянул на Иогансена. Его большие кулаки сжимались и разжимались, а на лице было прямо дьявольское выражение, так злобно смотрел он на Джонсона. Я видел еще не заживший темный кровоподтек под глазом у Иогансена—след взбучки, полученной им несколько ночей тому назад от Джонсона.

Тут я впервые стал догадываться, что предстоит нечто ужасное, но что именно—я не мог себе представить.

— Знаете ли вы, что ожидает тех, кто говорит такие вещи про мой склад и про меня?—спросил Вульф Ларсен.

— Знаю, сэр,—было ответом Джонсона.

— Что же именно?—резко и властно проговорил Вульф Ларсен.

— То, что вы, сэр, и ваш штурман сейчас проделаете со мной.

— Смотрите на него, Сутулый,—обратился ко мне Вульф Ларсен,—посмотрите на эту частицу одушевленного праха, на это скопление материи, которое движется и дышит, бросает мне вызов и думает, что состоит из чего-то, действительно имеющего цену; оно одушевлено разными людскими фикциями вроде справедливости и честности, и все это в нем держится, несмотря на его личные неприятности и опасности. Что вы об этом скажете, Сутулый? Что вы о нем думаете?

— Я думаю, что он гораздо лучше вас,—ответил я, охваченный вдруг желанием отвлечь на себя часть гнева, который должен был разразиться над головой Джонсона.—Эти человеческие фикции, как вы считаете нужным называть их, создают благородство и мужество. У вас нет фикций, нет убеждений, нет идеалов. Вы нищий.

Он кивнул с любезностью дикаря.

— Совершенно верно, Сутулый,—сказал он,—совершенно верно. У меня нет фикций, создающих благородство и мужество. Живая

собака лучше мертвого льва, как мы с вами читали недавно у Соломона. Моей доктриной всегда была целесообразность, и этого достаточно, чтобы жить. Этот кусок фермента, называемый Джонсоном, перестав быть ферментом и обратившись в прах и пепел, будет иметь не более благородства, чем всякий другой пепел и пыль; а я в это время буду жить и рычать. Знаете ли вы, что я намерен сейчас сделать?

Я покачал головой.

— Я пущу в ход буйство и рычание, я покажу вам, какая участь постигает благородство. Посмотрите-ка, что я сделаю.

Он сидел в трех ярдах от Джонсона. В девяти футах! И, однако, он одним прыжком перелетел это расстояние. Он прыгнул подобно тигру, переносящемуся через препятствия. Джонсон тщетно пытался отразить этот яростный натиск. Он опустил одну руку, чтобы защитить живот, и поднял другую, чтобы прикрыть ею голову, но кулак Вульфа Ларсена пришелся как раз посередине и ударил его в грудь. Дыхание Джонсона внезапно оборвалось с мучительным криком. Он едва не упал навзничь и закачался, пытаясь сохранить равновесие.

Я не в силах приводить подробности этой ужасной сцены. Она была слишком возмутительна. Мне делается дурно даже теперь, при одном воспоминании о ней. Джонсон храбро боролся, он не мог устоять против Вульфа Ларсена, а тем более против соединенных усилий Вульфа Ларсена и его помощника. Это было ужасно. Я никогда не представлял себе, чтобы человек мог столько вынести и все-таки жить и бороться. У него не было ни малейшей надежды, и он это знал так же хорошо, как и я, но его мужество заставляло его бороться до конца.

Я не мог больше выносить это. Я чувствовал, что схожу с ума, и побежал наверх, чтобы отворить дверь и убежать на палубу. Но Вульф Ларсен, оставив на мгновение свою жертву, одним прыжком очутился около меня и отшвырнул меня в дальний угол каюты.

— Это простая подробность жизни, Сутулый,—засмеялся он.— Оставайтесь и наблюдайте. Вы, может быть, соберете больше данных по вопросу о бессмертии души. Кроме того, вы знаете, что душе Джонсона мы повредить не можем. Мы разрушаем только бренную оболочку.

Мне казалось, что прошли века, а на самом деле избиение продолжалось не больше десяти минут. Вульф Ларсен и Иогансен нападали на несчастного со всех сторон. Они били его кулаками, давали пинки тяжелыми сапогами, сбивали его с ног и опять ставили на ноги, чтобы снова повалить. Глаза Джонсона ничего не видели, кровь текла из ушей, носа и рта и превращала каюту

в мясную лавку. Избиение продолжалось и после того, как он не мог уже подняться.

— Тише, Иогансен, малый ход!—скомандовал Вульф Ларсен.

Но зверь еще бушевал в штурмане, и Вульф Ларсен отбросил его. Толчок был на вид легким, но Иогансен полетел, как пробка, и голова его с треском ударилась о стену. Он упал оглушенный, тяжело дыша и глупо мигая глазами.

— Откройте дверь, Сутулый,—получил я приказание.

Я повиновался, и два зверя подняли бесчувственного Джонсона, как мешок мусора, втащили вверх по трапу и положили на палубе. Кровь из его носа багровым потоком хлынула к ногам рулевого, которым был на этот раз не кто иной, как Луис, товарищ Джонсона по лодке. Но Луис повернул штурвал и невозмутимо посмотрел на компас.

Не так держал себя Джордж Лич, бывший каютный юнга. Всех на шхуне поразило его поведение. Он, без разрешения, вышел на корму и унес Джонсона на бак, где начал, как умел, перевязывать его раны и ухаживать за ним. Джонсона невозможно было узнать: лицо его превратилось в сплошную опухоль—не было видно ни носа, ни глаз, ни рта.

Но вернемся к поведению Лича. К тому времени, как я закончил чистку каюты, он уже сделал для Джонсона все, что мог. Я вышел на палубу, чтобы подышать чистым воздухом и дать отдых измученным нервам. Вульф Ларсен курил сигару и осматривал лаг [1]), который «Призрак» обычно тянул за собой, но который теперь почему-то был поднят на борт. Внезапно до моих ушей долетел гневный, хриплый голос Лича. Я обернулся и увидел, что он стоит с левой стороны кухни. Его лицо было бледно и перекошено, глаза блестели, а сжатые кулаки поднимались над головой.

— Да проклянет бог твою душу, Вульф Ларсен,—послал он приветствие капитану.—Да сгорит твоя подлая душа в преисподней! Только туда тебе и дорога, трус, убийца, свинья!

Я был поражен как громом. Я ждал немедленного уничтожения Лича. Но в данный момент уничтожать его не входило в капризные планы Вульфа Ларсена. Он медленно побрел на корму и, облокотившись на угол каюты, стал с задумчивым любопытством смотреть на взволнованного мальчика.

А тот проклинал Вульфа Ларсена так, как его еще никто никогда не проклинал. Матросы испуганной толпой собрались около люка на баке и слушали. Охотники, балагуря, высыпали из своей каюты, но я заметил, что легкомысленное выражение исчезло с их

[1]) Лаг—прибор для определения скорости движения корабля.

лиц, когда они услышали проклятия Лича. Даже они испугались, но не страшных слов юноши, а его сумасшедшей смелости. Казалось невозможным, чтобы живой человек мог так поносить Вульфа Ларсена. А я был потрясен и восхищен Личем. Я видел в нем блестящее доказательство непобедимости бессмертного духа, который выше плоти со всеми ее страхами. Этот мальчик напоминал мне древних пророков, смело обличавших неправду.

И как он обличал! Он обнажал душу Вульфа Ларсена для людского презрения. Он призывал на него проклятия бога и небес и громил его с жаром, напоминавшим сцены отлучения от католической церкви в средние века. В своем гневе он то поднимался до грозных высот, то в изнеможении падал до грязной площадной брани.

Его ярость граничила с безумием. На губах выступила пена, он задыхался, в горле у него клокотало, и временами речь его становилась нечленораздельной. И все время, спокойный и бесстрастный, Вульф Ларсен, опершись на локоть, глядел вниз с каким-то странным любопытством. Это дикое проявление жизни, этот безумный бунт и вызов, брошенный ему движущейся материей, поражал и интересовал его.

Каждое мгновение мы ждали, что вот-вот он прыгнет на юношу и уничтожит его. Но, по странному капризу, он этого не делал. Его сигара потухла, а он все еще продолжал молча и с любопытством смотреть вниз.

Лич, наконец, дошел до экстаза бессильной ярости.

— Свинья, свинья, свинья!—повторял он, надрывая голос.— Почему ты, гнусный убийца, не спустишься и не убьешь меня? Ведь ты можешь это сделать. Но я не боюсь тебя. В тысячу раз лучше быть мертвым и подальше от тебя, чем живым и в твоих когтях. Ну! Подходи же, трус! Убей меня! Убей! Убей!

Как раз в эту минуту беспокойная душа Томаса Магриджа вытолкнула его на сцену. Он все время слушал у двери кухни, но теперь вышел, будто бы для того, чтобы выбросить за борт какие-то очистки, но на самом деле, чтобы посмотреть на убийство, которое, по его мнению, сейчас должно было произойти. Он заискивающе заглянул в лицо Вульфу Ларсену, который, повидимому, не заметил его. Но повар был до конца бесстыден. Он повернулся к Личу и сказал:

— Какие выражения! Стыдно!

Бессильное бешенство Лича нашло себе исход. Наконец-то можно было вылить его на кого-нибудь. Повар в первый раз после столкновения с Личем появился на палубе без своего ножа.

Не успел он произнести свое замечание, как был сбит с ног кулаком Лича. Повар три раза пытался подняться на ноги, но каждый раз Лич снова его сшибал.

— О боже мой!—закричал Магридж.—Помогите! Помогите! Хватайте его! Разве вы не видите? Оттащите его, ради бога!

Охотники засмеялись с чувством облегчения. Над трагедией задернулся занавес. Начался фарс. Матросы, уже посмеиваясь и перекидываясь словами, смело потянулись к корме, чтобы посмотреть на избиение ненавистного повара.

Даже я почувствовал радость. Признаюсь, я был в восторге, видя, как на Томаса Магриджа сыпались удары, хотя они были почти так же ужасны, как и те, которые по вине Магриджа выпали на долю Джонсона.

А выражение лица Вульфа Ларсена все еще не менялось. Он даже не переменил позы и продолжал смотреть вниз с прежним любопытством. Казалось, он следил за игрой жизни, в надежде открыть в ней еще что-то, расшифровать в ее безумнейших проявлениях какие-то элементы, до сих пор ускользавшие от его взора, найти ключ к тайне бытия, который все сделает ясным и простым.

Ну и досталось же повару! Избиение было похоже на то, свидетелем которого я был в каюте. Повар тщетно пытался защититься от разъяренного парня. Напрасно старался он юркнуть в каюту. Он пробовал подползти к двери. Но удар следовал за ударом с ошеломляющей быстротой. Лич бросал повара из стороны в сторону, как мяч, пока, наконец, тот не растянулся на палубе. Он получил еще несколько пинков сапогами, как и Джонсон в каюте. И никто не вступился за повара. Лич мог бы убить его. Однако, он, очевидно, насытил свое мщение и оставил распростертого врага, который скулил, как щенок.

Но эти два события были только началом кровавой программы этого дня. После обеда Смок и Гендерсон накинулись друг на друга. Из каюты послышались выстрелы, и четыре охотника выскочили на палубу. Столб густого зловонного дыма—какой обычно бывает от черного пороха—поднимался через открытый люк. Сквозь эту пелену дыма Вульф Ларсен бросился вниз. До наших ушей донеслись звуки ударов и шарканье ног. Оба охотника были ранены, а капитан бил их за то, что они ослушались его приказания и искалечили друг друга перед началом охотничьего сезона. Они оказались ранеными довольно тяжело,—отколотив их, Вульф Ларсен принялся, как умел, лечить их и перевязывать им раны. Я помогал ему в качестве ассистента, в то время как он зондировал и промывал раны. Оба охотника выносили его грубую хирургию без малейших обезболивающих средств, поддерживая свои силы только стаканами виски.

Затем во время первой вечерней вахты произошел новый скандал на баке, окончившийся дракой. Началось с болтовни о доносах, из-за которых был избит Джонсон, и, судя по тому шуму, который мы слышали, и по виду избитых людей, было очевидно, что одна половина матросов жестоко исколотила другую.

Вторая дневная вахта ознаменовалась дракой между Иогансеном и худощавым, похожим на янки, охотником Латимером. Ссора началась из-за замечания Латимера, что штурман не дает спать никому в каюте, громко разговаривая во сне. Иогансена изрядно поколотили, но он тем не менее и следующую ночь не давал охотникам спать, а сам блаженно спал, непрерывно разговаривая и переживая во сне все подробности драки.

Меня же всю ночь мучили кошмары. День этот был точно ужасный сон. Зверство следовало за зверством, бушевавшие страсти и хладнокровная жестокость заставляли этих людей покушаться на жизнь друг друга, ранить, калечить и разрушать. Мои нервы были потрясены. Я прожил до этих дней в сравнительном незнании звериной стороны человеческой природы. Я знал только интеллектуальную жизнь. Я сталкивался и раньше с грубостью, но то была лишь грубость интеллекта,—язвительный сарказм Чарли Фересета, жестокие эпиграммы и остроты товарищей по клубу, некоторые неприятные замечания профессоров, когда я был на младших курсах университета. Вот и все. Но чтобы люди были способны вымещать свой гнев на других, проливая кровь и калеча их,—это было для меня поразительным и страшным открытием...

Да, не даром меня называли «Сисси» Ван-Вейден, думал я и беспокойно ворочался на своей койке, терзаемый кошмарами. Да, я убеждался, что не знал подлинной жизни. Я горько смеялся над собой и, казалось, готов был признать грубую философию Вульфа Ларсена более верным объяснением жизни, чем мою.

Я испугался, когда осознал такой уклон своих мыслей. Окружавшее меня зверство оказывало и на меня свое развращающее влияние. Оно омрачало для меня все самое прекрасное и светлое в жизни. Рассудок говорил мне, что избиение Томаса Магриджа было злым делом, но, при всем желании, я никак не мог помешать своей душе радоваться этому избиению.

И даже сознавая всю огромность своего греха,—ибо это был грех,—я все-таки захлебывался от злорадства. Я больше не был Гемфри Ван-Вейденом. Я был просто Сутулым, каютным юнгой на «Призраке». Вульф Ларсен был моим капитаном, Томас Магридж и остальные—моими товарищами, и на мне был уже тот штамп, каким были отмечены они.

ГЛАВА XIII

В течение трех дней я работал за себя и за Томаса Магриджа; и должен сознаться, что исполнял работу хорошо. Мне известно, что Вульф Ларсен остался мной доволен, а матросы прямо сияли от удовольствия, пока продолжался короткий период моего правления на кухне.

— Первый раз ем чистую пищу с тех пор, как я попал сюда,— сказал Гаррисон, возвращая мне после обеда пустые котлы и тарелки с бака.—Все, что готовит Томми, почему-то всегда отдает тухлым жиром, и, по моим расчетам, он ни разу не менял на себе рубашки с тех пор, как мы вышли из Фриско.

— Это так и есть,—подтвердил я.

— Пари держу, что он и спит в ней,—добавил Гаррисон.

— И не проиграете,—согласился я,—на нем всегда одна и та же рубашка, и за все время он не снимал ее ни разу.

Однако, Вульф Ларсен не дал Магриджу больше трех дней на поправку. На четвертый день его, хромого, больного и полуслепого (так запухли его глаза), подняли с постели за шиворот и заставили приступить к работе. Он хныкал и жаловался, но Вульф Ларсен не знал пощады.

— И чтобы ты больше не подавал помоев! Слышишь!—было напутствие капитана.—Смотри, чтобы больше не было жира и грязи, и хоть иногда надевай чистую рубашку! А то отправишься у меня за борт. Понял?

Томас Магридж с трудом ковылял по кухне, и когда «Призрак» слегка накренился, он зашатался. Пытаясь восстановить равновесие, он протянул руку к железной решетке, окружавшей печку и защищавшей горшки от падения, но промахнулся, и его рука всей тяжестью опустилась на горячую плиту. Послышалось шипение, запах жареного мяса и острый крик боли.

— Боже мой, боже мой, что я наделал!—застонал он, усевшись на угольный ящик, и пытался успокоить боль, размахивая рукой.—Что же это такое? Почему все валится на мою голову? Я так старался прожить со всеми в ладу и не причинять никому вреда!

Слезы струились по его распухшим щекам, и лицо перекосилось от боли. Но вдруг на нем появилось злобное выражение.

— О, как я ненавижу его!—заскрежетал он зубами.—Как я его ненавижу!

— Кого?—спросил я.

Но он опять стал оплакивать свои злоключения. Впрочем, отгадать, кого он ненавидел, было легко. Труднее было догадаться, кого он

любит. В нем сидел злой дьявол, который заставлял его ненавидеть весь мир. Иногда мне казалось, что он ненавидит даже самого себя, так жестоко и нелепо сложилась его жизнь. В такие минуты во мне поднималось искреннее сочувствие, и мне становилось стыдно за то, что я радовался при виде его избиения. Жизнь была к нему несправедлива. Она сыграла с ним подлую шутку, когда вылепила из него то, чем он был. Да и потом она продолжала жестоко шутить над ним. Как он мог стать иным? И вот, как бы отвечая на мои мысли, он вдруг простонал:

— Мне никогда не представлялось счастливого случая, даже и полуслучая. Когда я был щенком, некому было послать меня в школу, некому было дать мне поесть, некому было даже нос мне вытереть. Кто обо мне позаботился? Кто? Ну, скажите—кто?

— Ничего, Томми,—сказал я, ласково положив руку ему на плечо,—подбодрись! В конце концов все образуется. Перед тобой еще долгие годы жизни, и ты еще успеешь сделать себе карьеру, какую захочешь.

— Это ложь, бессовестная ложь!—закричал он мне в лицо, сбрасывая мою руку.—Это ложь, и ты сам великолепно это знаешь! Я конченный человек, я сделан из отбросов и разной ерунды. Для тебя-то, Сутулый, это все ничего. Ты родился джентльменом. Ты никогда не знал, что такое быть голодным, никогда не засыпал в слезах, когда маленький животик поет и урчит, как будто там внутри сидит крыса. Нет, дело пропащее! Сделай меня завтра хоть президентом Соединенных Штатов, все равно, это уже не наполнит моего желудка за прошлое время, когда я был мальчишкой и бегал голодный как волк. Этого не изменишь. Я родился на горе и муку! На мою долю выпало больше мучений, чем на долю десяти других детей, вместе взятых. Вот слушай, что я тебе скажу. Я провалялся полжизни на больничной койке. У меня была желтая лихорадка, я болел ею и в Аспинвале, на Гаванне и в Новом Орлеане. Я полгода гнил от цынги на Барбадосе и чуть не умер от нее. Дальше—оспа на Гонолулу, перелом обеих ног в Шанхае, воспаление легких в Уналаске, три сломанных ребра и повреждение во внутренностях во Фриско. И вот теперь я здесь! Посмотри на меня! Ты только взгляни! Ребра опять поломаны. Наверно, стану харкать кровью. Кто же меня вознаградит за все это, спрашиваю я тебя. Ну, кто? Бог? Как он, должно быть, меня ненавидел, этот самый бог, когда послал меня в этот проклятый мир!

Эти тирады против судьбы продолжались около часа, а потом, прихрамывая и кряхтя, он принялся за работу, с ненавистью ко всему миру, светившеюся попрежнему в его глазах. Его диагноз оказался правильным: время от времени ему становилось дурно,

поднималась кровавая рвота, и он очень мучился. И, видно, бог на самом деле ненавидел его и не хотел брать к себе. Он понемногу стал выздоравливать и сделался злее прежнего.

Прошло несколько дней, прежде чем Джонсон выполз на палубу и кое-как принялся за работу. Он все еще был болен, и часто я наблюдал, как он с трудом влезал на мачту или устало поникал головою, стоя у штурвала. Казалось, что самый дух его был сломлен, и это было хуже всего. Он стал унижаться перед Вульфом Ларсеном и почти пресмыкаться перед Иогансеном. Но не таково было поведение Лича. Он ходил по палубе, задрав нос кверху, и, как тигренок, открыто проявлял свою ненависть к Вульфу Ларсену и Иогансену.

— Я еще доберусь до тебя, косолапый швед,—как-то ночью сказал он штурману. Я слышал эти слова.

Штурман выругал его в темноте, и в ту же минуту какой-то предмет громко стукнул о стенку кухни. Послышалась ругань, потом насмешливый хохот. Когда все успокоилось, я выскользнул из кухни и увидел, что тяжелый нож вонзился в толстое дерево стены чуть ли не на целый дюйм. Через несколько минут появился штурман, ощупью искавший нож, но я уже тихонько вытащил его из стены. Я вернул его Личу на следующий день. Он ухмыльнулся когда я передавал ему нож, но в его улыбке было больше искренней благодарности, чем в многословных излияниях, свойственных людям моего прежнего круга.

В противоположность всем остальным обитателям шхуны, я ни с кем не был в ссоре и со всеми хорошо ладил. Возможно, что охотники только терпели меня, хотя никто из них не выражал нерасположения ко мне, а Смок и Гендерсон, которые теперь выздоравливали, лежа день и ночь в гамаках под тентом, даже уверяли меня, что я лучше всякой больничной сиделки и что они не забудут меня, когда получат свою выручку в конце плавания (словно я нуждался в их деньгах! Я мог десять раз купить все их пожитки и шхуну со всем оборудованием, да не одну, а двадцать таких шхун). На мне лежала обязанность перевязывать их раны, заботиться об их выздоровлении, и я делал все, что мог.

У Вульфа Ларсена был второй жестокий припадок головной боли, продолжавшийся два дня. Он, очевидно, сильно страдал, потому что позвал меня к себе и покорно подчинялся моим указаниям, как больной ребенок. Но ничто не принесло ему облегчения. По моему совету, он даже отказался от курения и вина. Меня удивляло, как это великолепное животное могло страдать такими головными болями.

— Это рука божия, поверьте мне,—говорил Луис.—Это ему предупреждение за его бесчеловечные дела, и этим еще не кончится, а то...

— А то что?

— А то я скажу, что бог ничего не видит и не желает исполнять своих обязанностей. Но помни, я ничего не говорил.

Я, однако, жестоко ошибся, когда сказал, что живу в добрых отношениях со всеми. Томас Магридж не только продолжал ненавидеть меня, но вдобавок нашел новый повод для своей ненависти. Я долго не понимал, в чем тут дело, но в конце концов догадался: причиной ненависти было мое рождение под более счастливой звездой. Он не мог простить мне, что я родился «джентльменом», как говорил он.

— А покойников-то все еще нет,—поддразнивал я Луиса, когда Смок и Гендерсон, дружно беседуя, прогуливались бок-о-бок по палубе в первый раз после выздоровления.

Луис хитро посмотрел на меня своими серыми глазами и зловеще покачал головой.

— Не беспокойтесь, будут!..—сказал он.—Смерть придет и зарычит: «Свистать всех наверх, ставить марселя»... Уж я давно это предчувствую, а теперь это для меня так же ясно, как то, что на корабле есть спасти (хотя их сейчас и не видно в темноте). Нет! Она уже близка, она уже идет!

— Кто же будет первым?—спросил я.

— Ну, только не я, толстый Луис, это я могу обещать наверное,—засмеялся он.—Я всеми своими костями чувствую, что через год, в это время, увижу свою старуху-мать, которая давно уже устала ждать и смотреть в море, похоронив в нем пятерых своих сыновей.

— Что это он говорил тебе?—спросил меня немного спустя Томас Магридж.

— Что он собирается как-нибудь съездить домой, мать повидать,—дипломатично ответил я.

— У меня никогда не было матери,—вздохнул повар, глядя на меня потухшими, бесцветными глазами.

ГЛАВА XIV

Мне вдруг пришло в голову, что я до сих пор недостаточно ценил женщин. Хотя я не влюбчив, но все же проводил много времени в женском обществе. Я жил с матерью и сестрами и всегда старался как-нибудь ускользнуть от них, потому что они терзали меня своей заботливостью о моем здоровье и своими периодическими набегами на мой кабинет. Они нарушали в нем артистический беспорядок, которым я гордился, и заменяли его худшим беспорядком, хотя комната в этом виде и казалась им более опрятной. После их ухода я никогда ничего не мог найти. Увы! С каким восторгом я увидал

бы их теперь, услышал бы шелест их платьев, который я раньше искренне ненавидел. Я уверен, что если когда-нибудь вернусь домой, то больше никогда не буду с ними ссориться. Пусть они и днем и ночью пичкают меня лекарствами, пусть целый день вытирают пыль и прибирают мой кабинет,—я спокойно буду глядеть на это, посылая благодарность судьбе за то, что у меня есть мать и сестры.

Эти воспоминания заставили меня задуматься. Где же матери всех этих двадцати с лишним людей, бывших на «Призраке»? Как неестественно, что люди оторваны от женщин и одиноко скитаются по белому свету. Грубость и дикость—неизбежный результат этого. Окружавшие меня люди должны были бы жить среди жен, сестер и дочерей, и тогда они сами были бы способны на мягкость, нежность и сочувствие к другим. Замечательно, что никто из них не женат. Годами никто из них не испытывал на себе влияния хорошей женщины. В их жизни нет, вследствие этого, необходимого равновесия. В них чрезмерно развилась их чисто животная мужественность, другие же душевные качества завяли или просто атрофировались.

Это был клуб холостяков, злобно скрежетавших зубами друг на друга и становившихся с каждым днем все злее и грубее. Мне иногда не верится, чтобы у них когда-либо были матери. Может быть, это какие-то полулюди, полуживотные, особая порода существ, не имеющих пола. Всю жизнь проводили они в грубости и пороке и в конце концов умирали, не оплаканные никем, так же как и жили, никем не любимые.

Под влиянием этих мыслей я заговорил с Иогансеном,—это был первый наш неофициальный разговор с ним. Оказалось, что он покинул Швецию восемнадцати лет, теперь ему тридцать восемь, и за все это время он ни разу не был дома. Года два тому назад в каком-то матросском кабачке в Чили он встретил односельчанина, и тот сообщил ему, что его мать все еще жива.

— Да, она, вероятно, уже очень состарилась,—сказал он задумчиво, бросив острый взгляд на Гаррисона, который на градус уклонился от курса.

— Когда же вы в последний раз ей писали?

Он принялся высчитывать.

— В восемьдесят первом... нет, в восемьдесят втором... нет, позвольте, в восемьдесят третьем году; да, именно в восемьдесят третьем году. Десять лет назад. Из одного маленького порта на Мадагаскаре. Я тогда служил на торговом судне.

— Видите ли,—продолжал Иогансен, как бы обращаясь через океан к своей заброшенной матери,—я каждый год собирался домой. К чему было писать? Ведь всякий раз оставался до встречи всего

один год. И каждый год что-нибудь мешало поехать. Но теперь я штурман, и когда я получу в Сан-Франциско расчет и соберу около пятисот долларов, то сразу же махну на какой-нибудь шхуне вокруг мыса Горн в Ливерпуль; заработаю в пути еще деньжат, ну, а оттуда я заплачу за переезд наличными. Тогда старушке моей уже не придется больше работать!

— Но неужели же она еще работает? Даже теперь? Сколько же ей лет?

— Около семидесяти,—ответил он. А затем с гордостью прибавил:—У нас, на родине, работают от рождения и до смерти. Вот почему мы и живем долго. Я проживу до ста лет.

Я никогда не забуду этого разговора; эти слова были последними, которые я слышал от Иогансена. Может быть, это были даже последние слова, вообще им сказанные. Спустившись в каюту, чтобы лечь спать, я решил, что там слишком душно. Ночь была тихая. Мы уже вышли из полосы пассатов, и «Призрак» шел со скоростью не более одного узла в час. Я взял подмышки одеяло и подушку и поднялся на палубу.

Проходя около Гаррисона, я заметил, что компас показывал целых три градуса отклонения от курса. Думая, что Гаррисон проспал это отклонение, и желая избавить его от выговора или еще чего-нибудь похуже, я заговорил с ним. Но он не спал. Глаза его были широко открыты и устремлены вдаль. Он был так растерян, что не мог даже ответить мне.

— В чем дело?—спросил я.—Ты болен?

Он качнул головой и с глубоким вздохом, точно пробудившись от сна, перевел дыхание.

— Тебе бы лучше не сбиваться с курса,—упрекнул я его.

Он перехватил несколько спиц штурвала, и я увидел, что стрелка компаса медленно отклонилась на северо-запад, где после нескольких колебаний остановилась.

Я уже собрался итти дальше, как вдруг какое-то движение за бортом привлекло мое внимание. Мокрая мускулистая рука хваталась за перила. Рядом с ней, в темноте, обрисовывалась другая. Я следил за этими руками, как завороженный. Какого выходца из морских глубин мне предстояло сейчас увидеть? Кто бы это ни был, для меня было ясно, что он собирался вскарабкаться на палубу. Затем я увидел голову с мокрыми волосами, и передо мной, наконец, появилось лицо Вульфа Ларсена. Его правая щека была в крови, струившейся из раны на голове.

Быстрым движением он перебросил свое тело на палубу, встал на ноги и посмотрел на рулевого, как бы желая удостовериться, не грозит ли ему с этой стороны какая-либо опасность. Вода стекала

с него ручьями, и я слышал ее шум. Когда он подошел ко мне, я инстинктивно подался назад, потому что увидел в его глазах нечто предвещавшее смерть.

— Не бойтесь, Сутулый,—тихо сказал он.—Где штурман?

Я покачал головой.

— Иогансен!—тихо позвал он.—Иогансен!

— Да где же он?—обратился Ларсен к Гаррисону.

Молодой матрос несколько пришел в себя и довольно спокойно ответил:

— Не знаю, сэр. Недавно он прошел на бак.

— Я тоже недавно прошел туда и, как видишь, возвращаюсь не тем путем, каким шел. Можешь ли ты мне объяснить это?

— Вы, верно, попали за борт, сэр.

— Не посмотреть ли мне, сэр, нет ли его в каюте?—предложил я.

Вульф Ларсен отрицательно покачал головой.

— Вы его не найдете там, Сутулый,—сказал он.—Но вы мне тоже нужны. Идемте! Бросьте свою постель! Оставьте ее здесь.

Я последовал за ним. На средней палубе не было никого.

— Проклятые охотники,—заметил он.—Чорт их побери, растолстели до того, что не могут выдержать четырехчасовой вахты.

На баке мы нашли трех спавших матросов. Он повернул их и заглянул в лица. Эти матросы составляли ночную вахту, но на судне был обычай разрешать вахте,—кроме штурмана, рулевого и часового,—в хорошую погоду немного поспать.

— Кто часовой?—спросил Вульф Ларсен.

— Я, сэр,—ответил с легкой дрожью в голосе Холиок, старый матрос дальнего плавания.—Я только сию минуту задремал, сэр. Виноват, сэр. Этого больше не будет никогда...

— Ты что-нибудь на палубе видел или слышал?

— Нет, сэр, я...

Но Вульф Ларсен уже успел с легким раздражением отвернуться от матроса, и тот с изумлением стал протирать оба глаза, не веря, что так дешево отделался от капитана.

— Теперь тише,—шопотом предупредил меня Вульф Ларсен, перегнувшись чуть ли не вдвое, чтобы спуститься по трапу на бак.

Я последовал за ним с бьющимся сердцем. Я не понимал, что случилось и что должно было произойти. Но было ясно, что уже пролилась чья-то кровь, и, видимо, не по своему собственному капризу Вульф Ларсен с полураскроенным черепом перелетел через борт. К тому же недоставало и Иогансена. Это было знаменательно.

Я впервые спускался в каюту на баке и никогда не забуду того, что я увидел там, когда добрался до нее. Находясь на самом носу шхуны, каюта эта имела три стены, вдоль которых тянулись в два

ряда двенадцать коек. Помещение было не больше отдельной каморки ночлежного дома, и, однако, в него было втиснуто двенадцать человек, которые тут и ели, и спали, и отправляли все свои надобности. Моя спальня дома совсем не была велика, и тем не менее она одна могла бы вместить в себе дюжину таких кают, а если принять во внимание ее высоту—и все двадцать.

Воздух был спертый, кислый, и при слабом свете качавшейся лампы я увидел, что все стены были увешаны сапогами, мокрыми куртками и всевозможным тряпьем, чистым и грязным. Все это раскачивалось, издавая странный шум, похожий на стук веток о крышу или о стену при ветре. Время от времени какой-нибудь сапог громко ударялся о стену, и хотя ночь была в общем тихой, тем не менее все время раздавался нестройный хор трещавших коек и перегородок, и какие-то странные звуки неслись из бездны под полом.

Но спавшие ничего этого, повидимому, не замечали. Всего их там помещалось восемь человек. Спертый воздух был горяч от их дыхания, а до слуха доносилось храпение, вздохи и бормотание, ясно говорившие об отдыхе, который получил, наконец, человек-животное.

Но спали ли они все в действительности? Все ли спали? И давно ли? Повидимому, Вульф Ларсен затем и спустился, чтобы определить, кто из команды притворяется спящим и кто, может быть, только недавно заснул. И для решения этого вопроса он воспользовался приемом, который напомнил мне рассказ Бокаччио [1]).

Он снял с крюка лампу и передал ее мне. Затем начал осмотр первых коек с правой стороны. Наверху лежал Уфти-Уфти, родом с Сандвичевых островов, великолепный матрос. Он спал, лежа на спине, и дышал тихо, как женщина. Одна рука его покоилась под головой, а другая лежала на одеяле. Вульф Ларсен взял его руку и стал считать пульс. Это разбудило матроса. Он проснулся так же спокойно, как и спал. Тело его при этом не шелохнулось. Движение было только в глазах. Они широко раскрылись, большие и черные, и, не моргая, уставились в наши лица. Вульф Ларсен приложил палец к его губам, чтобы он молчал, и глаза его снова закрылись.

На нижней койке лежал жирный, теплый и потный Луис, спавший непритворно и тяжело. Он неловко вытянулся, когда Вульф Ларсен стал считать его пульс, и в течение одного мгновения лежал опираясь только на плечи и пятки. Губы его раздвинулись, и он изрек следующую загадочную фразу:

---

[1]) Бокаччио — знаменитый итальянский поэт и гуманист (1313—1375), автор „Декамерона".

— Кварта стоит шиллинг, но смотри в оба, чтобы трактирщик не подсунул тебе трехпенсового стаканчика за шесть пенсов.

Затем с тяжелым вздохом он перевернулся на другой бок.

Удовлетворенный этой честной репликой Луиса и глубиной сна Уфти-Уфти, Вульф Ларсен подошел к двум следующим койкам, занятым, как мы увидели при свете лампы, Джонсоном и Личем.

Когда Вульф Ларсен наклонился над нижней койкой, чтобы ощупать пульс Джонсона, я, стоя с лампой в руках, заметил, что голова Лича потихоньку приподнялась и свесилась над краем верхней койки, чтобы разглядеть, что происходило. Очевидно, он понял план Вульфа Ларсена и всю несомненность того, что будет уличен, потому что лампа мгновенно была выбита у меня из рук и каюта погрузилась во мрак. В то же мгновение он спрыгнул прямо на Вульфа Ларсена.

Первые звуки, донесшиеся после этого до меня, походили на шум борьбы быка с волком. Я услышал бешеный рев Вульфа Ларсена и отчаянное, кровожадное рычание Лича. Повидимому, немедленно вмешался в драку и Джонсон, и я понял, что его пресмыкательство перед Ларсеном за последние дни было хорошо обдуманным обманом.

Я был до такой степени потрясен этой схваткой в темноте, что прислонился к лестнице, дрожа всем телом, и не мог подняться по ней.

Мною овладело знакомое мне при всяких видах физического насилия чувство тошноты. Я не видел побоища, но ясно слышал звуки ударов—глухой стук, когда одно тело с силой ударяет другое. Кругом раздавались стоны копошившихся людей, тяжелое дыхание и короткие выкрики от внезапной боли.

Вероятно, в заговоре на жизнь капитана и штурмана участвовало несколько человек, потому что по усилившемуся шуму я мог заключить, что Лич и Джонсон были поддержаны некоторыми товарищами.

— Эй, кто-нибудь! Достаньте нож!—крикнул Лич.

— По голове его!—приговаривал Джонсон.—Выпустите-ка из него мозги!

После своего первого рычания Вульф Ларсен не издал больше ни звука. Он мрачно и молча боролся за жизнь. Его положение было критическим. Сбитый с ног с самого же начала, он уже не мог встать, и я понял, что, несмотря на всю свою невероятную силу, надежды на спасение у него почти не оставалось.

О ярости их борьбы я получил наглядное представление: коснувшись мимоходом, они сбили с ног и меня, и я с трудом успел доползти до пустой нижней койки и таким образом убраться с дороги.

— Все сюда!—услыхал я крик Лича.—Мы его держим! Поймали!

— Кого?—спросили те, кто на самом деле спали, и проснувшись—не понимали в чем дело.

— Кровопийцу-штурмана!—хитро ответил Лич, с трудом произнося слова.

Это сообщение вызвало крики восторга, и теперь Вульфу Ларсену пришлось бороться уже с семью сильными людьми; кажется, только Луис не принимал участия в схватке. Бак гудел как разъяренный улей, потревоженный вором.

— Эй, вы, что там у вас внизу?—услышал я крик Латимера сверху.

Он был слишком осторожен, чтобы спуститься в этот бушевавший под ним ад расходившихся страстей.

— У кого нож? Дайте мне нож!—умолял Лич, воспользовавшись наступившей вдруг тишиной.—Неужели же никто не даст мне ножа?

Однако, большое число нападавших и повредило им. Они мешали друг другу, а Вульф Ларсен, руководимый единой волей, достиг своей цели. Этой целью было пробраться к лестнице. Несмотря на полную темноту, я по звукам мог следить за его маневром. Только такой гигант, как Ларсен, мог сделать то, что сделал он, добравшись, наконец, до лестницы. Шаг за шагом он поднимался по ступеням лестницы, сопротивляясь всей куче людей, пытавшихся стянуть его назад, пока напоследок не выпрямился во весь рост.

Конец этой сцены я видел потому, что Латимер принес фонарь и стал светить им вниз через люк. Вульф Ларсен почти добрался доверху, хотя он и был скрыт от меня массой уцепившихся за него тел. Эта гроздь людей извивалась как паук и ритмично качалась взад и вперед в такт качке судна. И несмотря ни на что, шаг за шагом, с долгими промежутками, вся эта гроздь все-таки поднималась вместе с Ларсеном наверх. Один раз она заколебалась, готовая упасть, затем опять вцепилась в Вульфа Ларсена, и подъем продолжался попрежнему.

— Кто это?—закричал сверху Латимер.

При свете фонаря я увидел его изумленное лицо.

— Я, Ларсен,—раздался придушенный голос из середины кучи.

Латимер протянул к нему свободную руку. Я увидел, что чья-то рука вырвалась из кучи тел к ней навстречу. Латимер потянул за нее, и следующие две ступеньки были уже взяты одним прыжком.

Потом поднялась и другая рука Вульфа Ларсена и ухватилась за край люка. Кучка людей отделилась от лестницы, все еще держась за своего ускользавшего врага. Постепенно они стали отваливаться, по мере того как Ларсен ударял их об острый край люка, а затем стал сбрасывать ногами, которыми он теперь получил

возможность действовать. Последним отделился Лич, упав навзничь с самого верха лестницы прямо на своих распростертых внизу товарищей. Вульф Ларсен и фонарь исчезли. Мы остались в темноте.

ГЛАВА XV

Со стонами и проклятиями матросы стали подниматься на ноги.

— Зажгите спичку, у меня большой палец вывихнут!—крикнул матрос Парсонс, смуглый, мрачный рулевой с лодки Стэндиша, на которой гребцом был Гаррисон.

— Поищи на бимсах[1]), они там лежали!—сказал Лич, садясь на край той койки, где я притаился.

Послышалось чирканье спички, затем зажгли маленькую лампу, и она тускло осветила кучку босых людей, осматривавших свои ушибы и раны. Уфти-Уфти взялся за палец Парсонса, резко потянул его и вправил на место. В то же самое время я заметил, что пальцы у самого Уфти-Уфти разрезаны до кости. Он показывал всем свои раны, оскалив при этом в улыбке великолепные белые зубы, и объяснял, что рана произошла от того, что он изо всех сил ударил Вульфа Ларсена прямо по зубам.

— Так это ты сделал, черномазый?—воинственно спросил Келли, ирландец, первый раз отправившийся в дальнее плавание и бывший гребцом у Керфута. При этих словах он выплюнул изо рта вместе с кровью несколько зубов и вплотную приблизил к Уфти-Уфти свое разъяренное лицо. Канак прыгнул к своей койке и тотчас же обернулся, размахивая длинным ножом.

— Ах, да укладывайтесь же, наконец, спать! Честное слово, надоели вы мне,—вмешался Лич. Несмотря на молодость и неопытность, он, очевидно, был здесь коноводом.—Будет тебе, Келли! Оставь Уфти в покое! Как, чорт побери, он мог узнать в этой адской темноте, что это был ты, а не Вульф Ларсен?

Проворчав что-то, Келли подчинился, а Уфти-Уфти оскалил белые зубы в благодарной улыбке. Он был очень красивым существом: в мягких чертах его лица было что-то почти женское, а в больших глазах светилась задушевность, совершенно противоречащая его вполне заслуженной репутации ярого драчуна.

— Как ему удалось от нас удрать?—задал вопрос Джонсон.

Он сидел теперь на краю своей койки. Вся его фигура выражала крайнее уныние и безнадежность. Он все еще тяжело дышал. Во

---

[1]) Бимсы—поперечные брусья, соединяющие шпангоуты (ребра корабельного остова). На бимсы настилается палуба.

время схватки с него была сорвана рубашка; кровь из раны на щеке струилась на обнаженную грудь и сбегала по ноге на пол.

— Потому что это сам дьявол, как я вам уже не раз говорил,— ответил Лич.

При этих словах он вскочил на ноги, и в отчаянии заметался по каюте. Слезы подступили ему к горлу. Он то-и-дело жалобно повторял:

— И ни один из вас не мог протянуть мне нож!

Но в остальных проснулся страх возможных последствий, и они не обращали на Лича никакого внимания.

— Но как он узнает, кто из нас нападал на него?—спросил Келли, подозрительно оглядывая всех вокруг.—Конечно, если только никто из нас не донесет...

— Он узнает это с первого взгляда,—ответил Парсонс.—Одного взгляда на тебя будет достаточно!

— Скажи ему, что доска на палубе поднялась одним концом и выбила тебе зубы,—засмеялся Луис.

Он был единственным остававшимся все время на койке, и теперь ликовал, что у него не было поранений, которые выставили бы напоказ его участие в ночной схватке.

— Вот только подождите, он всему вашему каторжному сброду завтра сделает осмотр!—загоготал он.

— Скажем, что приняли его за штурмана,—предложил один.

— Я уж знаю, что сказать,—решил другой,—я скажу, что услышал во сне драку, вскочил с койки, получил тотчас же затрещину по челюсти и тогда разошелся и сам. Тут уж я не разбирал в темноте, кто кого и за что, а только бил напропалую.

— И что затрещину ты дал именно мне!—обрадовался Келли, и его лицо сразу просветлело.

Лич и Джонсон не принимали участия в разговоре, и было ясно, что товарищи смотрели на них как на обреченных, для которых нет более надежды. Некоторое время Лич терпеливо слушал, но, наконец, его взорвало.

— Надоели вы мне все!—закричал он.—Разини вы этакие! Меньше бы мололи языками, да побольше бы работали руками, и все бы теперь было кончено. Ну, почему ни один из вас не мог сунуть мне в руку нож, когда я вопил о том, чтобы мне его дали? Тошно от вас! Дурака валяете, боитесь, что он убьет вас, если подвернетесь ему под руку? Сами хорошо знаете, что не убьет. Откуда ему достать других матросов? Что он дурак, что ли? Где он наберет команду? Разве каких-нибудь поселенцев с необитаемых островов, что ли? Вы ему нужны для дела, и нужны дозарезу. Кто будет грести или править на лодках и на шхуне, если

вас не будет? Вот нам с Джонсоном действительно придется выносить на себя всю музыку. Ну, залезайте на койки и дрыхните! Я хочу тоже отдохнуть!

— Ладно, ладно,—ответил Парсонс,—может быть, он нас и не прикончит, но помяните мое слово, он с сегодняшней ночи будет хуже ледяной глыбы для всего экипажа.

Все это время я с тревогой ждал, как решится моя собственная судьба. Что со мной будет, когда мое присутствие откроется? Я, разумеется, не сумел бы выбраться отсюда, как это сделал Вульф Ларсен. В это мгновение вдруг раздался голос Латимера:

— Сутулый! Старик зовет тебя.

— Его здесь нету,—отозвался Парсонс.

— Нет, я здесь,—сказал я, спрыгивая с койки и стараясь придать своему голосу такое выражение, точно ничего и не случилось.

Матросы в смущении посмотрели на меня. На их лицах изобразились страх и та злоба, которая рождается от страха.

— Иду!—крикнул я Латимеру.

— Нет, не идешь!—завопил Келли, выступая вперед и становясь между мной и лестницей. Правая рука его в это время сжалась, как бы готовясь душить.—Проклятый змееныш! Я заткну тебе глотку.

— Пусти его,—приказал Лич.

— Ни за что на свете!—последовал яростный ответ.

Лич на своей койке не шелохнулся.

— Говорю же тебе, пусти его!—повторил он.

На этот раз его голос был более решителен и зазвучал как металлический.

Ирландец заколебался. Я шагнул мимо него, и он отодвинулся. Подойдя к лестнице, я обернулся, чтобы в последний раз взглянуть на эти жестокие и злые лица, смотревшие на меня из полумрака. Во мне проснулось глубокое сочувствие к ним. Я вспомнил то, что говорил мне когда-то повар. Как бог должен был всех их ненавидеть, если обрек их на такую жизнь!

— Поверьте,—спокойно сказал я,—я ничего не видел и ничего не слышал.

— Я же говорил, что он хороший парень,—услышал я, подымаясь по лестнице, слова Лича.—Он терпеть не может капитана, так же как и мы с тобой.

Я нашел Вульфа Ларсена в каюте исцарапанным и окровавленным. Он ожидал меня и встретил своей странной улыбкой.

— Приступайте к работе, доктор,—сказал он.—Есть благоприятные признаки большой практики для вас во время этого плавания. Я, право, не знаю, как бы обходился без вас «Призрак», и если бы

я мог найти в себе хоть какие-нибудь благородные чувства, то непременно сказал бы, что его капитан вам глубоко благодарен.

Я знал, как надо было пользоваться незатейливыми лекарствами и перевязочными средствами, имевшимися на «Призраке», и пока я грел воду на каютной печке и приготовлял все необходимое для перевязки, Ларсен все время ходил, смеясь, болтая и поглядывая на свои раны. До сих пор я не видел его обнаженным, и теперь был поражен его сложением. Культ тела никогда не был моей слабостью, но все-таки во мне было достаточно художественного чутья, чтобы оценить его пластическое телосложение.

Я был очарован линиями фигуры Вульфа Ларсена, его жуткой красотой. Я видел хорошо сложенных матросов на баке. Несмотря на могучую мускулатуру некоторых из них, у всех все-таки находился какой-нибудь недостаток. Здесь проглядывало недостаточное развитие, там чрезмерное; какое-нибудь искривление, нарушавшее симметрию; ноги были то слишком длинны, то коротки; то чрезмерно выдавалось какое-нибудь сухожилие или кость. Единственно, у кого линии тела обладали идеальной пропорциональностью, это у Уфти-Уфти, но его фигура была слишком женственна.

Вульф Ларсен был воплощением мужественности. Он был почти божественно совершенен. При каждом движении мускулы его двигались и напрягались под атласной кожей. Я забыл упомянуть, что его бронзовый загар спускался только до плеч. Его тело—как у всех скандинавцев—было бело как у самой красивой женщины. Когда он поднял руку для того, чтобы пощупать рану на голове, я мог наблюдать движение его бицепса,—он был похож на живое существо, спрятавшееся под белоснежным покровом. Это был тот самый бицепс [1]), который чуть не выдавил из меня жизнь и раздавал направо и налево столько уничтожающих ударов. Я не мог оторвать от него глаз. Я стоял неподвижно и смотрел на него; антисептический [2]) бинт развертывался в это время в моей руке, и кольца его падали на пол.

Ларсен заметил, что я смотрю на него.

— Бог хорошо вас вылепил,—сказал я.

— Разве?—ответил он.—Я сам часто об этом думал и дивился,—к чему это?

— Цель...—начал я.

— Нет, полезность,—перебил он.—В этом теле все создано для пользы Эти мускулы—для того, чтобы хватать, терзать и разрушать те живые существа, которые попадутся мне на дороге. Но

[1]) Бицепс—двуглавая мышца руки.
[2]) Антисептический—противогнилостный.

подумали ли вы о других живых существах? У них тоже мускулы, чтобы хватать, терзать и разрушать, но когда они становятся на моем пути, то именно я хватаю, рву и уничтожаю их. Вот этого нельзя объяснить целесообразностью, а принципом пользы для себя можно.

— Нельзя сказать, чтобы такое понимание было прекрасным,— протестовал я.

— Сама жизнь не прекрасна,—улыбнулся он.—Однако, вы сказали, что я хорошо сложен. Теперь,—посмотрите вот на это.

Он крепко стал на ноги и уперся пальцами в пол каюты так, точно вцепился в него. Все мускулы на ногах напряглись; узлы, бугры, шары задвигались под кожей.

— Вот пощупайте,—сказал он.

Мускулы были тверды, как сталь. В то же время я заметил, что все тело его напряглось. Мускулы мягко обозначились на бедрах, спине и вдоль плеч; руки слегка поднялись; их мускулы сократились; он согнул пальцы так, что они стали походить на когти. Даже выражение глаз вдруг изменилось: они приобрели зоркость, пристальность и тот огонек, с которым вступают в бой.

— Устойчивость, равновесие,—сказал он, мгновенно ослабляя напряжение и приходя в состояние покоя.—Ступни, чтобы цепляться ими за землю, ноги—чтобы твердо стоять,—ну, а что касается рук, ногтей и зубов, то они должны помогать в борьбе, чтобы убить и не быть самому убитым. Вы говорите: целесообразность. Нет, выгода,—это лучшее определение!

Я не стал с ним спорить. Я только-что наблюдал в нем механизм борющегося примитивного зверя; это производило на меня столь же сильное впечатление, как и машины броненосца или трансатлантического парохода.

Принимая во внимание всю жестокость схватки на баке, я был удивлен незначительностью его поранений. Я горжусь, однако, тем, что ловко перевязал их. Кроме нескольких действительно серьезных ран, все остальное было не более как ссадины и царапины. Удар, полученный им перед тем, как он перелетел через борт, раскроил ему голову; рана была в несколько дюймов. Согласно его указаниям, я промыл и зашил эту рану, предварительно обрив волосы около нее. Сильно пострадала и одна из его икр,—казалось, будто она побывала в зубах у бульдога. Ларсен сообщил, что какой-то матрос ухватился за нее зубами в самом начале драки, да так и висел до тех пор, пока Ларсен не сбил его на самой верхней ступени лестницы.

— А вы ловкий парень, Сутулый; я убедился в этом,—начал Вульф Ларсен, когда я закончил свою работу.—Как вы знаете, я опять остался без штурмана. Отныне вы будете стоять на вахте,

получать семьдесят пять долларов в месяц, и все должны будут называть вас «мистер Ван-Вейден».

— Я... я... ничего не понимаю в навигации,—пробормотал я.— Ведь вам это известно...

— Этого и не нужно.

— Право, я не претендую на такой высокий пост,—возразил я.— Я нахожу, что и в теперешнем моем скромном положении моя жизнь достаточно ненадежна. У меня нет опыта. Посредственность тоже имеет свои преимущества.

Он улыбнулся, как бы находя, что все уже покончено.

— Я не хочу быть штурманом на этом проклятом судне!—крикнул я с вызовом.

Его лицо приняло суровое выражение, и беспощадный огонек заиграл в глазах. Он подошел к двери каюты и сказал:

— А теперь, мистер Ван-Вейден, спокойной ночи.

— Спокойной ночи, мистер Ларсен,—ответил я едва слышно.

ГЛАВА XVI

Не могу сказать, чтобы положение помощника капитана доставляло мне много удовольствия, если не считать того, что я освободился от мытья грязной посуды. Я не знал самых простых обязанностей штурмана, и дела мои шли бы совсем плохо, если бы не сочувствие матросов. Я ничего не знал о снастях и о том, как ставить паруса, но матросы прилагали все усилия, чтобы научить меня. Особенно хорошим учителем был Луис,—и у меня не было неприятностей с подчиненными.

Иначе обстояло дело с охотниками. В большей или меньшей степени знакомые с морем, они приняли мое новое назначение как нечто в роде шутки. По правде сказать, и мне казалось шуткой, что я, самый что ни на есть сухопутный житель, и вдруг исполнял обязанности штурмана; но быть посмешищем в глазах других мне не хотелось. Я не жаловался, но Вульф Ларсен требовал по отношению ко мне соблюдения самого строгого морского этикета,—гораздо большего, чем было при бедном Иогансене, и ценой нескольких столкновений, угроз и ворчания он образумил и охотников. Я был теперь «мистер Ван-Вейден», одинаково и на баке и на корме, и сам Вульф Ларсен только неофициально, изредка называл меня попрежнему «Сутулый».

Это было забавно. Иной раз, например, случалось, что ветер во время обеда на несколько градусов изменял направление. И вот когда я покидал стол, то он говорил: «Мистер Ван-Вейден, будьте добры

повернуть на левый галс» [1]). И я шел на палубу, подзывал к себе Луиса и узнавал от него, что надо сделать. Получив от него инструкции и сообразив, в чем состоит необходимый маневр, я отдавал приказания матросам. Я помню, например, случай, когда Вульф Ларсен появился на палубе как раз тогда, когда я начал отдавать приказания. Он покуривал сигару и спокойно посматривал на меня, пока дело не было закончено, а затем вместе со мной прошел на корму по наветренной стороне.

— Сутулый,—сказал он мне,—виноват, мистер Ван-Вейден. Поздравляю. Я думаю, что вы теперь можете отправить ноги вашего отца обратно в могилу. Вы нашли свои собственные и научились стоять на них. Еще немного работы со снастями, парусами, да некоторый опыт со штормами, и к концу плавания вы сможете управлять любой каботажной шхуной.

Этот период между смертью Иогансена и нашим прибытием на промыслы был для меня самым приятным временем на «Призраке». Вульф Ларсен не был строг, матросы помогали мне, и я больше не был в противном обществе Томаса Магриджа. Должен признаться, что, по мере того как проходило время, я втайне начинал ощущать некоторую гордость.

При всей фантастичности моего положения,—сухопутнейший человек в качестве первого штурмана,—я, тем не менее, хорошо справлялся со своим делом. Я гордился собой и даже полюбил плавную качку «Призрака», опускавшегося и поднимавшегося под моими ногами, в то время как мы шли по тропическому морю на северо-запад, к тому островку, где должны были пополнить запас воды.

Но мое счастье не было безмятежным. Это было время относительного благополучия, промежуток между большими несчастьями в прошлом и в будущем. «Призрак» все-таки оставался ужасным, дьявольским судном. На нем не было ни минуты отдыха и покоя. Вульф Ларсен не простил матросам покушения на свою жизнь и той трепки, которую он получил от них на баке. Он употреблял все усилия, чтобы сделать для них жизнь невыносимой. Отлично зная психологию мелочей, именно мелочами-то он и доводил команду до того, что она работала до изнеможения. Я видел, как он поднял с койки Гаррисона только затем, чтобы тот убрал забытую малярную кисть, а двое вахтенных были разбужены, чтобы сопровождать Гаррисона и удостовериться в том, что тот действительно это сделал. Это, конечно, пустяк, но Ларсен изобретал их тысячи, и можно

---

[1]) Галсы—снасти, растягивающие наветренную сторону парусов.

себе представить, в каком состоянии непрестанно находились люди на баке.

Конечно, все это возбуждало ропот, и постоянно происходили небольшие вспышки. Капитан избивал матросов, и ежедневно двое или трое из них лечили у меня свои раны, нанесенные руками их хозяина-зверя. Но общее объединенное выступление было невозможно в виду огромного запаса оружия, имевшегося в кают-компании. Лич и Джонсон были главными жертвами дьявольского настроения капитана. То выражение глубокой меланхолии, которое иногда появлялось на лице и в глазах Джонсона, заставляло сжиматься мое сердце.

У Лича настроение было иное. В нем самом упорно жил бунтующий зверь. Казалось, он был одушевлен ненасытной злобой, которая уже не оставляла места для скорби. На губах его застыла злобная усмешка, и при виде Вульфа Ларсена с них срывалось, почти бессознательно, угрожающее рычание. Я часто видел, как он следил глазами за Ларсеном, точь-в-точь как животное следит за своим укротителем,—и сжатые зубы задерживали свирепый звериный рык.

Вспоминаю, как однажды на палубе, в один из ясных дней я случайно дотронулся до его плеча, желая отдать какое-то приказание. Он стоял ко мне спиной и при первом же прикосновении вздрогнул и отскочил от меня, зарычав и оскалив зубы. Очевидно, он на одно мгновение принял меня за того человека, которого так глубоко ненавидел.

И он и Джонсон убили бы Вульфа Ларсена при малейшей к тому возможности, но эта возможность им не представлялась. Вульф Ларсен был слишком хитер, и они не были так вооружены, как он. Они не справились бы с ним. На свои кулаки они мало надеялись. Время от времени капитан избивал Лича, который всегда защищался, как дикая кошка, пуская в ход зубы, ногти и кулаки, пока, наконец, весь измученный и без сознания не сваливался на палубу. Но это не останавливало Лича от борьбы при следующей схватке. Сидевший в нем дьявол всегда вызывал на бой дьявола, сидевшего в Вульфе Ларсене. Им достаточно было встретиться на палубе, чтобы немедленно начать драку. Я неоднократно видел, как Лич бросался на Вульфа Ларсена без всякого вызова или предупреждения с его стороны. Однажды он бросил в него свой тяжелый нож, пролетевший только на дюйм от его горла. В другой раз Лич бросил на капитана с бизань-мачты стальной драек [1]). При качке корабля попасть было почти невозможно, но острый конец тяжелого драйка, просвистев семьдесят пять футов по воздуху, чуть-чуть не задел Вульфа Ларсена и вонзился на два дюйма в толстые доски палубы.

---

[1]) Драек—инструмент, употребляемый при такелажной работе.

Наконец, в третий раз, он пробрался в каюту, выкрал оттуда заряженную винтовку и уже выбежал на палубу, когда был пойман и обезоружен Керфутом.

Я часто удивлялся, отчего Вульф Ларсен не убьет его и не положит конца всему. Но он только посмеивался и точно находил удовольствие в этой борьбе. Видимо, при всякой опасности ему нравилась острота переживания, примерно такая же, какую чувствуют люди, приручающие диких животных.

— Жизнь получает особый вкус,—объяснил он мне,—когда она висит на волоске. Человек по природе своей игрок, а жизнь—самая большая ставка, какая может быть на свете. Чем больше риска, тем больше наслаждения. Почему я должен отказаться от удовольствия доводить душу Лича до точки кипения? Если хотите, я даже оказываю ему этим услугу. Сила переживания обоюдна. Он живет более полной жизнью, чем кто бы то ни было другой на баке, хотя сам и не сознает этого. Он обладает тем, чего у остальных нет, а именно целью, всепоглощающей задачей, чем-то таким, что требует исполнения и что должно быть исполнено непременно. Желание убить меня, надежда, что я все-таки рано или поздно буду им убит,—право, Сутулый, он живет глубоко и ярко. Я сомневаюсь, жил ли он когда-нибудь так остро и напряженно, как теперь, и я самым искренним образом завидую ему, когда вижу его на вершине страсти и исступления.

— Но это трусость, трусость!—закричал я.—Ведь на вашей стороне все преимущества!

— Кто же из нас двоих больший трус?—серьезно спросил он.— Если положение это неприятно, то почему вы миритесь с ним? Вы заключаете компромисс со своей совестью. Будь вы действительно сильным человеком, подлинно верным самому себе, вы бы объединились с Личем и Джонсоном. Но вы боитесь, трусите. Вы хотите жить. Жизнь кричит в вас; она хочет жить во что бы то ни стало, и вы влачите жалкое существование, изменяя своим лучшим идеалам, греша против всего вашего жалкого нравственного кодекса, и если существует ад, прямехонько ведете туда свою душу. Ха-ха! У меня более достойная роль. Я не грешу, потому что я верен велениям той жизни, которая во мне; я, по крайней мере, правдив по отношению к самому себе, а вы нет.

В его словах была своя правда. Может быть, я действительно играл трусливую роль. И чем больше я думал об этом, тем яснее становилось мне, что мой долг—присоединиться к Джонсону и Личу и сделать все, чтобы погиб Вульф Ларсен. Тут, я думаю, сказалось во мне наследие моих предков-пуритан, оправдывавших даже убийство, если оно совершалось для благой цели. Я остановился на

этой мысли. Освободить мир от чудовища было бы актом вполне нравственным. Человечество стало бы от этого лучше и счастливее, а жизнь протекала бы легче и покойнее.

Я долго взвешивал эти соображения, лежа без сна на своей койке, раздумывая о бесконечной веренице злодейств Ларсена. Как-то ночью на вахте я заговорил с Джонсоном и Личем, в то время как Вульф Ларсен был внизу. Они оба потеряли всякую надежду: Джонсон—вследствие своего мрачного характера, а Лич—потому, что уже истощился в тщетной борьбе. Он в пламенном порыве схватил мою руку и сказал:

— Вы настоящий человек, мистер Ван-Вейден. Оставайтесь на своем месте и молчите. Мы уже погибшие люди, я хорошо это знаю, но, может быть, вам придется когда-нибудь помочь нам в трудную минуту!

На следующий день, когда показался с наветренной стороны остров Уэпрайт, Вульф Ларсен произнес пророческие слова. Он придрался к Джонсону, за Джонсона вступился Лич, и кончилось дело тем, что оба они были избиты.

— Лич,—сказал Ларсен,—ты ведь знаешь, что я тебя рано или поздно убью?

В ответ послышалось рычание.

— А что касается тебя, Джонсон, то тебе так надоест жизнь, что ты сам бросишься за борт. Вот увидишь.

— Это внушение,—добавил он, обратившись ко мне.—Держу пари на месячное жалованье, что он это сделает.

Я питал надежду, что его жертвы найдут возможность удрать, пока мы будем запасаться водой, но Вульф Ларсен хорошо выбрал стоянку. «Призрак» остановился в полумиле от прибоя, окаймлявшего пустынную песчаную отмель. Ее окружали со всех сторон, точно стены, крутые горы вулканического происхождения, на которые не мог бы вскарабкаться ни один человек. И тут-то, под его непосредственным наблюдением,—он сам спустился на берег,—Лич и Джонсон должны были наполнять водой небольшие боченки и скатывать их к берегу. Им так и не представилось случая вырваться на свободу ни на одной из лодок.

Но Гаррисон и Келли сделали такую попытку. Они составляли команду одной из лодок, совершавших рейсы между шхуной и берегом, отвозя каждый раз по одному боченку. Перед обедом, отправившись на берег с пустым боченком, они изменили курс и помчались налево за мыс, отделявший их от свободы. За пенившимися у его подножья бурунами находилась живописная деревушка японских колонистов и тянулись смеющиеся долины, заходившие далеко в глубь

острова. Если бы им удалось достигнуть этого безопасного убежища, то им уже не нужно было бы бояться Вульфа Ларсена.

Утром я видел, что Гендерсон и Смок бродили по палубе как будто без дела, и только теперь понял, зачем они это делали. Достав винтовки, они открыли огонь по беглецам. Это было хладнокровное упражнение в стрельбе. Сперва их пули запрыгали по поверхности воды, по обеим сторонам лодки, но скоро стали попадать в самую лодку все точнее и точнее.

— Теперь я ударю в правое весло Келли,—сказал Смок, прицеливаясь более уверенно.

Я смотрел в бинокль и видел, как лопасть весла разлетелась вдребезги. Гендерсон выбрал затем правое весло Гаррисона. Лодка повернулась. Скоро были разбиты и два других весла. Матросы попробовали грести обломками весел, но и те были выбиты у них из рук. Келли оторвал доску со дна лодки, и тотчас же с криком боли выпустил ее, так как и она разлетелась на куски, ободрав ему руку. Тогда они перестали бороться и предоставили лодке плыть по воле волн, пока, наконец, другая лодка, отправленная с берега Вульфом Ларсеном в погоню, не взяла их на буксир.

Под вечер того же дня мы снялись с якоря. Нам предстояла трехмесячная охота на котиков. Мрачная перспектива, и я работал с тяжелым сердцем. Похоронное настроение царило на «Призраке». Вульф Ларсен опять слег от припадка своей странной мучительной головной боли. Гаррисон рассеянно стоял у руля, наполовину навалившись на него, как бы истомленный невыносимой тяжестью своего тела. Остальная команда вела себя сдержанно и молчаливо. Я случайно наткнулся на Келли. Он сидел сгорбившись у правого борта, склонив голову на колени и обхватив ее руками, в позе невыразимого отчаяния.

Джонсон лежал, растянувшись во всю длину на носу, и глядел, как пена вздымается у форштевня. Я с ужасом вспомнил о пророчестве Вульфа Ларсена. Казалось, что его внушение начинает действовать. Я пытался отвлечь Джонсона от его мыслей и окликнул его, но он грустно улыбнулся и не тронулся с места.

Когда я вернулся на корму, ко мне подошел Лич.

— Я хочу попросить об одном одолжении, мистер Ван-Вейден,— сказал он.—Если вам повезет, и вы когда-нибудь опять вернетесь в Сан-Франциско, не отыщете ли вы там Матта Мак-Карти. Это мой отец. Он живет на горе, за булочной Мэйфера, у него сапожная мастерская, которую все знают. Вам нетрудно будет ее найти. Скажите ему, что я сожалею о том горе, которое доставил ему... и скажите ему от меня: «Да хранит тебя бог».

Я кивнул ему и попробовал успокоить его:

— Мы все вернемся в Сан-Франциско, Лич. И мы с вами вместе пойдем в гости к Мак-Карти.

— Хотелось бы верить в это,—ответил он, крепко стискивая мою руку,—но не могу. Вульф Ларсен разделается со мной, я знаю это; хотел бы только, чтобы это было скорее.

Когда он ушел, я почувствовал то же, что и он. Раз это должно было совершиться, пусть совершится как можно скорее. Общее угнетение и отчаяние захватили и меня. Самое худшее казалось неизбежным, и, шагая по палубе, час за часом, я заметил, что мной овладевают ужасные мысли Вульфа Ларсена. В самом деле, к чему было все это? Разве был у жизни какой-нибудь смысл, если возможно такое уничтожение человеческой личности по простому капризу? Жизнь представлялась мне теперь дешевой и глупой шуткой, и чем скорее ее конец, тем лучше. Я прислонился к борту и стал смотреть в море, с уверенностью, что рано или поздно и я буду опускаться, погружаясь в холодные зеленые пучины забвения.

ГЛАВА XVII

Странно сказать, но, несмотря на мрачные предчувствия, ничего особенного на «Призраке» все еще не произошло. Мы быстро шли на северо-запад, пока не показались берега Японии. Здесь мы встретили то большое стадо котиков, которое, неведомо откуда, из недр безграничного Тихого океана, ежегодно переселяется на север, к скалистым берегам Берингова моря. Вместе с котиками пошли на север и мы, хищнически истребляя их, бросая их голые ободранные трупы акулам и засаливая их шкуры, предназначенные для украшения прелестных плеч городских жительниц. Да, эти безумные убийства совершались для женщин; ведь никто не ест китового мяса и жира.

К вечеру, после дня удачной охоты, наша палуба, загроможденная шкурками и телами котиков, была скользка от их жира и крови. Мачты, снасти и борты пестрели кровяными пятнами. А люди, как хорошие мясники, засучив рукава, с окровавленными до плеч руками, усердно работали особыми ножами, распарывая животы красивых морских животных.

Мне было поручено принимать туши по мере их поступления и наблюдать за снятием шкур, за уборкой палубы и приведением всего в прежний вид. Невеселое дело! И душа, и желудок возмущались во мне. Но в некотором отношении мне было полезно командовать столькими людьми,—это развивало мои административные способности, которых у меня было немного; я все еще был слишком мягок. Теперь я чувствовал, как я грубею, и понимаю, что никогда уже не буду прежним человеком. Хотя вера в человека сохранилась во мне,

несмотря на разрушительную критику Вульфа Ларсена, но, под его влиянием, мои взгляды на многие вопросы жизни изменились. Он открыл мне реальный мир, которого я до сего времени не знал и которого чуждался; я научился ближе присматриваться к жизни, какова она на самом деле, и признавать, что на свете есть нечто, называемое фактами. Теперь, когда началась охота, я проводил с Вульфом Ларсеном больше времени, чем когда-либо. При хорошей погоде, когда мы оказывались среди стада котиков, вся команда была занята на лодках; на шхуне оставались только Ларсен и я, да еще Томас Магридж, который, впрочем, в счет не шел. Дела было много. С утра все шесть лодок веером расходились от шхуны, пока расстояние между крайней правой и крайней левой лодкой не достигало десяти или двадцати миль. Они уплывали вперед, и только ночь или дурная погода заставляли их возвращаться на «Призрак». Мы же должны были направлять шхуну на подветренную сторону крайней лодки, так, чтобы в случае шквала или угрожающей погоды все лодки могли с попутным ветром направляться к нам.

Нелегкое это было дело,—двоим управлять таким судном, как «Призрак», в особенности при сильном ветре: стоять у руля, следить за лодками, ставить и убирать паруса. Я принужден был учиться всему этому и делал быстрые успехи. Управление рулем далось мне легко, но взлетать на реи и висеть на руках, когда я подымался еще выше, было труднее. Но и этому я научился, потому что у меня было какое-то необъяснимое желание возвысить себя в глазах Вульфа Ларсена и доказать ему свое уменье жить не одной только умственной жизнью. Настало даже такое время, когда я находил удовольствие в том, чтобы, взобравшись на верхушку мачты и зацепившись ногами, наблюдать за лодками.

Помню один прекрасный день, когда лодки вышли рано и выстрелы охотников слышались все глуше, пока не замолкли совсем в широкой дали океана. С запада дул чуть заметный ветерок. Мы едва успели воспользоваться им, чтобы стать на подветренную сторону крайней лодки, как ветер совсем упал. Я был на верхушке мачты и видел, что все шесть лодок, следуя за котиками на запад, исчезли одна за другой за горизонтом. Мы не могли итти за ними и стояли на месте, слегка покачиваясь на гладкой поверхности моря.

Вульф Ларсен встревожился. Восточная половина неба ему не нравилась, и он тщательно ее изучал. Барометр стоял низко.

— Если буря придет оттуда,—говорил он,—и нагрянет по-настоящему, то она отнесет нас от лодок, и тогда опустеют койки в кубрике [1]) и на баке.

---

[1]) Жилая палуба.

К одиннадцати часам море было гладко как стекло. К полудню, несмотря на то, что мы находились в северных широтах, стало невыносимо жарко. В воздухе не было никакого веяния. Тяжелая, удушливая жара напоминала мне ту погоду, которую в Калифорнии называют «погодой землетрясения». В этой жаре было что-то зловещее; чувствовалось, что в ней таится опасность. Понемногу восточная половина неба покрывалась темными тучами, нависшими над нами точно гигантские мрачные горы. Так ясно были видны в них долины, ущелья, пропасти и черные тени, что глаз невольно искал белую линию прибоя у этих гор. А мы все еще тихо покачивались, и ветра не было.

— Это к нам идет не простой шквал,—сказал Вульф Ларсен.— Природа собирается встать на дыбы и завыть во-всю. Нам, Сутулый, придется попрыгать и, пожалуй, потерять половину лодок. Полезайте-ка наверх и отдайте марселя.

— Как же нам быть, если буря действительно разыграется?— спросил я, и нотка протеста прозвучала в моем вопросе.—Ведь нас только двое!

— Так что ж?—сказал Вульф Ларсен.—Прежде всего мы сделаем все, что можем. Пока паруса не сорваны, постараемся добраться до наших лодок. Затем я ни за что не ручаюсь. Наши мачты выдержат, и нам самим придется выдерживать, но, конечно, будет нелегко.

Штиль продолжался. Мы пообедали. Я ел волнуясь и спеша, зная, что восемнадцать человек сейчас в море, далеко за горизонтом, и что на нас медленно надвигается небесная горная цепь из грозных туч.

Казалось, все это не очень тревожило Вульфа Ларсена, хотя я и заметил, когда мы вернулись на палубу, что ноздри его слегка раздувались и движения были быстрее, чем обыкновенно. Его лицо было сурово, черты сделались резкими, и в то же время в его голубых глазах—особенно голубых в этот день—был странный мерцающий блеск. Меня поразило, что он был весел какой-то свирепой веселостью; он, видимо, был рад предстоящей битве; настроение его было приподнято от сознания, что стихия жизни готовится обрушиться на него.

Один раз, не заметив того, что я наблюдаю его, он громко и вызывающе рассмеялся в лицо надвигающейся буре. Я и сейчас вижу его стоящим на палубе, как пигмей перед злым духом из арабских сказок. Он бросал вызов судьбе и не боялся.

Он зашел на кухню.

— Повар, когда кончишь работу с кастрюлями, ты будешь нужен на палубе,—сказал он.—Будь готов; тебя позовут.

— Сутулый,—обратился он ко мне, заметив мой изумленный взгляд,—это получше виски, и ваш Омар этого не понимал. В конце концов я думаю, что он не очень-то умел пользоваться жизнью.

Тучи закрыли и западную часть неба. Солнце померкло и скрылось из глаз. Было два часа дня, а на нас спустился жуткий полумрак, изредка прорезываемый беглыми багровыми лучами. В этом багровом свете лицо Вульфа Ларсена разгоралось все больше и больше, и мне казалось, что он окружен сиянием.

Мы лежали в дрейфе [1]) среди сверхъестественной тишины, в то время как вокруг нас веяли предвестники приближавшейся бури. Духота становилась все невыносимее. На лбу у меня выступила испарина, и я чувствовал, как пот течет по моему носу. Мне казалось, что я вот-вот упаду в обморок, и я хватался за борт, чтобы удержаться.

И вдруг пронесся нежный, едва ощутимый вздох ветерка. Он шел с востока,—появился и исчез, как легкий шопот. Поникшие паруса не шелохнулись, но лицо мое ощутило движение воздуха и несколько освежилось.

— Повар!—позвал Вульф Ларсен. Томас Магридж повернул к нам жалкое, испуганное лицо.—Отдай лисель [2]), перебрось его, и как дойдешь до конца, отпусти парус и опять закрепи. Если перепутаешь, то это будет твоей последней ошибкой. Понял? Мистер Ван-Вейден, будьте готовы перебросить грот. Потом вернитесь к марселям и отдайте их как можно скорее; чем быстрее вы будете работать, тем легче вы это сделаете. Если повар будет мешкать, дайте ему в переносицу.

Я понял скрытую в этих словах похвалу себе и почувствовал удовольствие, что его указания не сопровождались угрозами. Мы стояли теперь носом к северо-западу, и намерением капитана было перекинуть при первом же порыве ветра все паруса на другую сторону.

— Ветер будет с нашей стороны,—объяснил он мне.—По последним сигналам думаю, что лодки наши идут по направлению к югу.

Он повернулся и пошел на корму к штурвалу. Я занял свое место у кливеров. Снова пронесся легкий шопот ветерка. Парус лениво заполоскал.

— Наше счастье, мистер Ван-Вейден, что буря налетела не сразу!—крикнул Ларсен.

---

[1]) Дрейф—угол между носом корабля и направлением движения судна. „Лежать в дрейфе“ значит оставаться почти без движения, что достигается обычно соответствующим расположением парусов, взаимно уравновешивающих действие ветра. В данном случае ветра вовсе нет.

[2]) Лиселя—дополнительные косые паруса, присоединяемые в помощь прямым парусам на фок- и грот-мачте.

Я тоже был рад этому, так как понял, какое несчастие грозило бы нам, если бы все паруса были поставлены. Легкий ветерок сменился сильными порывами, паруса надулись, «Призрак» двинулся. Вульф Ларсен круто повернул шхуну влево, и мы пошли быстрее. Ветер дул теперь прямо с кормы, свистя и гудя все сильнее и сильнее, и передние паруса весело надувались.

Я не видел, что происходило на других частях судна, хотя и ощутил внезапный крен шхуны, когда ветер надул грот и фок.

Я был занят исключительно кливером, бом-кливером и стакселем [1]), и когда эта часть моей работы была закончена, «Призрак» уже метнулся на юго-запад. Не успев перевести дух, хотя сердце стучало у меня как молоток, я бросился к марселям и успел во-время отдать их.

Тогда я направился на корму за приказаниями.

Вульф Ларсен в знак одобрения кивнул и передал мне штурвал. Ветер усиливался, поднималось волнение.

Я управлял рулем около часу, при чем с каждой минутой это становилось труднее. У меня не было еще опыта управлять при таком быстром ходе.

— Теперь сбегайте за биноклем, взгляните, не видно ли лодок? Мы делали по крайней мере по десять узлов в час, а сейчас идем по двенадцати или даже по тринадцати. Моя старушка быстро бегает!

Мне пришлось влезать на мачту, на высоту около семидесяти футов над палубой.

Осматривая громадное пространство воды, лежавшее передо мной, я понял, что нам необходимо спешить, если мы хотим спасти нашу команду. Глядя на бушующие волны, я стал сомневаться, может ли удержаться на них лодка. Казалось невозможным, чтобы утлое суденышко могло сопротивляться такой силе ветра и волн.

Я не мог чувствовать всей силы ветра, потому что мы мчались по его направлению. На моем высоком наблюдательном пункте мне иногда казалось, что я нахожусь вне «Призрака» и от него не завишу. Я видел, как контуры шхуны резко выделялись на фоне пенившегося моря.

Время от времени судно поднималось на огромную волну, накреняясь правым бортом, и тогда вся палуба заливалась кипящими волнами до самых люков. В такие минуты я описывал в воздухе дугу с головокружительной быстротой, словно был прицеплен к концу громадного маятника, амплитуда [2]) качания которого равнялась

---

[1]) Бом-кливер—верхний косой парус между бушпритом и фок-мачтой Стакселя—косые паруса, протягиваемые между матчами.

[2]) Размах, величина колебания между крайними положениями.

семидесяти футам. Меня охватывал ужас от этого жуткого полета, и несколько мгновений я висел в воздухе, дрожа всем телом, и не искал уже пропавших лодок, не мог видеть ничего, кроме того куска моря, где бушевали внизу волны и пытались поглотить наше судно.

Но мысль о людях, боровшихся с этой разъяренной стихией, снова приводила меня в себя, и в тревоге за них я забывал о самом себе. Целый час я не видел ничего, кроме пустынного бушующего моря. Но затем, когда случайный луч солнца осветил океан и покрыл его поверхность сверкавшим серебром, я увидел черную точку, взметнувшуюся к небу и вновь поглощенную океаном. Я терпеливо ждал. И опять крохотная черная точка была выброшена гневной стихией на поверхность, на несколько градусов слева от курса нашего судна. Я не пытался кричать, но сообщил Вульфу Ларсену, что я видел, махнув ему рукой. Он изменил курс, и я опять просигнализировал ему, когда точка показалась.

Она стала расти, и настолько быстро, что я тут впервые мог учесть всю скорость нашего бега. Вульф Ларсен подал мне знак спуститься, и когда я сошел вниз и стал рядом с ним у штурвала, он дал мне необходимые инструкции, как положить шхуну в дрейф.

— Теперь весь ад ополчится на нас,—предупредил он меня,— но не обращайте на это внимания. Ваше дело—исполнять свои обязанности и следить за тем, чтобы поваришка стоял у фока.

Я ухитрился пробраться на нос, хотя волны то-и-дело заливали его. Дав указания Томасу Магриджу, я взобрался на фок-ванты. Лодка была совсем близко, и я мог разглядеть, что она идет против ветра и тянет за собой мачту и паруса, которые были перекинуты через борт и теперь служили своего рода якорем. Три находившихся на ней матроса усиленно вычерпывали воду. Каждая водяная гора скрывала их из глаз, и я с томительной напряженностью ждал, когда они снова вынырнут, боясь, что они больше не покажутся. Иногда я видел, как лодка мчалась прямо сквозь пенящиеся гребни, с носом, поднятым к небу, с обнаженным, мокрым и темным килем. Казалось, что ей пришел конец. На одно мгновение вырисовывались три человека, лихорадочно выкачивающие воду, а затем лодка низвергалась в зияющий провал, вниз носом. Каждое новое появление лодки было чудом.

«Призрак» внезапно изменил курс, отдаляясь от лодки, и я подумал, что Вульф Ларсен признал спасение лодки невозможным. Но затем я сообразил, что он хочет лечь в дрейф, и спрыгнул на палубу, чтобы быть наготове. Мы теперь шли прямо против ветра, а лодка осталась далеко позади нас. Я почувствовал, что «Призрак» на мгновение утратил всю сопротивляемость своих парусов, а

скорость его чрезвычайно возросла. Он стал быстро повертываться. Поворот достиг прямого угла по отношению к волнам, и вся сила ветра, от которого мы до сих пор убегали, теперь обрушилась на нас. К сожалению, я, по своей неопытности, повернулся лицом к нему. Ветер стоял передо мной как стена, наполняя мои легкие воздухом, который я был бессилен выдохнуть обратно. Я захлебывался и задыхался, а «Призрак» в это время повернулся и накренился, качаясь и ныряя, и вдруг я увидел, что над моей головой поднимается огромная волна. Я повернулся спиной к ветру, вздохнул и снова взглянул на волну. Она заливала «Призрак», и теперь я уже смотрел сквозь волну. Солнечный луч заиграл на ее гребне, и я увидел мчавшуюся прозрачную зеленую массу воды, увенчанную молочно-белой пеной. Волна обрушилась, и началось светопреставление. Сокрушающий удар сбил меня с ног, и я очутился под водой. В сознании промелькнула мысль, заставившая похолодеть мою кровь, что сейчас случится самое страшное, о чем я слышал: я буду смыт в море.

Меня подбросило и понесло. Я не мог больше задерживать дыхание, вздохнул и набрал в легкие соленой воды. И несмотря на все это, во мне была одна мысль: я должен во что бы то ни стало перекинуть кливер на наветренную сторону. Смерти я не боялся. Я почему-то не сомневался, что так или иначе выберусь. И в то время как мысль о необходимости исполнить приказание Вульфа Ларсена властвовала над моим сознанием, мне казалось, что я уже вижу его, стоящего у штурвала среди дикого разгула стихий и бросающего буре гордый вызов.

Меня сильно ударило обо что-то,—я подумал, что это борт,—я глубоко втянул в себя воздух. Попробовал подняться, но снова ударился головой, и стал на корточки. Карабкаясь, я натолкнулся на Томаса Магриджа, который лежал ничком и стонал. У меня не было времени осмотреть его. Я должен был перекинуть кливер.

Выбравшись, наконец, на палубу, я понял, что приходит конец всему. Со всех сторон слышался треск дерева и рвущегося холста. «Призрак» ломало на части; паруса трещали, разрывались, а тяжелая рея раскололась вдоль. В воздухе носились обломки; обрывки снастей свистели и извивались как змеи, и все это вдруг покрыл собой шум сломавшегося гафеля. Деревянный брус пролетел мимо меня всего в нескольких дюймах; он не задел меня, но заставил действовать. Быть может, положение еще не было безнадежным. Я вспомнил предупреждение Вульфа Ларсена. Он говорил, что на нас ополчится целый ад,—так оно и вышло.

Да где же, наконец, он сам? Я увидел его работавшим над гротом, который он натягивал изо всех своих сил; корма судна высоко

поднималась в воздухе, и весь его корпус резко выделялся на фоне налетавших серых пенистых гребней.

Целый мир хаоса и разрушения я увидел, услышал и осознал в течение каких-нибудь пятнадцати секунд.

Даже не остановившись, чтобы посмотреть, что случилось с лодкой, я бросился прямо к кливеру. Он хлопал и рвался, то наполняясь ветром, то пустея. Напрягая всю свою силу, я с трудом поставил его на место. Я сделал все, что мог. Я тянул шкот [1]) до тех пор, пока не содрал всей кожи с пальцев, а пока я тянул, бом-кливер и стаксель оторвались и грохнулись в море. Но я продолжал тянуть, закрепляя двумя оборотами все, что удавалось вытянуть. Затем парус пошел легче, и в это время Вульф Ларсен оказался около меня и стал натягивать его один, а я был занят уборкой освобождавшегося каната.

— Торопитесь,—скомандовал он.—А потом идите сюда.

Я последовал за ним и заметил, что, несмотря на разрушение, у нас сохранился некоторый порядок. «Призрак» лег в дрейф. Он все еще подчинялся своему капитану и мог еще бороться. Хотя почти все паруса были сорваны, кливер и спущенный грот уцелели и помогали шхуне держаться носом к разъяренным волнам.

Я стал искать глазами лодку, пока Вульф Ларсен приводил в порядок тали, и увидел ее на вершине большой волны, футах в двадцати от нас, в стороне, защищенной от напора ветра нашим кораблем. Вульф Ларсен так правильно рассчитал, что «Призрак» подошел прямо к ней по ветру, и оставалось только прикрепить тали к обоим концам лодки и поднять ее на палубу. Но сделать это было не так легко, как написать.

На носу лодки сидел Керфут, у руля—Уфти-Уфти, и Келли посредине. По мере того как мы подходили ближе, лодка каждый раз поднималась на волне, когда мы опускались в промежуток между волнами, и я не раз видел над собой головы трех человек, перегнувшихся через борт и смотревших на меня сверху. В следующий момент поднимались и взлетали вверх мы, а они ниспадали куда-то глубоко в бездну. Всякий раз казалось невероятным, чтобы при таком взлете маленькая скорлупка могла уцелеть и не разбилась о «Призрак».

Но как раз в нужный момент я бросил канат Уфти-Уфти, а Вульф Ларсен—Керфуту. Тали были благополучно закреплены, и все трое, ловко выждав момент, одновременно перепрыгнули на шхуну, «Призрак» поднялся одним бортом из воды, лодку тесно прижало к его борту, и, прежде чем вернулась волна, мы втянули лодку через борт и положили ее вверх дном на палубе. Я заметил, что кровь лилась из

---

[1]) Шкоты—снасти, растягивающие у парусов подветренную сторону.

левой руки Керфута. Его средний палец на левой руке был размозжен, но он, не подавая виду, что ему больно, одной правой рукой помогал укрепить лодку на месте.

— Поверни кливер, Уфти,—приказал Вульф Ларсен, как только мы покончили с лодкой.—Келли, марш на нос и отдай грот! Керфут, идите на бак и посмотрите, что сталось там с поваром. Мистер Ван-Вейден, полезайте опять наверх и отрежьте все лишние лохмотья.

Отдав приказания, он прыжком тигра бросился к штурвалу. Пока я возился со снастями, «Призрак» медленно вышел из дрейфа. На этот раз волнение было слишком сильно, мы не могли итти по ветру: у нас не было парусов. Я сидел на рее, прижатый к снастям всей силой ветра, так что не мог упасть. «Призрак» качало как скорлупку, и его мачты часто ложились почти параллельно волнам. Глядя на палубу, я теперь смотрел уже не вниз, а почти под прямым углом к перпендикуляру, опущенному на поверхность корабля. Но, в сущности, я видел не палубу, а то место, где она должна была находиться, так как все кругом было залито потоком воды. Я видел только, как из воды выростали две мачты, и больше ничего. Часто судно почти исчезало под волнами. Поворачиваясь все больше и больше и избегая бокового ветра, «Призрак», наконец, выпрямился и поднял свою палубу на поверхность океана, точно кит свою спину.

Затем мы помчались по бушующему морю, а я продолжал цепляться за рею, как муха, и искать глазами остальные лодки. Через полчаса я увидел вторую лодку, перевернувшуюся вверх дном; за нее отчаянно цеплялись Джэк Горнер, толстый Луис и Джонсон. На этот раз мне уже не пришлось спускаться вниз. Вульфу Ларсену удалось благополучно лечь в дрейф. Как и в прошлый раз, мы понеслись по воле волн навстречу лодке. Тали были снова закреплены, людям бросили концы, по которым они взобрались к нам, как обезьяны. Лодка сильно пострадала, ударившись о борт корабля, но ее втянули на палубу, так как она все-таки могла быть исправлена.

Снова «Призрак» понесся гонимый штормом, и на этот раз так зарылся в воду, что мне одно мгновение казалось, что он больше не вынырнет на поверхность. Заливало даже штурвал, который был по пояс человеку. В такие минуты я странным образом чувствовал себя наедине с богом, как бы наблюдая вместе с ним весь этот хаос, порожденный его же гневом. Но затем штурвал опять появлялся, показывались широкие плечи Вульфа Ларсена и его руки, хватавшиеся за спицы и направлявшие шхуну по курсу его воли. Он стоял на посту, как земной бог, властвуя над бурей и рассекая волны, чтобы достигнуть цели. Но какое чудо! Чудо из чудес!.. Крохотные люди—и вдруг осмеливаются жить, дышать и направлять через бешеную свистопляску стихий утлую скорлупку из дерева и холста.

Как и раньше, «Призрак» вдруг вынырнул из волн, палуба опять показалась над водной поверхностью, и мы помчались дальше по ветру. Это было в половине шестого, и через полчаса, когда остатки дневного света почти померкли в мутной и яростной полумгле, я увидел третью лодку. Она тоже плыла килем вверх, и никаких признаков ее команды около нее не было. Вульф Ларсен повторил прежний маневр, но на этот раз он ошибся футов на сорок, и лодка оказалась за кормой «Призрака».

— Лодка номер четыре!—прочел Уфти-Уфти в ту секунду, когда лодка на мгновение вынырнула из пены и опять исчезла.

Это была лодка Гендерсона, и вместе с ним на ней погибли Холиок и Вильямс, один из опытных матросов. Их гибель была несомненна, но сама лодка была цела, и Вульф Ларсен сделал отчаянное усилие, чтобы вытащить ее из воды. Я спустился на палубу и заметил, что Горнер и Керфут тщетно протестовали против этой попытки.

— Клянусь честью,—я не допущу, чтобы даже самая ужасная буря отняла у меня лодку!—заорал Вульф Ларсен, и хотя мы стояли около него, его голос слышался слабо и невнятно, точно отдаленный от нас громадным пространством.

— Мистер Ван-Вейден!—кричал он, а до меня донесся слабый шопот.—Стойте у кливера с Джонсоном и Уфти! Остальные на корму и к гроту! Поворачивайтесь! Или я вас мигом спроважу на тот свет! Поняли?

И когда он решительным движением повернул штурвал, так что нос «Призрака» подскочил кверху, охотникам не оставалось ничего другого, как послушаться и принять участие в его рискованном предприятии. Как велика была опасность, я понял уже по одному тому, что я снова был совершенно затоплен ревущей волной и едва успел ухватиться за поручни у фок-мачты. Мои пальцы вдруг оторвало от поручней, и волна смыла меня через борт и бросила в море. Я не умел плавать. Но прежде чем я успел погрузиться, меня выбросило обратно на палубу. Сильная рука подхватила меня, и когда, наконец, «Призрак» вынырнул из воды, я узнал, что моим спасителем был Джонсон. Я заметил, что он тревожно оглядывается кругом, и понял, что Келли, который недавно проходил вдоль судна на бак, смыт волной.

И на этот раз не поймав лодки, Вульф Ларсен не мог уже повторить прежний маневр, так как нас отнесло в сторону. Он изобрел новый прием. Мчась по ветру со всем, что еще оставалось на штирборте [1]), он повернул судно и поставил его так, чтобы поймать шлюпку.

---

[1]) Правый борт

— Ловко!—крикнул мне в ухо Джонсон, когда мы прошли через соответствующее повороту очередное наводнение, и я понял, что его замечание относилось не столько к искусству Вульфа Ларсена, сколько к самой шхуне и ее подвижности.

Однако, теперь было так темно, что разглядеть лодку было невозможно. Но Вульф Ларсен шел по взятому им курсу, несмотря на бешеный разгул стихий, как бы движимый никогда не обманывавшим его инстинктом. На этот раз, хоть нас все время и заливало водой, мы все-таки поплыли прямо на перевернутую лодку и сильно помяли ее, когда втаскивали на борт.

Затем последовали часы ужасной работы, в которой должны были принять участие все находившиеся на шхуне: двое охотников, трое матросов, Вульф Ларсен и я. Мы последовательно взяли рифы у кливера и грота. При небольшой парусности наша палуба была теперь сравнительно свободна от воды, и «Призрак» мчался и нырял среди гребней волн, как пробка. Я с самого начала ободрал себе кожу на пальцах и теперь работал буквально со слезами от острой боли. Когда все было выполнено, я разрыдался, как женщина, и свалился на палубу в полном изнеможении.

Тем временем вытащили из закоулка у бака Томаса Магриджа, мокрого как мышь,—он забился туда от страха. Я видел, как его протащили на корму, и тут же, к удивлению своему, заметил, что кухня исчезла. Там, где она помещалась, теперь на палубе было пустое место.

Мы все собрались в кают-компанию, включая и матросов, и пока кипятился кофе на маленькой печке, пили виски и грызли сухари. Никогда в жизни я не ел с таким наслаждением. И никогда еще горячий кофе не казался мне таким вкусным. «Призрак» так кидало и бросало, что даже привычным матросам было не под силу ходить, не придерживаясь за что-нибудь, и как только раздавался крик: «Берегись, волна!»—всех нас отбрасывало к одной из стен каюты,—стене, принимавшей горизонтальное положение.

— К чорту вахтенного!—воскликнул Вульф Ларсен, когда мы наелись и напились досыта.—На палубе делать нечего! Если даже кому-нибудь и придет охота налететь на нас, то мы все равно свернуть не сможем. Итак, вся команда спать!

Матросы пробрались на бак, погасив по пути бортовые огни, а двое охотников остались спать в каюте, так как было опасно открывать люк в помещение на корме. Мы с Вульфом Ларсеном отрезали у Керфута размозженный палец и зашили рану. Магридж, которому все это время приходилось варить, подавать кофе и поддерживать огонь, жаловался на боль в груди и клялся, что у него переломлены ребра. При исследовании выяснилось, что у него было сломано четыре ребра.

Но лечение его было отложено до следующего дня, главным образом, потому, что я ничего не знал о переломах ребер и должен был об этом прочитать в учебнике.

— Думаю, что за разбитую лодку не стоило жертвовать жизнью Келли,—сказал я Вульфу Ларсену.

— Но и Келли не многого стоил,—ответил капитан.—Спокойной ночи!

После всего, что произошло, страдая от невыносимой боли в пальцах, тревожась за судьбу трех лодок, пропавших в океане, я думал, что не усну ни на минуту. Но оказалось, что мои глаза сомкнулись тотчас же, как только голова прикоснулась к подушке, и, в полном изнеможении, я проспал всю ночь, в то время как одинокий и никем не управляемый «Призрак» пробивал себе дорогу через бушующий океан.

ГЛАВА XVIII

На следующий день, пока буря на время затихла, Вульф Ларсен и я занялись хирургией и лечили Магриджа. Когда же буря разразилась вновь, Вульф Ларсен стал крейсировать взад и вперед по той части океана, где мы были застигнуты ураганом, держась западного направления. Лодки тем временем чинились, и на них ставились новые паруса. Мы встречали по пути много других промысловых шхун, которые тоже искали свои потерянные лодки и иногда подходили к нам. Многие из них подобрали лодки и экипажи, им не принадлежавшие. Большая часть лодок находилась к западу от нас. Они были рассеяны на большом пространстве, и как только наступила буря, бросились искать спасения на первой ближайшей шхуне.

Две наши лодки мы сняли с «Циско» вместе с экипажем, а на другой шхуне, «Сан-Диего», мы нашли, к великой радости Вульфа Ларсена, а к моему горю, Смока с Нильсоном и Лича. К концу пятого дня выяснилось, что мы потеряли четырех человек, а именно: Гендерсона, Холиока, Вильямса и Келли, и могли возобновить охоту.

Следуя за стадом котиков на север, мы стали встречать опасные морские туманы. День за днем лодки, едва только их спускали, поглощались туманом, прежде чем успевали коснуться воды; на судне непрерывно гудела сирена, и каждые четверть часа стреляли из судовой пушки. Лодки постоянно то терялись, то снова находились. Было обычаем, чтобы люди в туманные дни охотились под прикрытием первой попавшейся шхуны, которая потом возвращала их владельцам. Но Вульф Ларсен, как это и можно было ожидать, не досчитываясь одной лодки, заменил ее чужой, и заставил экипаж ее охотиться для «Призрака», не позволив им вернуться на свою шхуну, когда она поровнялась с нами. Я помню, как он заставил охотника

и его двух сподручных, приставив ружье к груди охотника, спрятаться в каюту, в то время как их шхуна проходила рядом и подавала сигналы, спрашивая о своих пропавших матросах.

Томас Магридж, так странно и настойчиво цеплявшийся за жизнь, уже ковылял по судну и исполнял двойные обязанности—повара и каютного юнги. Джонсон и Лич были более измучены и разбиты, чем когда-либо, и предчувствовали, что конец их наступит с концом охоты. Остальная часть команды жила собачьей жизнью и работала, как собаки, у своего безжалостного хозяина. Что касается до отношений между Вульфом Ларсеном и мною, то они были сравнительно хороши. Тем не менее я никак не мог отделаться от мысли, что убить его составляет мой долг. Он очаровывал меня чем-то, и в то же время я безгранично боялся его. Мне трудно было представить его на смертном одре: в нем было что-то вечно юное, не позволявшее верить в его смерть. Он представлялся мне вечно живущим и вечно властвующим, борющимся, мучащим других и в то же время остающимся невредимым.

Когда мы входили в самую середину стада, то одним из его любимых развлечений было самому отправляться на охоту, при чем он делал это в самую бурную погоду, когда даже спускать лодки было невозможно, и выходил с двумя гребцами и рулевым; будучи отличным стрелком, он привозил много шкурок, добытых им при самых невозможных условиях. Казалось, что рисковать жизнью и бороться с сильным противником для него так же необходимо, как дышать.

Я делал большие успехи в морском деле. Однажды в ясный день,—что было теперь очень редко,—я получил большое удовлетворение, самостоятельно управляя «Призраком» и подбирая лодки. Вульф Ларсен лежал с обычным припадком головной боли, а я стоял у штурвала с утра до вечера, рыская по океану за последней лодкой, которую я затем благополучно и подобрал,—как перед этим пять других,—без особых указаний или советов капитана. Со штормами мы теперь встречались постоянно: море в этих местах было всегда неспокойно. В середине июня мы были настигнуты тайфуном [1]); он остался навсегда памятным для меня, так как был причиной важной перемены в моей жизни. Должно быть, мы попали в самый центр этого шторма, и Вульфу Ларсену едва удалось выскочить из него на юг, сперва под двойными рифами, а под конец с голыми мачтами. Никогда раньше я не представлял себе моря таким величественным. Все, что я видел прежде, казалось мне в сравнении с тайфуном легкой зыбью. От гребня до гребня были не меньше полумили

---

[1]) Так называются сильные бури Китайского моря и его берегов (по китайски «тай»—сильный, «фун» или «фын»—ветер).

расстояния, и я сам видел, как волны поднимались выше мачт. Буря была так сильна, что даже сам Вульф Ларсен не смел лечь в дрейф, хотя его и уносило на юг все дальше и дальше от котиков.

Мы уже были на пути тихоокеанских пароходов, когда тайфун вдруг затих, и тут, к великому удивлению охотников, мы вдруг оказались среди массы котиков,—среди второго стада, чего-то вроде арьергарда [1]), как мне объяснили. Охотники считали это большой и редкой удачей для данного места. Раздалась команда: «Лодки на воду!» и целый день затем слышалась ружейная пальба, и шло безжалостное избиение животных.

Как раз в этот день ко мне подошел Лич. Я только-что закончил прием шкурок с последней лодки, когда он в темноте приблизился ко мне и прошептал:

— Можете ли вы мне сказать, мистер Ван-Вейден, как далеко мы от берега и какова широта и долгота Иокогамы?

Сердце радостно забилось во мне, потому что я сразу понял, что у него было в голове; и я тотчас же определил ему местоположение: «западо-северо-запад», и расстояние—«пятьсот миль от нас».

— Благодарю вас, сэр,—сказал он, исчезая в темноте.

На следующее утро не досчитались лодки № 3, Джонсона и Лича. Исчезли также со всех лодок запасы воды и пищи, постели и дорожные мешки беглецов. Вульф Ларсен пришел в ярость. Он поставил паруса и взял направление «западо-западо-север». Два охотника постоянно сидели на верхушках мачт и наблюдали за морем в бинокль. Сам капитан бегал по палубе, как разъяренный лев. Он слишком хорошо знал мою симпатию к беглецам, чтобы послать меня наверх на дозор. Ветер был крепкий, но изменчивый. Найти маленькую лодку на голубом просторе было так же трудно, как иглу в стоге сена. Тем не менее он пустил «Призрак» полным ходом, чтобы перерезать дезертирам путь к берегу. Затем он начал крейсировать взад и вперед по их предполагаемому пути.

На третий день утром, вскоре после восьмой склянки, с мачты послышался крик Смока, что лодка видна. Вся команда высыпала на палубу; сильный ветер дул с запада и предвещал шторм; а там, с подветренной стороны, в жидком серебре восходящего солнца, появлялось и исчезало темное пятнышко.

Мы помчались за ним. У меня на душе лежала свинцовая тяжесть. Я почувствовал, что мне делается дурно от мрачных предчувствий. При виде торжествующего блеска в глазах Вульфа Ларсена, когда он проходил мимо меня, у меня появилось неудержимое желание ринуться

[1]) Арьергард—часть войск, охраняющая тыл; имеет большое значение при отступлении.

на него. Почти не сознавая, что делаю, я скользнул вниз в кормовую каюту. И собирался уже подняться на палубу, с заряженным ружьем, как вдруг услыхал неожиданный крик:

— В лодке пять человек!

Дрожа всем телом, я подошел к трапу и прислушался к разговору команды. Мои колени подогнулись, и я почти лишился чувств. Только теперь я осознал, что хотел сделать. Я не знал, как благодарить судьбу, и, бросив ружье, вышел на палубу.

Никто не заметил моего отсутствия. Лодка была довольно близко, и можно было видеть, что она гораздо больше охотничьей лодки и иначе оснащена. Когда мы подошли к ней, ее парус был спущен и мачта снята.

Люди на лодке, видимо, ждали, что мы их возьмем к себе на борт.

Смок, спустившийся с мачты и теперь стоявший рядом со мной, многозначительно хихикнул. Я посмотрел на него с недоумением.

— Вот так штука!—заржал он.

— А что случилось?—спросил я.

Он снова хихикнул.

— Разве вы не видите,—спросил он,—кто там лежит на корме на парусах? Пусть я больше никогда не убью ни одного котика, если это не баба!

Я стал всматриваться и убедился, что он прав. В лодке находилось четверо мужчин, а пятым пассажиром, действительно, была женщина. Мы все были взволнованы неожиданным происшествием, не исключая и самого Вульфа Ларсена, который был заметно разочарован тем, что это оказалась не его лодка с двумя жертвами его злобы.

Мы убрали кливер и стали по ветру. Весла коснулись воды, и в несколько ударов лодка пристала к нашему борту. Я взглянул на женщину. Она была закутана в длинный шерстяной плащ, так как утро было холодное. Я видел ее лицо и светло-каштановые волосы, выбивавшиеся из-под матросской шапки. У нее были большие блестящие карие глаза, мягко очерченный нежный рот и изящный овал лица. Солнце и ветер докрасна обожгли ее лицо.

Она показалась мне существом из другого мира, и я смотрел на нее, как голодный смотрит на хлеб. Ведь я так долго не видел ни одной женщины! Я был поражен, почти остолбенел. Неужели это на самом деле женщина? Я был так поглощен ее созерцанием, что забыл о своих обязанностях штурмана и даже не помог вновь прибывшим взойти на палубу. Когда же один из матросов поднял ее и передал Вульфу Ларсену, то она посмотрела на наши любопытные лица и очаровательно улыбнулась, как может улыбаться только женщина. Я так давно не видал таких улыбок, что даже позабыл о самой возможности их существования.

— Мистер Ван-Вейден!

Голос Вульфа Ларсена привел меня в себя.

— Пожалуйста, сведите лэди вниз и позаботьтесь о ней! Приготовьте запасную каюту. Заставьте поваришку устроить все, что нужно, и подумайте, чем вы можете помочь нашей гостье: у нее обожжено лицо.

Он резко отвернулся от нас и стал задавать вопросы вновь прибывшим мужчинам. Лодка была брошена на произвол волн,—один из спасенных возмущался этим, потому что Иокогама была очень близко.

Я испытал непонятный страх перед этой женщиной, которую сопровождал. Я был неловок. Мне казалось, что я в первый раз понял, какое нежное и хрупкое существо—женщина. Когда я взял ее за руку, чтобы помочь ей сойти вниз, то был поражен, как мала и нежна была ее рука. Вся она—тонкая и хрупкая—казалась мне настолько эфирной, что я боялся, как бы не раздавить ей руку своей громадной ручищей; я говорю откровенно, что я думал тогда о женщинах вообще и о Мод Брюстер в частности, после долгого периода, проведенного мною исключительно в мужском обществе.

— Не стоит особенно возиться со мной,—сказала она, когда я ее посадил в кресло Вульфа Ларсена, которое я наскоро притащил из его каюты.—Мы ожидали увидеть берег с минуты на минуту, и я думаю, что ваше судно уже к ночи должно дойти до порта. Не так ли?

Меня поразила ее спокойная вера в будущее. Как мог я ей объяснить положение на нашей шхуне и познакомить ее с тем странным человеком, который точно злой рок носился по морю. Я сам понял это лишь после того, как прожил здесь целый месяц. И я честно ей ответил:

— Если бы у нас был другой капитан, то я бы вам сказал, что вы будете в Иокогаме завтра утром; но наш капитан очень странный человек, и я прошу вас быть готовой ко всему. Понимаете?—ко всему.

— Я... я... Признаюсь, я вас не совсем понимаю,—сказала она смущенно, но без малейшего страха.—Мне казалось, что людям, потерпевшим кораблекрушение, всегда оказывают полное внимание. Ведь, в сущности, это такие пустяки. Мы так близко от берега.

— Откровенно говоря, я ничего не знаю,—попытался я несколько ободрить ее.—Я хочу только подготовить вас к худшему, если худшее должно случиться. Наш капитан—прямо изверг, демон. Никто никогда не может предсказать, как он поступит завтра или через час.

Я все более волновался, но она прервала меня словами:

— Так, понимаю!—и голос ее прозвучал слабо. Ей приходилось делать усилие, чтобы соображать. Ясно было, что она находилась в полном изнеможении.

Дальнейших вопросов она мне не задавала, а я предпочел не говорить больше ничего, а заняться исполнением приказаний Вульфа Ларсена —устроить ее возможно удобнее. Я суетился около нее, как заботливая хозяйка: добывал смягчающую мазь для ее ожога, обыскивал частные запасы Вульфа Ларсена, чтобы найти бутылку портвейна, и давал указания Томасу Магриджу, как приспособить для нее отдельную каюту.

Ветер свежел, «Призрак» шел все быстрее, и к тому времени, как каюта была готова,—судно неслось по морю. Я совсем забыл о существовании Лича и Джонсона, когда внезапный крик: «Лодка!» долетел до меня через открытый трап в кают-компанию. Это, несомненно, кричал Смок с верхушки мачты. Я взглянул на даму, но она уже сидела в кресле, откинувшись назад и закрыв глаза. Видимо, она страшно устала. Я сомневался даже в том, что она слышала этот крик, и решил помешать ей видеть ту жестокую сцену, которая, как я знал, неизбежно должна была последовать за поимкой беглецов. Она устала. Прекрасно. Пусть спит.

На палубе раздалась быстрая команда, послышался топот ног и хлопанье парусов: все указывало на то, что «Призрак» вошел в полосу ветра и поворачивал на другой галс [1]). Когда паруса снова наполнились, кресло покатилось на колесиках вдоль каюты, и я едва успел остановить его и спасти сидевшую в кресле от неизбежного падения.

Дама раскрыла глаза и сонно посмотрела на меня. Я повел ее в приготовленную каюту; она еле передвигала ноги. Магридж подмигнул мне. Я отстранил его и велел ему продолжать работу на кухне. За это он отомстил мне тем, что рассказал охотникам, как хорошо выполнял я обязанности горничной. Когда я вел нашу гостью, она тяжело опиралась на мою руку, и я увидел, что она опять заснула на полдороге от кресла к каюте. Я окончательно убедился в том, что она спала на ходу, когда увидел, как при внезапном толчке судна она повалилась на койку. Затем она приподнялась, сонно улыбнулась и тотчас же опять заснула; я так ее и оставил спавшей под двумя тяжелыми матросскими одеялами, подложив ей под голову подушку с койки Вульфа Ларсена.

ГЛАВА XIX

Выйдя на палубу, я увидел, что «Призрак» обходил с подветренной стороны знакомую мне шлюпку, шедшую тем же курсом, что и мы. Все матросы и охотники были на палубе, так как знали, что должно будет произойти нечто интересное, когда на судно втащат Лича и

---

[1]) Т.-е. поворачивал корпус и паруса так, что ветер дул уже с другого борта. См. стр. 101.

Джонсона. Пробило четыре склянки. Луис пошел на корму, чтобы сменить рулевого. В воздухе чувствовалась сырость, и я заметил, что он надел на себя непромокаемое пальто.

— Какая будет погода?—спросил я его.

— Будет приятный здоровый ветерок,—ответил он,—и пошумит дождичек, чтобы смочить нам жабры. Больше ничего.

— Как жаль, что мы увидели их,—сказал я, в то время как большая волна подняла корму «Призрака», и лодка на мгновение появилась в нашем поле зрения за кливером.

Луис, немного помедлив, ответил:

— Им все равно не добраться до берега.

— Вы думаете?

— Да, сэр. Разве не чувствуете?

Порыв ветра ударил в шхуну, и Луис должен был быстро повернуть штурвал, чтобы дать ей нужное направление.

— В такую погоду на яичной скорлупе далеко не уплывешь,—продолжал он.—На их счастье мы оказались невдалеке и можем их подобрать.

Поговорив на средней палубе со спасенными, Вульф Ларсен прошел на корму. Кошачья упругость его походки была заметнее, чем обыкновенно; его хищные глаза блестели.

— Три смазчика и механик,—сказал он.—Но мы сделаем из них матросов, или, во всяком случае—гребцов. А что слышно про даму?

Когда он заговорил о даме, то меня как будто пронзили ножом. Я подумал, что во мне сказалась моя глупая строптивость, но я не мог побороть ее в себе, и в ответ пожал плечами.

Вульф Ларсен насмешливо засвистал.

— А как ее зовут?—спросил он.

— Не знаю,—ответил я.—Она спит; очень устала. Я рассчитывал узнать кое-что от вас. С какого она судна?

— С почтового парохода,—кратко ответил он.—«Город Токио» из Сан-Франциско, курс на Иокогаму. Потерпел крушение при тайфуне. Старое корыто. Они носились по морю четыре дня. Так вы, значит, не знаете, кто она,—девушка, замужняя или вдова? Ну-ну!

Он снисходительно покачал головой и посмотрел на меня с насмешкой.

— А вы...—начал я. На кончике моего языка вертелся вопрос о том, доставит ли он потерпевших кораблекрушение в Иокогаму.

— Что—я?—спросил он.

— Как вы думаете поступить с Личем и Джонсоном?

Он покачал головой.

— Право не знаю, Сутулый. Видите ли, с прибавкой этих новых людей у меня стало народа более чем достаточно.

— А они более чем достаточно настрадались от своей попытки убежать,—сказал я.—Отчего вы не измените с ними обращения? Возьмите их на борт, но будьте с ними помягче. Что бы они ни сделали, они были доведены до этого собачьим обращением!

— Кто же это с ними обращался по-собачьи?

— Вы,—твердо ответил я.—И я вас предупреждаю, Вульф Ларсен, что я могу забыть все и убить вас, если вы далеко зайдете в истязании этих несчастных.

— Браво!—воскликнул он.—Я горжусь вами, Сутулый. Желание жить ставит вас на ноги. Вы теперь настоящая личность. Ваше несчастие состояло в том, что жизнь вам давалась слишком легко, но вы развиваетесь, и теперь вы мне нравитесь все больше и больше.

Его голос изменился. Выражение лица стало серьезным.

— Верите ли вы в обещания?—спросил он.—Считаете ли вы, что следует свято исполнять обещанное?

— Конечно,—ответил я.

— Так заключим договор,—продолжал хитрый актер.—Если я обещаю вам и пальцем не тронуть ни Лича, ни Джонсона, обещаете ли вы, в свою очередь, не покушаться убить меня? Не думайте, что я боюсь,—я не боюсь вас,—поспешил он прибавить.

Я еле верил своим ушам. Что случилось с этим человеком?

— Идет?—нетерпеливо спросил он.

— Идет,—ответил я.

Мы пожали друг другу руку, но когда я искренно отвечал на его пожатие, я готов был поклясться, что в его глазах на мгновение сверкнул дьявольский огонек.

Мы прошли на подветренную сторону кормы. Лодка была уже близко и в отчаянном положении. Джонсон был на руле, Лич вычерпывал воду. Мы шли вдвое быстрее, чем они. Вульф Ларсен сделал Луису знак, чтобы он держал курс немного в сторону, и мы промчались мимо лодки всего в нескольких футах с наветренной стороны. Лодка закачалась на набежавших за «Призраком» волнах, а затем скользнула вниз, в то время как мы поднялись на огромную высоту.

В этот момент Лич и Джонсон взглянули в лицо своим товарищам, столпившимся у борта. Но приветствий не последовало. Для матросов Джонсон и Лич были уже мертвецами; между тем, кто сидел в лодке, и теми, кто оставался на шхуне, лежала пропасть, отделяющая живых от мертвых.

В следующую за тем минуту лодка была уже против кормы, где стояли мы с Вульфом Ларсеном. Теперь мы опускались, а лодка поднималась. Джонсон взглянул на меня, и я увидел, что лицо у него измученное и мрачное. Я махнул ему рукой, и от ответил мне тем же, но его ответ был безнадежен и полон отчаяния. Он как бы прощался

со мной навеки. Я не мог поймать взор Лича, потому что он упорно смотрел на Вульфа Ларсена, и лицо его выражало все ту же непреклонную ненависть, как и всегда.

Но вот они очутились за кормой.

Парус наполнился ветром, накренив утлое суденышко настолько, что оно чуть не перевернулось. Белоснежный гребень волны разбился как раз над ним. Потом лодка вынырнула, она была полна воды, которую вычерпывал Лич, в то время как Джонсон с бледным и встревоженным лицом хватался за рулевое весло.

Вульф Ларсен коротко рассмеялся и перешел на другую сторону кормы. Я ожидал, что он отдаст приказание положить «Призрак» в дрейф, но судно все шло вперед, а Вульф Ларсен не произносил никакой команды.

Луис как ни в чем не бывало стоял у штурвала, но я заметил, что группа матросов поворачивала в нашу сторону смущенные лица.

«Призрак» все шел вперед и вперед, пока лодка не превратилась снова в черную точку. Тогда зазвенел, отдавая команду, голос Вульфа Ларсена, и сам он перешел к правому борту.

Мы находились в двух или более милях с наветренной стороны от боровшейся в волнах скорлупки, когда убрали стаксель, и шхуна легла в дрейф. Промысловые лодки не так устроены, чтобы долго итти против ветра. При охоте они всегда стараются итти по ветру на свою шхуну, как только ветер начинает свежеть. Но на всем пространстве водной пустыни для Лича и Джонсона не было иного убежища, кроме «Призрака», и они вступили в отчаянную борьбу против ветра. Это была тяжелая задача при бурном море. Каждую минуту их могло захлестнуть одним из пенившихся валов. Мы видели, как лодка ныряла в волнах и как ее отбрасывало назад точно пробку.

Джонсон был отчаянным моряком и так же хорошо управлял лодками, как большими судами, и часа через полтора он опять подошел к нам, на этот раз почти вплотную, видимо, надеясь пристать к нам со следующим взмахом весла.

— Так вы теперь переменили ваше решение? Да?—крикнул Вульф Ларсен по адресу бывших на лодке людей, словно думал, что они могут его услышать.—Теперь вы хотите вернуться на «Призрак»? Да? Ну, так вот, извольте! Только догоните нас!

— Поворачивай штурвал!—приказал он Уфти-Уфти, который успел сменить Луиса на руле.

Приказание следовало за приказанием, и мы вновь понеслись по волнам, уходя от лодки. Они были от нас в каких-нибудь ста футах. Вульф Ларсен опять усмехнулся и сделал Джонсону и Личу знак рукой, чтобы они следовали за нами. Видно было, что он хотел поиграть с ними, как кошка с мышью,—и я понял, что этим он собирался

дать им, вместо обычной жестокой взбучки, урок, хотя и очень опасный для них, так как их утлое суденышко каждую минуту могло исчезнуть.

Джонсон быстро повернул лодку и погнался за нами. Ему больше ничего не оставалось делать. Смерть подстерегала со всех сторон, и было только вопросом времени, когда именно один из этих огромных валов окончательно зальет лодку и пустит их ко дну.

— Вот когда у них скребет на сердце,—пробормотал мне на ухо Луис, когда я проходил вперед, чтобы выправить кливер.

— Ничего!—весело ответил я.—Немного погодя он все-таки возьмет их! Он только хочет проучить их немного, вот и все.

Луис пристально посмотрел на меня.

— Вы так думаете?—спросил он.

— Конечно,—ответил я.—А разве нет, вы этого не думаете?

— Я думаю только о собственной шкуре,—сказал он.—Удивляюсь, как складывается судьба. Признаюсь, в хорошенькую лужу меня посадил выпитый виски во Фриско! И вот помяните мое слово, еще в лучшую лужу вас посадит эта бабенка! Знаю я вас!

— Что ты этим хочешь сказать?—спросил я, но он уже отошел.

— Что я хочу сказать?—крикнул он издали.—И вы еще спрашиваете меня? Дело не в том, что я хочу сказать, а в том, что захочет сказать Волк. Поняли? Волк!

— Если заварится каша, то, надеюсь, ты поможешь мне?—невольно спросил я: его слова были отзвуком моих собственных страхов.

— Помогу? Я только одному толстому Луису помогаю. И этого с меня вполне довольно. Дело только еще начинается, и я вас предупреждаю.

— Я не думал, что ты такой трус,—засмеялся я.

Он удостоил меня презрительным взглядом.

— Если я пальцем не шевельнул для тех несчастных болванов,—он указал на лодку Джонсона и Лича, едва видневшуюся,—так неужели вы думали, что я дам проломить себе голову из-за какой-то бабенки, которую я до сего дня ни разу не видел?

Мне было противно слушать все это, и я отправился на корму.

— Уберите-ка марселя, мистер Ван-Вейден,—крикнул Вульф Ларсен, когда я поднялся на мостик.

Я почувствовал облегчение. Было ясно, что он все-таки решил не отходить далеко от этих несчастных.

Во мне снова проснулась надежда, и я быстро исполнил его приказание. На этот раз мы почти остановились в ожидании лодки, которая была от нас в нескольких милях расстояния. Вся команда следила за ее приближением. Смотрел и Вульф Ларсен, но он один из всех не был смущен.

Лодка подходила ближе и ближе, проталкиваясь, как живое существо, среди зеленых волн, то поднимаясь и взлетая на широкие спины валов, то исчезая, чтобы снова показаться на поверхности и снова взлететь к небу. Казалось невозможным, чтобы она могла продолжать борьбу, и все-таки она осуществляла невозможное. Позади нас промчался дождевой шквал, и лодка вдруг выскочила из водяной завесы и оказалась у самого нашего борта.

— Вперед!—скомандовал Вульф Ларсен, сам подскочил к штурвалу и резко повернул его.

И снова «Призрак» взметнулся и помчался по ветру вперед, и в течение целых двух часов бедные Лич и Джонсон продолжали гнаться за нами. Мы все убегали и убегали от них, а позади нас все еще маячил обрывок паруса, то исчезая в волнах, то взлетая в высь. Наконец, когда лодка была от нас всего в четверти мили, снова налетел тяжелый дождевой шквал и скрыл ее из виду навсегда. Больше она не показывалась. Ветер разогнал тучи, но парус не появился на бурной поверхности океана. На миг мне показалось, будто на гребне волны я увидел дно перевернувшейся лодки. Это было все.

Для Лича и Джонсона труд их жизни был окончен.

Команда все еще толпилась посреди шхуны. Никто не спускался вниз, никто не произносил ни слова. Люди избегали смотреть друг на друга. Каждый точно онемел и погрузился в самосозерцание, стараясь объяснить себе, что произошло. Но Вульф Ларсен не дал им много времени для размышлений. Он сразу же направил «Призрак» к промыслам, а не к Иокогаме. Теперь матросы лениво тянули снасти, в них уже не было ни малейшего усердия. Я слышал, как среди них раздавались глухие проклятия. Но не так обстояло дело с охотниками. Невозмутимый Смок уже рассказывал какой-то анекдот, и они спустились в каюту, покатываясь от смеха.

Когда я проходил на корму, ко мне подошел спасенный механик. Его лицо было бледно и губы дрожали.

— Ради создателя, сэр, что это за судно?—воскликнул он.

— У вас есть глаза, и вы сами видите,—ответил я почти грубо, так велики были боль и страх в моем сердце.

— Где же ваше обещание?—обратился я потом к Вульфу Ларсену.

— Да я вовсе и не собирался брать их к себе на борт, когда давал вам обещание,—ответил он.—И кроме того вы согласитесь, что я действительно не тронул их пальцем.

— Нисколечко, совсем не тронул,—засмеялся он через минуту.

Я ничего не ответил. Я не мог говорить: я был слишком ошеломлен происшедшим. На мне теперь лежала ответственность за эту женщину, которая спала в каюте. Я должен был взвесить всю

серьезность этой ответственности. А пока единственной разумной мыслью, пронесшейся через мое сознание, было не спешить ни с каким решением, если я хочу когда-нибудь притти ей на помощь.

ГЛАВА XX

Остаток дня прошел без событий. Легкий шквал, налетевший на нас, начал стихать. Механик и трое смазчиков после горячего объяснения с Вульфом Ларсеном получили экипировку из судового склада и были распределены между охотниками по разным лодкам. Всем назначены были вахты на шхуне. Помещение им было отведено на баке. Они ушли туда протестуя, однако, не очень громко,—они уже успели понять характер Вульфа Ларсена. А рассказы о капитане, которые им немедленно были преподнесены на баке, окончательно отбили у них желание бунтовать.

Мисс Брюстер—мы узнали ее имя от механика—все еще спала. За ужином я попросил охотников не кричать, чтобы не тревожить ее. Она вышла из каюты только на следующее утро. Я хотел, было, устроить так, чтобы она получала пищу отдельно, но Вульф Ларсен запротестовал.

— Кто она такая,—сказал он,—чтобы считать унизительным для себя сесть за общий стол и войти в наше общество?

Но выход ее к обеду вызвал все-таки некоторое смущение. Охотники молчали, точно набрали в рот воды. Только Джэк Горнер и Смок держали себя развязно, с любопытством поглядывали на нее и даже вмешивались в разговор. Остальные четверо, уткнувшись в свои тарелки, громко и глубокомысленно жевали, и уши их двигались в такт с челюстями.

Вульф Ларсен вначале был неразговорчив и только отвечал на вопросы, которые ему задавали. И не потому, что он чувствовал смущение, совсем нет. Но эта женщина была для него новым типом, она не была похожа на женщин, которых он знал, и потому он был заинтересован. Он изучал ее, и его глаза отрывались от ее лица только тогда, когда он следил за движениями ее рук или плеч. Я тоже изучал ее, и хотя я один только и поддерживал разговор, все же чувствовал себя немножко неловко и не совсем владел собой. Наоборот, Вульф Ларсен держал себя вполне спокойно, с полной уверенностью в себе; он не боялся женщин так же, как бурь и битв.

— Когда же мы придем в Иокогаму?—спросила она, обратившись к нему и доверчиво глядя ему в глаза.

Вопрос требовал прямого ответа. Челюсти прервали свою работу, уши перестали двигаться, и, хотя глаза были устремлены в тарелки, все присутствующие насторожились.

— Месяца через четыре, а может быть, и через три, если сезон закончится рано,—ответил Вульф Ларсен.

У нее перехватило дыхание.

— А мне сказали...—пролепетала она,—я думала, что до Иокогамы всего один день пути. Вы...

Она не докончила и обвела взором равнодушные лица, все еще упорно смотревшие в тарелки.

— ...Вы не имеете права,—закончила она.

— Этот вопрос вы должны обсудить с мистером Ван-Вейденом,—возразил он, насмешливо посмотрев в мою сторону.—Мистер Ван-Вейден у нас авторитет в вопросах права. А я простой моряк, и смотрю на дело несколько иначе, чем он. Возможно, что для вас—несчастье оставаться с нами, но для нас это, конечно, большое счастье.

Он с улыбкой посмотрел на нее. Под его взглядом она опустила глаза, но затем снова подняла их и вызывающе поглядела на меня. Я прочел в глазах ее молчаливый вопрос—«вы считаете это справедливым?» Но я решил соблюдать строгий нейтралитет и ничего не ответил.

— Что вы думаете обо всем этом?—спросила она.

— Это очень грустно,—ответил я,—в особенности если за эти три-четыре месяца могут пострадать какие-либо ваши неотложные дела. Но вы сказали, что едете в Японию для поправления здоровья, в таком случае я должен вас уверить, что нигде вы не поправитесь так, как на борту «Призрака».

Я увидел, как ее глаза, упорно смотревшие на меня, вспыхнули от негодования, и потупился под ее взглядом; краска залила мне лицо. Я поступил как трус, но мог ли я поступить иначе?

— Мистер Ван-Вейден имеет право так говорить,—усмехнулся Вульф Ларсен.

Я кивнул, а она, овладев собою, ожидала разъяснений.

— Он и теперь не очень-то крепок,—продолжал Вульф Ларсен,—но все же он удивительно поправился. Посмотрели бы вы на него, когда он появился у меня на борту. Более жалкого образчика человеческой породы с трудом можно было представить себе. Не правда ли, Керфут?

При таком прямом обращении Керфут смутился, уронил нож на пол и промычал что-то, повидимому, подтверждая слова Ларсена.

— Чистка картофеля и мытье посуды укрепили его. Правда, Керфут?

Тот снова промычал утвердительно.

— А посмотрите-ка на него теперь. Правда, его еще нельзя назвать силачом, но все-таки его мускулы развились с тех пор, как

он попал на судно. По крайней мере, на своих ногах научился стоять. Теперь при взгляде на него этому трудно поверить, а тогда он положительно был неспособен стоять на своих ногах без посторонней помощи.

Охотники фыркнули, но она посмотрела на меня с таким сочувствием, что это вознаградило меня за все издевательства Вульфа Ларсена. По правде говоря, я так давно не встречал ни в ком участия, что оно сразу тронуло меня, и с этой минуты я стал ее рабом. Но я был зол на Вульфа Ларсена. Своими насмешками он унижал мое человеческое и мужское достоинство; он унижал мою самостоятельность, которую сам же похвалил; ведь он сказал, что я «стою на своих ногах».

— Возможно, что я научился стоять на своих ногах,—сказал я,—но мне нужно еще научиться наступать на ноги других.

Он вызывающе посмотрел на меня.

— Значит, ваше воспитание проделано только наполовину,—сухо ответил он и обратился к мисс Брюстер.

— Мы очень гостеприимны на «Призраке»,—сказал он,—мистер Ван-Вейден знает это. Мы делаем все, чтобы наши гости чувствовали себя здесь как дома. Не правда ли, мистер Ван-Вейден?

— Даже предоставляем им чистить картошку и мыть посуду,—ответил я,—не говоря уже о хватаньи за горло, в знак дружбы.

— Я попросил бы вас не составлять себе ложного представления о нас по словам мистера Ван-Вейдена,—вмешался Ларсен с притворным беспокойством.—Заметьте, мисс Брюстер, что у него на поясе висит кортик—вещь... гм... довольно необычная для служащего на шхуне. Хотя Ван-Вейден и очень почтенная личность, однако... как бы это сказать... бывает склонен к ссорам, и строгие меры иной раз необходимы по отношению к нему. Когда же он спокоен, то более рассудительного и правдивого человека трудно найти. А так как он сейчас вполне спокоен, то не станет отрицать, что только вчера грозил убить меня.

Я задыхался от гнева, и мои глаза, конечно, стали не особенно ласковы. Он указал на меня.

— Посмотрите на него. Даже в вашем присутствии он с трудом сдерживает себя. Он не привык к обществу дам. Надо будет и мне вооружиться, прежде чем выйти с ним на палубу.

Он печально покачал головой, повторяя:

— Нехорошо, нехорошо!

Охотники покатились со смеху.

Грубые голоса этих людей и раскаты их хохота в тесной каюте производили дикое впечатление. Все было нелепо. Глядя на случайно попавшую сюда женщину, столь чуждую всей этой среде, я впервые

почувствовал, насколько я сам слился уже с этими людьми. Я сжился с ними и с их умственным кругозором, я был частью команды охотничьей шхуны, жил общей жизнью со всеми ними, питался, как они, и думал, как они. Для меня уже не было ничего странного ни в окружающей обстановке, ни в грязных одеждах, ни в грубых лицах, ни в громком смехе, ни в стенах каюты, принимающих то вертикальное, то горизонтальное положение, ни в раскачивающейся лампе.

Намазывая масло на хлеб, я взглянул случайно на свои руки. Кожа на пальцах ободрана, пальцы распухли, под ногтями грязь. Я знал, что борода выросла у меня густой щетиной, что рукав куртки разорван, у ворота синей рубахи давно уже нет пуговиц. Кортик, о котором упоминал Вульф Ларсен, действительно, болтался у меня на поясе. Я считал все это вполне естественным, но, взглянув сейчас на окружающее ее глазами, я понял, какое странное впечатление должна была она испытывать.

Мисс Брюстер поняла, что слова Ларсена были насмешкой, и снова бросила мне сочувственный взгляд. Но в ее взгляде была и тревога. Именно эта насмешка заставила ее задуматься более серьезно над своим положением.

— Может быть, меня возьмет с собой какой-нибудь встречный пароход,—сказала она.

— Здесь не проходят никакие суда,—ответил Вульф Ларсен,— за исключением таких же охотничьих шхун, как наша.

— У меня нет одежды, нет ничего,—возразила она.—Повидимому, вы не представляете себе, сэр, что я не мужчина и не привыкла к той бродячей жизни, какую ведете вы и ваши спутники.

— Чем скорее вы привыкните к ней, тем будет лучше,—последовал ответ.

А затем Ларсен прибавил:

— Я дам вам материю, иголки и нитки. Надеюсь, что для вас не будет слишком тяжелым трудом сшить себе одно или два платья.

Она сделала гримасу, и можно было понять, что искусство шить было ей незнакомо. Я видел, что она напугана и удивлена, но старался этого не показать.

— Я полагаю, что вы, по примеру мистера Ван-Вейдена, скоро привыкнете делать для себя все сама. Это будет вам на пользу. Кстати, чем вы зарабатываете себе на жизнь?

Она поглядела на него с нескрываемым удивлением.

— Я не желаю оскорблять вас, поверьте мне. Люди хотят есть и поэтому должны добывать себе пищу. Вот эти люди бьют котиков, чтобы жить; я управляю шхуной; мистер Ван-Вейден—по крайней

мере, в настоящее время—зарабатывает свой хлеб, помогая мне. А что делаете вы?

Она пожала плечами.

— Вы сами себя кормите, или это делает кто-нибудь другой?

— Боюсь, что большую часть моей жизни меня кормили другие,—засмеялась она, храбро стараясь войти в шутливый тон Ларсена. Однако, я видел, что в ее глазах все чаще появлялось выражение ужаса, когда она смотрела на этого человека.

— Может быть, и постель для вас стлал кто-нибудь другой?

— Случалось делать это и самой,—ответила она.

— И часто?

С насмешливым раскаянием она отрицательно покачала головой.

— А вы знаете, что в Соединенных Штатах делают с бедными людьми, которые, подобно вам, не зарабатывают себе на жизнь?

— Я очень невежественна,—оправдалась она.—А что же делают там с бедными людьми, которые живут как я?

— Их отправляют в тюрьму. Преступление, состоящее в том, что человек не зарабатывает на свое пропитание, называется бродяжничеством. Если бы я был мистером Ван-Вейденом, который вечно возится с вопросами о справедливости и несправедливости, о праве и бесправии, я спросил бы вас, какое право вы имеете жить, не зарабатывая на свою жизнь.

— Но так как вы не мистер Ван-Вейден, то я не обязана отвечать вам. Не так ли?

Она улыбнулась ему испуганными глазами. И этот взгляд поразил меня в самое сердце. Я должен был переменить разговор и направить его в другое русло.

— Заработали ли вы хоть один доллар своим трудом?—спросил Ларсен, заранее уверенный в ответе и уже торжествуя победу.

— Да, заработала,—тихо ответила она, и я чуть не расхохотался, увидя, как вытянулось его лицо.—Я помню, как однажды в детстве, когда мне было девять лет, папа подарил мне один доллар за то, что я просидела спокойно пять минут.

Он снисходительно улыбнулся.

— Но это было давно,—продолжала она,—и вы едва ли стали бы требовать от девочки девяти лет, чтобы она сама зарабатывала себе на хлеб. Но сейчас,—добавила она после коротенькой паузы,—я зарабатываю около тысячи восьмисот долларов в год.

В одно мгновение, точно по команде, глаза всех оторвались от тарелок и устремились на нее. Действительно, на женщину, зарабатывавшую тысячу восемьсот долларов в год, стоило посмотреть. Даже Вульф Ларсен не мог скрыть своего удивления.

— Жалованье или сдельная работа?—спросил он.

— Сдельная,—быстро ответила она.

— Тысяча восемьсот,—высчитывал он.—Это значит полтораста долларов в месяц. Ну, что же, мисс Брюстер, это не разорит «Призрак». Считайте себя на жалованьи все время, пока вы останетесь с нами.

Она не ответила. Она еще не свыклась с причудами этого человека и не могла принимать их равнодушно.

— Я забыл спросить,—продолжал он вкрадчиво,—относительно рода ваших занятий. Какие полезные предметы вы выделываете? Какие орудия производства и материалы вам понадобятся?

— Бумага и чернила,—засмеялась она.—Ах, да! Еще пишущая машинка.

— Так вы—Мод Брюстер,—сказал я медленно и уверенно, как будто обвиняя ее в каком-нибудь преступлении.

Она с любопытством посмотрела на меня.

— А вы откуда знаете?

— А разве нет?—спросил я.

Она кивнула головой. Теперь пришла очередь Вульфу Ларсену удивляться. Это имя для него ничего не значило. Но я был горд тем, что знал его, и в первый раз чувствовал свое превосходство над Ларсеном.

— Я помню, что писал рецензию на тоненький маленький томик...—начал я, но она прервала меня.

— А вы?—воскликнула она.—Вы...

Она смотрела на меня широко раскрытыми от удивления глазами.

Я в свою очередь кивнул.

— Вы—Гемфри Ван-Вейден,—закончила она и прибавила со вздохом облегчения, не заметив, что этот вздох кольнул Вульфа Ларсена.—Я так рада!

— Я помню вашу статью,—поспешно прибавила она, поняв неловкость своего восклицания,—статью, слишком лестную для меня.

— Нисколько,—возразил я галантно.—Этим вы отрицаете мое независимое суждение. Впрочем, все мои собратья-критики были одного мнения со мной. Разве Ланг не включил ваш «Вынужденный поцелуй» в число четырех самых знаменитых женских сонетов, написанных на английском языке?

— Но ведь вы назвали меня американской миссис Мейнель!

— А разве это не правда?

— Нет, это неверно... Это меня задело.

— Мы можем судить о неизвестном только по известному,—ответил я с обычной моей академической манерой.—Как критик, я должен был дать вам известное место в литературе. Теперь же вы сами определили его. Семь тоненьких томиков ваших стихов стоят у меня

на полке; а рядом—два потолще, это статьи, которые не уступают стихам. Я думаю, недалеко то время, когда при появлении новой неизвестной писательницы в Англии критики назовут ее «английской Мод Брюстер».

— Вы слишком любезны, благодарю вас,—прошептала она, и изысканность ее тона вызвала в моей душе целый сонм ассоциаций. Передо мною вдруг воскресла вся моя прежняя жизнь на другом конце мира, и я почувствовал острую боль—щемящую тоску по родине.

— Итак, вы—Мод Брюстер,—торжественно сказал я, смотря на нее.

— Итак, вы—Гемфрид Ван-Вейден,—ответила она, глядя на меня с такой же торжественностью.—Как все это странно! Я не понимаю. Мы никогда не ожидали от вашего серьезного пера какой-нибудь романтической истории из жизни моряков!

— Да я и не собираю здесь никаких материалов, уверяю вас,—ответил я.—У меня нет ни склонности, ни способности к беллетристике.

— Скажите, почему вы всегда прятались у себя в Калифорнии?—спросила она.—Это нелюбезно с вашей стороны. Мы, на Востоке, почти не видели вас.

Я поклоном поблагодарил ее за приветливые слова.

— Однажды я едва не встретилась с вами в Филадельфии,—вы должны были читать лекцию, кажется, о Броунинге? Но, к сожалению, мой поезд опоздал на четыре часа.

Мы оба позабыли, где находимся, забыли о Вульфе Ларсене, молчаливо слушавшем нашу болтовню. Охотники встали из-за стола и ушли на палубу, а мы все еще болтали. Остался один Вульф Ларсен. Вдруг я вспомнил о нем и увидел, что он, откинувшись на спинку стула, с любопытством прислушивается к языку чуждого для него мира.

Я оборвал нашу беседу на полуслове. Настоящее со всеми его опасностями и треволнениями снова обрушилось на меня. Это передалось и мисс Брюстер. И при взгляде на Вульфа Ларсена в ее глазах отразился странный, непреодолимый ужас.

Вульф Ларсен медленно встал и неловко засмеялся металлическим смехом.

— Не обращайте на меня внимания,—сказал он с притворным самоунижением.—Не считайтесь со мной. Беседуйте, пожалуйста. Продолжайте.

Но наш разговор оборвался, и мы тоже встали из-за стола с неловким смехом.

ГЛАВА XXI

Досада Вульфа Ларсена на то, что мы с мисс Брюстер игнорировали его во время нашего разговора, искала себе выхода, и жертвой ее оказался Томас Магридж. Он не переменил ни своего поведения, ни рубашки. Правда, он утверждал, что рубашку он сменил, однако, вид ее опровергал его слова, а слой жирной грязи на плите, кастрюлях и сковородах вообще не говорил о его опрятности.

— Я предостерегал тебя, поваришка!—крикнул Вульф Ларсен.— Теперь придется тебе полечиться у меня.

Лицо Магриджа побледнело под густым слоем сажи; а когда Вульф Ларсен позвал двух матросов с веревкой, бедный повар выскочил из своей дыры и с ужасом заметался по палубе, спасаясь от преследовавших его, зубоскаливших матросов. Трудно было доставить им большее удовольствие. Повар именно им, матросам, посылал на бак самую отвратительную стряпню. Обстоятельства благоприятствовали купанью. «Призрак» едва скользил по поверхности моря, со скоростью не более трех миль в час, и море было совершенно спокойно. Но Магридж не бы расположен купаться. Вероятно, он видел раньше, как это происходит. Кроме того, вода была страшно холодна, а здоровьем он не мог похвалиться.

По обыкновению, подвахтенные и охотники бросились наверх, чтобы присутствовать при забавном зрелище. Магридж безумно боялся воды и выказывал такую ловкость и проворство, каких мы в нем и не подозревали. Загнанный в правый угол на корме, он, как кошка, прыгнул на крышу рубки и побежал по ней; его преследователи бросились ему наперерез, он вернулся по той же крыше и соскочил на палубу; затем снова вскарабкался наверх. За ним пустился вдогонку матрос Гаррисон и почти догнал его. Но Магридж, внезапно подпрыгнув, ухватился за снасти и повис. Это произошло в одно мгновение. Вися в воздухе, он отбивался ногами. Подбежавший к нему Гаррисон получил удар в живот, застонал от боли и свалился на палубу.

Охотники приветствовали этот эпизод рукоплесканиями и смехом, а Магридж, ускользнув от своих преследователей около фок-мачты, мчался снова по корме, точно игрок на футбольной площадке. Он бегал таким образом от кормы к носу, от носа к корме. Наконец, поскользнулся и упал. Нильсон стоял в это время у штурвала, и Магридж при своем падении сбил его с ног. Оба покатились по палубе, но встал один Магридж. Как это ни странно, но его тщедушное тело, стукнувшись о ногу сильного матроса, переломило ее.

У руля стал Парсонс, и преследование продолжалось. Магридж с искаженным от страха лицом носился по палубе. Матросы с

гиканьем бегали за ним; охотники хохотали и подбадривали беглеца. На Магриджа насели сразу три матроса, но он выскользнул из-под них, как угорь, с окровавленным ртом, в разорванной рубашке, и стал взбираться по вантам. Он карабкался все выше и выше, на верхушку мачты.

Несколько матросов стали взбираться вслед за ним; они засели на реях и стали выжидать, пока двое из них—Уфти-Уфти и Блэк—не взобрались на самый верх. Это было опасное предприятие, потому что на высоте около ста футов над палубой, держась только на одних руках, им трудно было защищать свои головы от ног Магриджа. А он в это время бешено размахивал ими, пока, наконец, Уфти-Уфти, повиснув на одной руке, не схватил другой рукой его за ногу. В следующее мгновение Блэк схватил повара за другую ногу. Затем они все трое сцепились вместе на веревочной лестнице, борясь и скользя по ней вниз, пока, наконец, не упали прямо на руки к своим товарищам, поджидавшим их внизу.

Борьба была закончена, и Томас Магридж, со стонами, с кровавой пеной у рта, был доставлен к капитану. Вульф Ларсен расплел на отдельные части конец каната и обвязал Магриджа подмышками. Затем его схватили и выбросили в море. Сорок, пятьдесят, шестьдесят футов каната размоталось, пока Вульф Ларсен не скомандовал: «Довольно!» Уфти-Уфти намотал канат на якорный ворот, и «Призрак», в своем движении вперед, натянул канат и вытащил повара на поверхность океана.

Это было жалкое зрелище. Повар не мог утонуть, но он испытывал муки утопающего. «Призрак» шел очень медленно, и только когда волна поднимала его корму, он вытаскивал несчастного на поверхность и давал ему возможность дышать. Затем корма опускалась, канат ослабевал, и повар снова тонул.

Я забыл о существовании Мод Брюстер и вспомнил о ней только в ту минуту, когда она внезапно появилась около меня. Это был ее первый выход на палубу с тех пор, как она попала к нам на шхуну. Ее встретили мертвым молчанием.

— Почему здесь такое веселье?—спросила она.

— Спросите у капитана Ларсена,—ответил я холодно и спокойно, хотя во мне закипела кровь при мысли, что она будет свидетельницей такого зверства.

Она собиралась последовать моему совету, как вдруг глаза ее задержались на Уфти-Уфти, стоявшем около нее и державшем канат, грациозно нагнувшись над бортом.

— Вы ловите рыбу?—обратилась она к нему.

Он не ответил. Его глаза, внимательно устремленные на морскую поверхность, вдруг заблестели.

— Акула, сэр!—закричал он.

— Тащи скорей! Живо! Все за дело!—скомандовал Вульф Ларсен, и сам подбежал к канату, чтобы ускорить работу.

Магридж услыхал предостережение Уфти-Уфти и заорал как сумасшедший. Теперь я увидел черный плавник акулы, разрезавший воду и приближавшийся к несчастному. У нас и у акулы были равные шансы: вопрос был в секундах. Когда Магридж был уже под самой кормой, вдруг набежала волна, корма опустилась, и преимущество получила акула. Черный плавник исчез под водой, и мелькнуло белое гладкое брюхо. Почти так же проворен был и Вульф Ларсен. Он напряг все свои силы и рванул веревку. Тело повара показалось над водою, а за ним акула. Повар поджал ноги, страшное чудовище, казалось, успело только коснуться одной из них и тотчас же с плеском погрузилось в воду. Но в момент этого прикосновения Томас Магридж громко закричал. Еще через мгновение он упал на палубу, как пойманная на удочку рыба, освобожденная от крючка, и забился на палубе, вертясь на локтях и коленях.

Брызнул фонтан крови: правая нога была откушена, точно отрезана, по самую щиколотку. Я взглянул на Мод Брюстер. Она была бледна, в глазах ее светился ужас. Она смотрела не на Томаса Магриджа, а на Вульфа Ларсена, и он почувствовал это, потому что со своим обычным коротким смешком сказал:

— Игра в человека, мисс Брюстер. Согласен, что она несколько грубее тех, к которым вы привыкли, но все-таки это игра. Акула не входила в наши расчеты. Она...

При этих словах Магридж поднял голову; убедившись в своей потере, он пополз по палубе и вдруг вцепился зубами в ногу Вульфа Ларсена. Тот спокойно наклонился к повару и большим и указательным пальцами сдавил ему челюсть около уха. Челюсти медленно разжались, и Вульф Ларсен высвободил ногу.

— Как я сказал,—продолжал он с таким спокойствием, точно ничего не случилось,—акула не входила в наши расчеты. Это было... хм... может быть, само провидение.

Мисс Брюстер не подала вида, что слышала эти слова, но в глазах ее мелькнуло негодование, когда она круто повернулась, чтобы уйти прочь. Едва она сделала первые шаги, как вдруг закачалась и слабо повернулась ко мне. Я успел подхватить ее и не дал ей упасть. Я усадил ее и боялся, что она потеряет сознание, но она скоро овладела собой.

— Мистер Ван-Вейден!—крикнул мне Вульф Ларсен.—Достаньте турникет [1]).

[1]) Турникет — хирургический инструмент, которым зажимают артерии для прекращения кровотечения.

Я медлил, но ее губы беззвучно зашевелились, и она взглядом приказала мне поспешить на помощь к пострадавшему.

— Пожалуйста,—прошептала она наконец, и я повиновался.

К этому времени я уже настолько напрактиковался в хирургии, что Вульф Ларсен, ограничившись несколькими указаниями и дав в помощь двух матросов, предоставил мне справляться с моей задачей. Он же решил отомстить акуле. За борт был выброшен огромный крючок с насаженным на него жирным куском свинины, и к тому времени, как я зажал все вены и артерии, матросы уже вытаскивали с веселыми криками провинившееся чудовище. Я не видел его, но мои помощники, сперва один, а потом другой, на несколько минут покидали меня, чтобы посмотреть на акулу. Шестнадцатифутовая акула была подвешена к снастям. Челюсти ее раздвинули рычагами и в пасть ей вставили крепкий кол, заостренный с обоих концов, так что она уже не могла закрыть рта. После этого крюк с приманкой был вытащен, и акулу, живую, выбросили в море. Она полная сил, была теперь беспомощна и обречена на медленную голодную смерть. Она заслуживала ее, однако, меньше, чем тот человек, который придумал для нее это наказание.

ГЛАВА XXII

Когда мисс Брюстер подошла ко мне, я уже знал, о чем будет разговор. Перед этим она минут десять серьезно разговаривала с механиком. Я дал ей знак молчать и отвел ее от рулевого настолько, чтобы он не мог нас слышать. Ее лицо было бледно и печально, большие глаза, сделавшиеся еще больше от волнения, пристально смотрели на меня. Я чувствовал некоторую робость: ее глаза заглядывали в душу Гемфри Ван-Вейдена, а Гемфри Ван-Вейден мало чем мог гордиться с тех пор, как попал на «Призрак».

Мы отправились на корму. Здесь она обернулась и посмотрела мне в лицо. Я огляделся вокруг, чтобы убедиться, что нас не могут слышать.

— В чем дело?—мягко спросил я, но выражение суровости на ее лице не смягчилось.

— Я могу допустить,—начала она,—что это утреннее происшествие было просто несчастным случаем. Но я говорила с мистером Гаскинсом, и он сообщил мне, что в тот день, когда мы были подобраны, в то время, когда я находилась в каюте, двоих утопили, умышленно утопили, то-есть попросту убили.

Голос ее дрожал, и она смотрела так, точно обвиняла меня в этом преступлении или, по крайней мере, в соучастии.

— Вам сообщили правду,—ответил я.—Два человека, действительно, были убиты.

— И вы допустили это?—воскликнула она.

— Вернее было бы сказать, что я не в состоянии был помешать этому,—ответил я все так же мягко.

— Но вы пытались помешать?

Она сделала ударение на слове «пытались», и в голосе ее слышалось желание услышать утвердительный ответ.

— О, я вижу, вы и не пытались,—быстро продолжала она, догадавшись, каков будет мой ответ.—Но почему же?

Я пожал плечами.

— Вы должны помнить, мисс Брюстер, что вы здесь новое лицо и не знаете законов, которые руководят здешней жизнью. Вы явились сюда с определенным запасом понятий о гуманности, мужестве, благородстве, но здесь вы сочтете их неуместными. Я уже убедился в этом,—добавил я с невольным вздохом.

Она недоверчиво покачала головой.

— Так что же вы посоветуете?—спросил я.—Схватить нож, или ружье, или топор и убить этого человека?

Она отступила на один шаг.

— Нет, нет, только не это!—воскликнула она.

— Тогда что же я должен сделать? Убить себя?

— Вы говорите как материалист,—возразила она.—Есть же на свете нравственное мужество, а разве оно может не оказать влияния?

— Ах,—улыбнулся я,—вы советуете не убивать ни его, ни себя, а позволить ему убить меня!

Движением руки я помешал ей возражать.

— Нравственное мужество,—продолжал я,—в этом маленьком пловучем мирке не имеет никакой цены. Лич, один из убитых, обладал этим мужеством в высокой степени. То же можно сказать и о втором, о Джонсоне. Но это не принесло им пользы. Наоборот, это погубило их. То же случится и со мной, если я решусь проявлять даже то маленькое нравственное мужество, которое еще осталось во мне. Вы должны понять, мисс Брюстер, твердо понять, что это не человек, а чудовище. В нем нет совести. Для него нет ничего святого, он способен на все. По его капризу я был задержан на этом судне, и только благодаря тому же капризу я еще жив. Я ничего не предпринимаю и ничего не могу предпринять, потому что я—раб этого чудовища, как и вы теперь его рабыня; потому что я еще хочу жить, так же как и вы хотите жить; потому что я не могу бороться с ним и победить его, так же как и вы не можете бороться и победить.

Она ожидала, что я скажу дальше.

— Что же остается? У меня роль слабого. Я молчу и переношу унижения, как будете молчать и переносить их и вы. И это хорошо. Это лучшее, что мы можем сделать, чтобы сохранить жизнь. Победа не всегда остается за сильным. У нас нет сил, чтобы вступить в открытую борьбу с этим человеком, и мы должны притворяться и хитрить, чтобы выиграть. Если вы хотите моего совета, то вам следует поступать именно так. Я знаю, мое положение опасно, но не скрою от вас: ваше—еще опаснее. Мы должны действовать сообща, не показывая этого; мы должны заключить тайный союз. Я не смогу открыто держать вашу сторону, и, каким бы я ни подвергался унижениям, вы тоже должны молчать. Нужно избегать столкновений с этим человеком и не противоречить его воле. Все время мы должны улыбаться и заискивать, как бы противен он нам ни был.

Она в недоумении провела рукой по лбу.

— И все-таки я не понимаю...—сказала она.

— Вы должны делать так, как я говорю,—властно прервал я ее, потому что заметил, что Вульф Ларсен следит за нами, гуляя по палубе с Латимером.—Поступайте как я говорю, и вы скоро поймете, что я прав.

— Что же я должна делать?—спросила она, заметив тревожный взгляд, брошенный мною на объект нашего разговора, и, повидимому,—как я не без гордости понял,—побежденная серьезностью моих слов.

— Оставьте мысль о «нравственном мужестве»,—быстро заговорил я,—не возбуждайте гнева в этом человеке. Обращайтесь с ним по-дружески, разговаривайте с ним о литературе и искусстве,—он любит это. Вы найдете в нем внимательного и неглупого слушателя. Для вашей же собственной пользы рекомендую вам избегать диких сцен на корабле. Вам тогда будет легче играть свою роль.

— Значит, мне придется лгать?—возмущенно воскликнула она.—Лгать и поступками и словами?

Вульф Ларсен отошел от Латимера и направлялся к нам. Мной овладело отчаяние.

— Прошу вас, поймите же меня,—сказал я, понизив голос.—Весь ваш опыт здесь ничего не стоит. Вам нужно начинать сначала. Я знаю, я вижу это, вы привыкли покорять людей взглядом, побеждать их тем, что вы называете нравственным мужеством. Вы покорили меня. Но не пробуйте этого с Вульфом Ларсеном. Скорее вы покорите льва. Он только насмеется над вами же... Но вот и он... Я всегда гордился тем, что открыл этого писателя...—сразу переменил я разговор, как только Вульф Ларсен подошел к нам.—Издатели боялись его. Но я оценил его сразу. Его гений и моя критика получили должное отмщение, когда он выступил со своей «Кузницей».

— Но ведь это появилось в газете,—без запинки ответила она.

— Да, но это только случайность, что «Кузница» появилась в газете. Он сам не хотел отдавать ее в журнал. Мы говорим о Гаррисе,—сказал я, обращаясь к Ларсену.

— О да,—согласился он.—Я помню его «Кузницу». Много милых сентиментальностей и несокрушимая вера в человеческие иллюзии. Кстати, мистер Ван-Вейден, вы бы навестили нашего повара. Он стонет и не может успокоиться.

Таким образом меня выпроводили с палубы. А Магридж спал глубоким сном от морфия, который я же сам дал ему перед этим. Я не спешил возвращаться на палубу; когда же я вышел, то к своему удовольствию увидел, что мисс Брюстер вела с Вульфом Ларсеном оживленный разговор. Повторяю, я был доволен, что она последовала моему совету. И все-таки мне было грустно и досадно, что она делала именно то, о чем я просил, хотя это и было противно для нее.

ГЛАВА XXIII

Попутный ветер быстро гнал «Призрак» к северу, прямо на стада котиков. Мы встретили их у сорок четвертой параллели, среди яростно-бурного моря, над которым носились клубы тумана. Целыми днями мы не видали солнца и не могли сделать вычислений; наконец, однажды, ветер согнал с океана туман, волны успокоились, появилось солнце, и мы получили возможность определить место, где мы находились. Ясная погода продолжалась два-три дня, а потом опять нас окутал туман, еще более густой, чем в предыдущие дни.

Охотиться было опасно; каждый день, когда спускали лодки, туман немедленно поглощал их, и мы не видели их до самой ночи, когда они выползали, наконец, из мрака, одна за другой, точно морские чудовища. Охотник Уэнрайт, которого Вульф Ларсен захватил в плен вместе со шлюпкой и матросами, воспользовался туманом и убежал. В одно туманное утро он отплыл на охоту со своими двумя товарищами, и с тех пор никто из нас их больше не видел. Мы узнали впоследствии, что они переходили со шхуны на шхуну, пока, наконец, не добрались до своей собственной.

О побеге подумывал и я, но мне не представлялось удобного случая. Штурману не полагалось отправляться на охоту на лодках, и хотя я старался всеми правдами и неправдами обойти это правило, но Вульф Ларсен всякий раз мешал мне воспользоваться подходящим случаем. Если б мне удалось убежать со шхуны, я, конечно, ухитрился бы захватить с собой и мисс Брюстер. Для нее создавалось на шхуне такое положение, о котором я боялся и думать.

Я гнал от себя мысль о нем, но она постоянно появлялась в моем мозгу, как навязчивое представление.

В свое время я прочитал много романов о морских приключениях, где всегда фигурировала одинокая женщина, попавшая в среду грубых матросов; но теперь я узнал по опыту, что я не понимал всей опасности подобного приключения. А романисты расписывали об этом целые томы! Теперь я стоял лицом к лицу с таким положением, и героиней была именно мисс Брюстер, которая очаровала меня теперь как личность, так же как раньше очаровывала своими произведениями.

Трудно было представить существо более неподходящее для этой грубой среды, чем она: деликатная, хрупкая и тоненькая, как тростинка, с легкими и грациозными движениями. Мне иногда казалось, что она и не ходит, или, по крайней мере, ходит не так, как все мы, смертные, а скользит с поразительной легкостью, с какой-то особенной воздушностью, точно плывет или бесшумно летит. Она походила на фигурку из дрезденского фарфора, и мне казалось, что вот-вот ее кто-нибудь разобьет. Я никогда не видел, чтобы дух и тело человека находились между собой в такой гармонии. Ее стихи критики называли возвышенными и одухотворенными, и то же можно было сказать и о ней самой. Ее тело казалось частью ее души, и оно тонкими нитями связывало ее душу с жизнью. Действительно, она едва касалась земли, и во всей ее фигуре была воздушная легкость.

Она представляла собой яркий контраст Вульфу Ларсену. В одном не было того, что было в другой, и то, что составляло сущность одной, совершенно отсутствовало в другом. Однажды утром я увидел, как они гуляли вместе по палубе, и я понял, что они стоят на противоположных концах лестницы человеческой эволюции: он воплощал собой первобытную дикость, а она—всю утонченность современной цивилизации. Правда, у Вульфа Ларсена был необыкновенно развит интеллект, но он направлен был исключительно на удовлетворение диких инстинктов, что делало этого дикаря еще более опасным. При всей его развитой мускулатуре и твердости его поступи, двигался он чрезвычайно легко. Мы вспоминали невольно девственный лес и джунгли, когда смотрели на его походку. В ней было что-то кошачье, что-то эластичное и в то же время полное силы. Он напоминал мне огромного тигра,—хищного, смелого зверя. И действительно, он был хищным зверем. Огненный блеск, который иногда вспыхивал в его глазах, был точь-в-точь такой же, какой я видел в глазах посаженных в клетку леопардов и других хищников.

Когда я увидел Вульфа Ларсена и Мод Брюстер гуляющими взад и вперед по палубе, я тотчас решил, что на эту прогулку вызвала Ларсена она сама. Они проходили мимо меня, когда я стоял у входа

в кают-компанию. Хотя она ни малейшим жестом не выдала себя, но я все-таки почувствовал, что она смущена. Взглянув на меня, она сделала какое-то замечание и непринужденно засмеялась; но я видел, что ее глаза, словно повинуясь какой-то силе, обратились на Ларсена и тотчас опустились: в них застыл ужас.

Причину ее тревоги я понял, взглянув в его глаза. Обыкновенно серые, холодные и суровые, они теперь светились теплым, мягким, золотистым блеском, в них прыгали легкие огоньки, которые то вспыхивали, то потухали, пока, наконец, весь зрачок не наполнился ярким светом. Быть может, причиной этого был золотой колорит дня, все может быть! Они притягивали и повелевали, манили и соблазняли, говорили о желании и о волнении в крови, чего не могла не понять ни одна женщина, а тем более Мод Брюстер.

Ее ужас передался мне, и в этот миг страха—самого ужасного страха, какой только может испытать мужчина—я вдруг понял, как она стала дорога мне. Сознание, что я полюбил ее, наполнило меня ужасом. Сердце мое сжалось от странного двойственного чувства; кровь и холодела и пылала в одно и то же время. Какая-то неведомая сила увлекала меня куда-то. Против воли, я снова заглянул в глаза Вульфа Ларсена. Но он уже овладел собой. Золотистый свет исчез, глаза его снова были серы, холодны и жестоки. Он сухо поклонился и ушел.

— Я боюсь,—прошептала она с дрожью в голосе.—Мне страшно!

Мне тоже было страшно. Я знал теперь, как она дорога мне, и это заставляло мою голову кружиться. Но я сделал усилие над собой и ответил спокойно:

— Все обойдется, мисс Брюстер. Поверьте мне, все обойдется!

Она ответила мне благодарной улыбкой, от которой затрепетало мое сердце, и ушла в кают-компанию.

Долго я стоял там, где она оставила меня. Мне было необходимо проверить себя, осознать значение происшедшей во мне перемены. Итак, значит, свершилось. Любовь пришла. И это в то самое время, когда я менее всего ожидал ее, пришла при таких страшных обстоятельствах. Конечно, моя философия всегда признавала, что рано или поздно любовь придет, но долгое уединение, проведенное среди книг, мало подготовило меня к этому.

И вот любовь пришла! Мод Брюстер! Я вспомнил ее первый тоненький томик у себя на письменном столе и ясно увидел перед собой ряд ее других тоненьких книг на полке в моей библиотеке. Как я приветствовал появление каждой из них! Ежегодно она выпускала в свет по одному томику, и каждый из них служил для меня олицетворением нового года. В них я находил родственный мне дух, а теперь они заняли место и в моем сердце.

Мое сердце! Мною овладело странное состояние. Я с недоверием смотрел на себя со стороны Мод Брюстер! Гемфри Ван-Вейден,—эта «рыба», «бесчувственное чудовище», «демон анализа», как меня называл Чарли Ферсесет,—влюблен! А затем без всякой связи мне пришла вдруг на ум маленькая биографическая заметка, помещенная в красной справочной книжке о писателях, и я сказал себе: «Она родилась в Кембридже, ей двадцать семь лет». И вдруг воскликнул: «Двадцать семь лет, и она еще свободна и никого не любит!» Но как я мог знать, что она никого не любит? Охватившая меня вдруг ревность положила конец колебаниям. Сомнения не оставалось: я ревновал,—значит, я любил! И женщина, которую я любил, была Мод Брюстер!

Я, Гемфри Ван-Вейден, был влюблен! И опять сомнение овладело мной. Я не потому, что я боялся этого или неохотно это встретил. Наоборот, я всегда был неисправимым идеалистом, и моя философия признавала любовь, считала ее величайшим благом на свете, целью и венцом жизни, высшей радостью и высшим счастьем, которое нужно благоговейно и бережно хранить в сердце. Но теперь, когда это случилось, я боялся этому поверить. Такое счастье не могло быть моим уделом. Это было слишком, слишком хорошо, чтобы быть правдой. У меня в памяти зазвучали стихи Саймонса:

Года все шли и шли, а я блуждал один,
Одну тебя ища средь мира женщин...

И я давно уже перестал искать. Я так и решил, что величайшее в мире счастье не для меня. Ферсесет был прав: я был апормален, я был «бесчувственное чудовище», «книгоед», я жил исключительно разумом. И хотя я всю свою жизнь был окружен женщинами, но я ценил их только эстетически. Иногда я и сам себе казался бледным монахом, отрекшимся от вечных законов природы и от страстей, которые я так хорошо видел и понимал в других людях. И вот любовь пришла! То, о чем я даже не мечтал, случилось. Охваченный восторгом, медленно шел я по палубе, бормоча про себя прекрасные строки Елизаветы Броунинг [1]):

Я годы жил среди моих видений,
А не среди мятущихся людей,
И я не знал товарищей милей
И музыки прекраснее их пенья.

---

[1]) Поэтесса (1806—1861) жена Роберта Броунинга (1812—1889), одного из выдающихся английских поэтов, принадлежавшего к так называемой школе „прерафаэлистов", явившейся на смену реализма. Броунинги пользуются широкой популярностью не только в Англии, но и в Америке.

А теперь более прекрасная музыка зазвучала у меня в ушах, и я сразу же стал слеп и глух ко всему, что происходило вокруг меня.

Резкий окрик Вульфа Ларсена привел меня в себя.

— Какого дьявола вы лезете сюда?!—заорал он.

Я забрел на нос, где матросы красили борт шхуны, и едва не опрокинул ведра с краской.

— Что у вас, припадок безумия или солнечный удар?—проворчал он.

— Нет, несварение желудка,—ответил я и, точно ничего не случилось, продолжал свою прогулку.

ГЛАВА XXIV

То, что произошло затем на «Призраке» в течение ближайших сорока часов после того момента, как я открыл, что влюблен в Мод Брюстер, я считаю самыми яркими событиями в моей жизни. Я, проживший всю свою жизнь в спокойной обстановке и теперь в тридцать пять лет попавший в полосу самых нелепых приключений, никогда не мог себе представить, чтобы в сорок часов можно было пережить столько волнений. И мне кажется, что голос некоторой гордости, который шепчет мне, что я вел себя тогда не совсем плохо,—говорит правду.

Началось с того, что за обедом Вульф Ларсен сообщил охотникам о перемене в нашем обиходе: они будут впредь обедать отдельно, у себя в каюте. Это была неслыханная вещь на промысловой шхуне, где охотники, согласно обычаю, приравниваются к офицерам. Ларсен не сообщил, почему изменяется порядок, но его мотивы были ясны. Горнер и Смок позволили себе ухаживать за Мод Брюстер. Это было только смешно, нисколько не оскорбительно для нее, но, очевидно, ему не понравилось.

Распоряжение было встречено гробовым молчанием, хотя остальные четверо многозначительно посмотрели на двоих, бывших причиною изгнания. Джэк Горнер, человек спокойный, ничем не выказал своего недовольства, но Смок побагровел и хотел, было, заговорить. Вульф Ларсен вызывающе посмотрел на него стальным взглядом. Смок закрыл рот и не сказал ни слова.

— Вы хотели что-то сказать?—грозно спросил Ларсен.

Это был вызов, но Смок отказался принять его.

— О чем?—спросил он с таким невинным видом, что даже Вульф Ларсен сразу не нашелся, а остальные улыбнулись.

— Так, ни о чем!—проворчал Вульф Ларсен.—Я думал, что вы хотите получить пинка.

— За что?—так же невозмутимо спросил Смок.

Теперь товарищи Смока смеялись уже открыто. Я не сомневаюсь, что капитан уложил бы Смока на месте, и пролилась бы кровь, если бы здесь не присутствовала Мод Брюстер. Да и Смока сдержало ее присутствие. Он был достаточно благоразумен и осторожен, чтобы не разжигать гнева Вульфа Ларсена в такую минуту, когда этот гнев мог бы вылиться в более резкие формы, чем простые слова. Но я все же боялся, что вот-вот разразится гроза, как вдруг сверху донесся крик рулевого, который спас положение.

— Виден дым!—кричал рулевой через открытую дверь в кают-компанию.

— В каком направлении?—крикнул ему Вульф Ларсен.

— С кормы, сэр!

— Не русское ли судно?—высказал предположение Латимер.

Его слова вызвали тревогу на лицах других охотников. Русское судно могло быть только военным крейсером, а охотники отлично знали, что мы находились недалеко от запретной полосы; Вульф Ларсен был известным браконьером [1]). Все глаза устремились на него.

— Ерунда!—воскликнул он со смехом.—На этот раз, Смок, вам не придется попасть в соляные копи. Но вот что я хочу предложить вам: я ставлю пять против одного, что это «Македония».

Никто не принял его пари, и он продолжал:

— Если это так, то ставлю десять против одного, что нам не избежать хлопот.

— Нет, благодарю вас,—ответил Латимер.—Я не возражаю против проигрыша, но не хотел бы проигрывать наверняка. Еще ни разу не случалось, чтобы дело обошлось благополучно при вашей встрече в море с братцем. Ставлю двадцать против одного, что и теперь произойдет то же.

Все усмехнулись, в том числе и сам Вульф Ларсен, и обед прошел гладко благодаря мне, потому что все остальное время он возмутительно издевался надо мной, то вышучивая меня, то принимая покровительственный тон, заставлявший меня задыхаться от сдерживаемого гнева. Но я знал, что ради Мод Брюстер я должен сдержать себя, за что и получил награду, когда глаза наши встретились на секунду. Ее взгляд яснее слов сказал мне:

«Бодритесь! Не падайте духом!»

Прямо из-за стола мы все вышли на палубу, так как в нашей монотонной жизни среди моря каждый пароход был развлечением, а уверенность, что это должна быть именно «Македония» с братом Вульфа Ларсена, прозванным «Смерть-Ларсен», усиливала наше

---

[1]) Браконьер—охотник, тайком проникающий в запретные для открытой охоты места (заповедники или частные угодия).

любопытство. Море постепенно утихало, так что можно было спустить после обеда лодки и начать охоту. Она обещала быть удачной. С самого рассвета мы не встретили ни единого котика, а теперь натолкнулись на целое стадо их.

Дым виднелся в нескольких милях позади нас, но, пока мы спускали лодки, он опередил нас. Лодки рассеялись по океану и взяли курс на север. Мы видели, как они то-и-дело убирали паруса, затем раздавались ружейные залпы, и паруса ставились опять. Котики шли большим стадом; ветер совершенно стих, и все предвещало богатую добычу. Когда мы опередили последнюю нашу лодку, мы увидели, что океан точно ковром покрыт спавшими котиками. Они были всюду вокруг нас, и я никогда еще не видел такой их массы. Они подвое, по-трое и целыми группами, вытянувшись во всю свою длину на поверхности моря, сладко спали как ленивые щенята.

Пароход был теперь хорошо виден. Это действительно была «Македония», я прочитал ее название в бинокль. Вульф Ларсен злобно смотрел на судно, а Мод Брюстер была охвачена любопытством.

— А где же беда, которую вы предсказывали, капитан Ларсен?— весело спросила она.

Он взглянул на нее, и его лицо на миг смягчилось.

— А вы чего же ожидали?—спросил он.—Что они возьмут нас на абордаж и перережут нам глотки?

— Да, чего-нибудь в этом роде,—созналась она.—Обычаи охотников на котиков так новы и странны для меня, что я готова ожидать всего, чего угодно.

Он кивнул.

— Вы правы,—сказал он.—Ошибка только в том, что вы не ожидали самого худшего.

— Как? Что может быть хуже того, если нам станут резать глотки?—возразила она с наивным и забавным удивлением.

— Когда станут резать кошельки—это будет хуже,—продолжал он.—Так уж создан современный человек, что его жизнеспособность зависит от тех денег, которые у него есть.

— «Кто ворует мой кошелек, тот ничего у меня не ворует»,— процитировала она.

— «Кто ворует мой кошелек, тот ворует у меня право на жизнь»,—возразил он.—Потому что тот, кто крадет у меня мой хлеб, мясо и постель, подвергает опасности мою жизнь. Кухмистерские и булочные, как вам известно, не вырастают прямо из земли, и когда у человека пуст кошелек, то он обыкновенно умирает, и умирает самым жалким образом, если ему не представится возможность вновь наполнить свой кошелек.

— Но я все еще не вижу, каким именно образом этот пароход может посягать на ваш кошелек!

— Подождите и увидите,—ответил он угрюмо.

Нам не пришлось долго ждать. Отойдя на несколько миль от линии наших лодок, «Македония» стала спускать свои. Мы знали, что у нее четырнадцать лодок против наших пяти (шестой мы лишились вследствие побега Уэнрайта), и она, став на подветренную сторону к нашей последней лодке, спустила все свои лодки. Маневр «Македонии» испортил нам охоту. Позади нас не было ни одного котика, а впереди нас линия из четырнадцати лодок точно огромная метла сметала находившееся там стадо.

Наши лодки могли охотиться только на пространстве двух или трех миль и скоро вернулись на «Призрак». Ветер упал, океан становился все спокойнее. Такая погода при наличии большого стада могла бы сделать охоту очень удачной; такие счастливые условия охоты бывают очень редко. Гребцы, рулевые и охотники кипели от злобы. Каждый чувствовал себя ограбленным, и со всех лодок неслись ругань и проклятия. Если бы проклятие имело силу, то «Смерть-Ларсен» был бы обречен на верную гибель.

— Будь он проклят навеки, разрази его на месте!—ворчал Луис, убирая парус на своей лодке и сверкая глазами.

— Прислушайтесь к ним, и вам нетрудно будет решить, что больше всего волнует их души,—сказал Вульф Ларсен.—Вера? Любовь? Высокие идеалы? Добро? Красота? Справедливость?

— В них оскорблено врожденное человеку чувство права,—сказала Мод Брюстер, присоединяясь к разговору.

Она стояла в нескольких шагах от нас, держась рукой за ванты, мягко покачиваясь в такт легкой качке шхуны. Она не повысила голоса, но меня поразила его ясность и звучность. Как он ласкал мой слух! Боясь выдать себя, я едва смел глядеть на нее. Она была в мальчишеской фуражке, и ее светло-каштановые волосы, собранные в слабый, пушистый узел, на котором отражалось солнце, походили на сияние вокруг нежного овала ее лица. Она была очаровательна и вместе с тем казалась какой-то неземной, бесплотной женщиной, почти святой. Все мое прежнее преклонение перед жизнью возвратилось ко мне при одном взгляде на это дивное воплощение ее, а холодное объяснение смысла жизни, которое делал Вульф Ларсен, показалось бледным и смешным.

— Вы сентиментальны, как мистер Ван-Вейден,—сказал он с презрительной улыбкой.—Эти люди разражаются проклятиями только потому, что не исполняются их желания. Вот и все. А чего они желают? Вкусно поесть и мягко поспать на берегу, что возможно только при кругленькой сумме в кармане. Они хотят вина и женщин,—

разгула и животных удовольствий. Вот и все их высшие стремления, их «идеалы», если хотите. То, что они так ярко проявляют свои чувства,—не особенно трогательное зрелище. Они задеты за живое потому, что затронуты их кошельки: наложить руки на их кошельки значит наложить руки на их души.

— Но по вашему поведению мало заметно, что на ваш кошелек наложили руки,—сказала она с улыбкой.

— Ну, это случайно я веду себя несколько иначе, но мой кошелек очень задет, а значит задета и душа. Принимая во внимание цены шкурок на лондонском рынке и высчитывая, сколько котиков мы могли бы убить, если бы не подвернулась «Македония», мы должны определить потери «Призрака» в полторы тысячи долларов.

— Вы говорите это так спокойно...—начала она.

— Нет, я не чувствую себя спокойным,—перебил он ее.—Я убил бы этого человека, который грабит меня. Да, да, я знаю, что этот человек мой брат, но это только сентименты! Это не для меня!

Его лицо внезапно изменилось. Голос стал менее резким, и в нем зазвучала искренность.

— Вы, сентиментальные люди, должны быть счастливы, глубоко счастливы, думая, что все на свете хорошо. А находя все хорошим, вы считаете хорошими и себя. Ну, скажите мне вы оба,—считаете ли вы меня хорошим человеком?

— На вас приятно смотреть,—отвечал я.

— В вас все задатки, чтобы быть хорошим человеком,—сказала Мод Брюстер.

— Вот ваш ответ!—сердито крикнул он.—Ваши слова—пустой звук для меня. В том, что вы сказали, нет ни ясности, ни остроты, ни определенности. Вашу мысль нельзя ухватить. По правде говоря, это даже и не мысль. Это просто чувство, сентименты, нечто основанное на иллюзии, а вовсе не продукт интеллекта.

Но по мере того как он говорил, голос его снова сделался мягким, и в нем послышались нотки доверия.

— Знаете,—продолжал он,—я иногда ловлю себя на желании стать таким же, как и вы, быть слепым к фактам жизни, поверить в иллюзии и фантазии. Они лгут, конечно,—все лгут, и противны рассудку, но все же рассудок мой говорит мне, что мечтать и жить иллюзиями большее наслаждение, чем жить «без иллюзий». А наслаждение, в конце концов,—единственная награда жизни. Без наслаждения жизнь ничего не стоит. Взять на себя труд жить и не получить за это платы—хуже, чем смерть. Кто умеет получать наибольшее количество наслаждений, тот и живет лучше всех,—а ваши мечты и фантазии менее нарушают ваш покой и более вознаграждают вас, чем меня мои факты.

В раздумьи он медленно покачал головой.

— Я часто сомневаюсь в ценности разума. Мечты дают больше удовлетворения. Эмоциональное наслаждение более наполняет жизнь и более продолжительно, чем интеллектуальное; кроме того, за момент интеллектуального наслаждения платишь разочарованием. За эмоциональным же наслаждением следует только некоторая усталость, которая быстро исчезает. Я завидую вам! Я завидую вам!

Он остановился, и на его губах появилась вдруг одна из его странных насмешливых улыбок.

— Но я завидую вам рассудком,—добавил он,—а не сердцем, заметьте это. Мне диктует это разум. Зависть—продукт интеллекта. Я похож в этом отношении на трезвого человека, который смотрит на пьяницу и, будучи страшно утомлен, жалеет, что он сам не пьян.

— Или на умного человека,—засмеялся я,—который глядит на толпу дураков и тоже желает быть дураком.

— Пожалуй, что и так,—ответил он.—Вы двое—блаженные обанкротившиеся дураки. В вашем бумажнике нет реальных ценностей.

— Однако, мы тратим не меньше вас,—вставила Мод Брюстер.

— И даже больше меня, потому что это вам ничего не стоит.

— И потому что мы рассчитываем на вечность,—добавила она.

— Поступая так, вы получаете большую ценность, тратя то, чего у вас нет, чем я, тратя добытое мною в поте лица.

— Тогда почему же вы не перемените основы вашей денежной системы?—спросила она насмешливо.

Он взглянул на нее как будто с надеждой, а затем с грустью ответил:

— Слишком поздно. И хотел бы, да не могу. Мой кошелек набит монетой старой чеканки, а это упрямая вещь. Я никогда не смогу признать какую-нибудь другую монету за настоящую.

Он замолк, и его взгляд, безучастно скользнув по Мод Брюстер, потерялся на поверхности спокойного моря. Его первобытная меланхолия снова ожила в нем. Он довел себя своими размышлениями до хандры, и теперь можно было ждать, что в него вселится бес и станет бунтовать. Я вспомнил Чарли Фересета и понял, что мрачность этого человека есть кара, которую каждый материалист несет за свое материалистическое мировоззрение.

ГЛАВА XXV

— Вы были на палубе, мистер Ван-Вейден,—обратился ко мне на следующее утро за завтраком Вульф Ларсен.—Ну что, какова погода?

— Довольно ясно,—ответил я, поглядев на солнечные лучи, врывавшиеся в кают-компанию через открытый иллюминатор.—

Свежий западный ветер, обещающий окрепнуть, если предсказание Луиса оправдается.

Он не без удовольствия кивнул.

— А как туман?

— На севере и северо-западе густая полоса тумана.

Он снова кивнул, с еще более удовлетворенным видом.

— А что «Македония»?

— Ее не видно.

Я готов был поклясться, что его лицо сразу омрачилось от этого известия, но почему именно он был так разочарован, я не мог догадаться.

Но скоро я узнал и это.

— Дым!—донесся голос с палубы.

И лицо его вдруг прояснилось.

— Отлично!—воскликнул он, выскочил из-за стола и побежал на палубу, туда, где на баке завтракали в своем изгнании охотники.

Мод Брюстер и я почти не прикоснулись к еде и с тревогой глядели друг на друга, прислушиваясь к голосу Вульфа Ларсена, долетавшему до нас сквозь перегородку. Он говорил долго. Перегородка была слишком толста, и мы не могли расслышать его слов, но они задели охотников за живое, потому что вслед за ними раздались радостные возгласы.

По долетавшим с палубы звукам я догадался, что матросы вызваны наверх и приготовляются спускать лодки. Мод Брюстер вышла со мной на палубу, но я оставил ее на мостике у кормы, откуда она могла видеть все и не быть замеченной. Матросы, очевидно, уже знали о том, что им предстояло делать, и энергия, с которой они работали, говорила об их энтузиазме. Охотники толпою высыпали на палубу с ружьями и патронами и, что всего страннее, еще и с винтовками. Винтовки берутся в лодки редко, потому что котики, убитые на далеком расстоянии из винтовок, тонут раньше, чем лодки успевают подойти к ним. Но в этот день каждый из охотников имел при себе винтовку и полный патронташ зарядов. Я заметил, что охотники злорадно ухмылялись каждый раз, как появлялся дымок «Македонии», становившийся все заметнее и поднимавшийся все выше по мере того, как она приближалась к нам.

Все пять лодок были быстро спущены с одного и того же борта, развернулись веером и, как и накануне, взяли курс на север. Я некоторое время с любопытством наблюдал за ними, но в их действиях не было ничего необычайного. Убирали паруса, стреляли в котиков, ставили паруса вновь и вообще делали все то, к чему я уже привык. «Македония» повторила вчерашний маневр, вытянув опять все свои лодки в линию перед нашими, «выметая» море перед

нами. Четырнадцать лодок вообще требуют для охоты значительного пространства на океане, и пароход, отрезав путь нашим лодкам, направился на северо-восток и по пути спустил еще несколько лодок.

— В чем дело?—спросил я у Вульфа Ларсена, не в силах долее скрывать свое любопытство.

— Это вас не касается,—ответил он угрюмо.—Не тысячу лет будете ждать, узнаете! А пока молитесь, чтобы дул хороший ветер. Впрочем, извольте, я скажу вам. Я собираюсь полечить своего братца его же собственным лекарством. Одним словом, я хочу ему преподнести свинство сам, и не на один только день, а на весь остаток сезона. Конечно, если повезет.

— А если нет?—задал я вопрос.

— Этого не может быть,—усмехнулся он.—Нам должно повезти, или же мы погибли.

Он стал на руль, а я отправился в свой лазарет на баке, где у меня лежали двое калек—Нильсон и Томас Магридж. Как и нужно было ожидать, Нильсон был счастлив и весел, потому что его сломанная нога хорошо срасталась, а повар находился в черной меланхолии, и я почувствовал к нему искреннее сострадание. Меня поражало, что он все еще жив и цепляется за жизнь. Ужасные пережитые им муки сделали из его слабого тела какие-то жалкие обломки, точно после кораблекрушения, и все-таки в нем упрямо горела искра жизни.

— С искусственной ногой,—теперь их делают очень хорошо,—вы до конца ваших дней сможете ковылять по палубе,—сказал я ему весело.

Но ответ его был серьезен и даже, я сказал бы, торжественен:

— Я не знаю, о чем вы говорите, мистер Ван-Вейден,—я знаю одно: я буду счастлив только тогда, когда издохнет этот проклятый кровожадный пес. Он не должен пережить меня. Он не имеет права оставаться в живых. Как говорит священное писание, «он умрет позорной смертью». А я прибавлю: аминь, и проклятие его душе.

Когда я вернулся на палубу, то увидел, что Вульф Ларсен правит одной рукой, а в другой держит бинокль и изучает расположение лодок и, главным образом, маневры «Македонии». Единственной заметной переменой было то, что наши лодки круто повернули к ветру и взяли курс на северо-запад. Однако, я не мог понять целесообразность этого маневра, потому что открытое море все еще было загорожено пятью лодками с «Македонии». Они медленно делали диверсию на запад, удаляясь от остальных своих лодок. Наши лодки шли на веслах и под парусами; они быстро приближались к лодкам «Македонии».

Дым с «Македонии» теперь казался туманным пятнышком на северо-восточной части горизонта, самого же судна не было видно. До сих пор мы подвигались вперед не спеша, убрав часть парусов, и раза два на короткое время даже ложились в дрейф. Теперь все изменилось. Все паруса были поставлены, и Вульф Ларсен пустил «Призрак» полным ходом. Мы прошли мимо наших лодок и направились к ближайшей лодке враждебной линии.

— Уберите кливер, мистер Ван-Вейден,—скомандовал Ларсен.

Я побежал исполнять приказание, и мы пронеслись мимо лодок в каких-нибудь ста футах. Сидевшие в лодке три человека подозрительно посмотрели на нас. Это были уже бывалые моряки, они знали свою вину и знали Вульфа Ларсена, хотя бы понаслышке. Я заметил, что у одного охотника, громадного скандинавца, сидевшего на носу, лежала на коленях винтовка. Казалось бы, что место ей было скорее на скамье, чем на коленях. Когда же наша команда поровнялась с ними, Вульф Ларсен послал им приветствие рукой и закричал:

— Идите к нам на шхуну поболтать!

Такие посещения очень приняты среди моряков промысловых судов.

«Призрак» описал дугу и повернул к ветру.

— Пожалуйста, останьтесь на палубе, мисс Брюстер,—сказал Вульф Ларсен, направляясь навстречу к своим гостям.—И вы тоже, мистер Ван-Вейден.

Лодка убрала парус и пошла рядом с нами. Золотобородый великан-охотник перепрыгнул через борт к нам на палубу. При всем своем богатырском сложении, он держался несколько тревожно, сомнение и недоверие ясно читались на его лице. Лицо у него было открытое, и на нем сразу появилось успокоение, как только он убедился, что нас на палубе только двое—Вульф Ларсен и я. Затем он многозначительно посмотрел на своих двух товарищей, которые явились к нам вслед за ним. В сущности, ему нечего было бояться. В сравнении с Вульфом Ларсеном он казался Голиафом [1]). Ростом он был, вероятно, в шесть футов и восемь или девять дюймов и весил, как я впоследствии узнал, двести сорок фунтов. И при этом совсем не было жира: кости да мускулы.

Когда у входа в кают-компанию Вульф Ларсен пригласил его вниз, то на лице у него вновь появилось выражение недоверия. Однако, оглядев своего хозяина, тоже крупного человека, но казавшегося в сравнении с ним карликом, он перестал колебаться и спустился

---

[1]) Библейский великан, павший в единоборстве с Давидом, убившим его из пращи.

вниз за капитаном. Тем временем два его матроса, как это обыкновенно водится на судах, отправились на бак.

Вдруг из каюты послышался страшный рев, сопровождавшийся звуками яростной борьбы. Это сцепились лев и леопард. Ревел лев. Вульф Ларсен был леопардом.

— Вы видите, как священно у нас гостеприимство?—с горечью обратился я к Мод Брюстер.

Она утвердительно кивнула, и я заметил на ее лице признаки той же дурноты, которая мучила меня в первые недели моего пребывания на «Призраке», при виде физического насилия.

— Не лучше ли вам уйти на нос,—посоветовал я,—ну, хотя бы в каюту для команды, пока все это кончится?

Она отрицательно покачала головой и грустно посмотрела на меня. Она не испытывала страха, но была ошеломлена этими зверскими нравами.

— Я прошу вас понять,—сказал я, воспользовавшись случаем,—что какую бы роль мне ни пришлось играть в том, что здесь происходит или должно еще произойти, я принужден буду выполнить ее до конца,—я не могу поступить иначе, если только мы с вами хотим спастись. Это очень тяжело для меня,—прибавил я.

— Я понимаю вас,—ответила она каким-то слабым, далеким голосом, и по ее глазам я понял, что она действительно поняла меня.

Доносившиеся снизу крики скоро замолкли. Затем Вульф Ларсен вышел на палубу один. На его бронзовом лице горел легкий румянец, но каких-либо других признаков борьбы видно не было.

— Пошлите сюда тех двух людей, мистер Ван-Вейден,—обратился он ко мне.

Я повиновался, и через минуту они стояли перед ним.

— Поднимите вашу лодку сюда,—приказал он им.—Ваш охотник решил остаться на некоторое время и не желает, чтобы она зря колотилась о борт.

Они не решались исполнить его приказание.

— Поднять лодку, говорю я!—повторил он строго.

Они медленно принялись за дело.

— Кто знает,—продолжал он ласковым голосом, но с затаенной угрозой,—может быть, вы будете плавать теперь со мной! Так уж лучше давайте будем друзьями. Ну, живо! «Смерть-Ларсен» заставляет вас работать живее, вы это знаете.

Под его командой их движения стали быстрее, и как только лодка была поднята на шхуну, он послал меня на нос, а сам стал у руля и направил «Призрак» ко второй лодке «Македонии».

По пути, пользуясь свободной минутой, я посмотрел на море, желая узнать, что происходит теперь с лодками. Третья лодка «Македонии»

была атакована двумя нашими лодками; четвертая—остальными тремя; пятая, сделав поворот, шла на выручку к своим. На широком пространстве шло сражение: слышалась резкая трескотня винтовок; поднявшийся ветер развел быструю мелкую волну—это мешало метко стрелять. То-и-дело, лавируя, мы видели, как пули со свистом прыгали с волны на волну.

Лодка, которую мы преследовали, ринулась против ветра, стараясь спастись от нас, и тоже приняла участие в перестрелке.

Наблюдение за парусами все же давало мне время следить за происходившим: Вульф Ларсен приказал двум чужим матросам итти на бак. Они угрюмо подчинились. Затем он распорядился, чтобы мисс Брюстер сошла вниз, и улыбнулся, когда в ее глазах вспыхнул ужас.

— Ничего страшного вы там не найдете,—сказал он,—за исключением невредимого человека, для безопасности привязанного к основанию мачты. Пули будут прилетать на борт, а я не желаю, чтобы вы были убиты.

И действительно, в этот самый момент одна из пуль, ударившись о спицу штурвала, между руками Ларсена, отлетела от нее рикошетом.

— Вот видите!—обратился он к ней.—Возьмите штурвал, мистер Ван-Вейден,—прибавил он, повернувшись ко мне.

Мод Брюстер спустилась по трапу на несколько ступенек вниз, но остановилась так, что голова ее была видна. Вульф Ларсен достал винтовку и зарядил ее. Я взглядом просил мисс Брюстер сойти вниз, но она с улыбкой сказала:

— Может быть, мы, слабые обитатели суши, и не умеем стоять на собственных ногах, но нам не трудно доказать капитану Ларсену, что мы так же храбры, как и он.

Он бросил на нее быстрый взгляд, полный удивления.

— Вы нравитесь мне за эти слова на сто процентов больше,—сказал он.—Писательница, умница, да еще и храбрая. Вы хоть и синий чулок, но достойны стать женой вождя пиратов. Впрочем, поговорим об этом позже,—улыбнулся он, когда пуля вдруг звонко ударилась о стенку рубки.

Я увидел снова золотистый цвет в его глазах и ужас в глазах Мод Брюстер.

— Ну, мы храбрее,—поспешил я вмешаться в разговор.—По крайней мере, говоря о себе, я могу утверждать, что я храбрее, чем капитан Ларсен.

Теперь он удостоил меня своим быстрым взглядом. Повидимому, он еще не мог отдать себе отчета, шучу я или нет. Я повернул штурвал на три или четыре румба, чтобы поставить парус под

ветер и дать устойчивость «Призраку». Вульф Ларсен ожидал разъяснения, и я указал ему на свои колени.

— Вы можете заметить здесь небольшую дрожь,—сказал я.— Это потому, что я боюсь, боится во мне моя плоть; боюсь я и рассудком, потому что не хочу еще умирать. Но мой дух властвует над дрожащей плотью и над изнеможенным рассудком. Я более чем храбр. Я мужествен. Ваша плоть не боится. Вас нельзя испугать. Встретиться лицом к лицу с опасностью для вас только радость. Быть может, вы не знаете страха, мистер Ларсен, но вы должны согласиться, что настоящая храбрость—на моей стороне.

— Вы правы,—согласился он.—Я никогда не думал об этом. Поставим обратный вопрос. Если вы храбрее, чем я, то следует ли отсюда, что я трусливее вас?

Мы оба засмеялись над этим абсурдом. Он спустился на палубу и положил винтовку на перила. Мы теперь находились в полумиле от стрелявших в нас лодок. Он тщательно прицелился и дал три выстрела. Первая пуля упала в пятидесяти футах от носа лодки, вторая пролетела у самого борта, а после третьей рулевой выпустил руль и повалился на дно.

— Ну, это немножко вразумит их,—сказал Вульф Ларсен, вставая.—Я не хочу ранить охотника; гребец, надеюсь, не умеет править, а охотник не в состоянии будет в одно и то же время и отстреливаться, и править.

Его соображение скоро подтвердилось, так как в эту самую минуту ветер подхватил лодку, и охотнику пришлось перепрыгнуть на корму и взяться за руль. С этой лодки стрельбы уже не было, хотя с других лодок все еще звонко трещали винтовки.

Охотнику удалось снова направить лодку по ветру, но мы быстро догоняли его, делая по крайней мере по два фута на каждый его один. Когда мы были друг от друга в каких-нибудь двадцати футах, я увидел, как гребец передал охотнику винтовку. Вульф Ларсен отошел на середину палубы и взял бухту каната. Затем он перегнулся через перила, все еще держа винтовку наперевес. Дважды я видел, как охотник, управляя рулем одной рукой, тянулся за винтовкой другой и не решался взять ее. Мы шли теперь бок-о-бок.

— Эй, ты!—вдруг крикнул Вульф Ларсен гребцу.—Принимай конец!

И он бросил им канат. Канат шлепнулся всей тяжестью и чуть не сбил с борта гребца, но тот не исполнил приказа. Вместо того, чтобы принять канат, он смотрел на охотника. Охотник сам не знал, что ему делать. Винтовка лежала у него на коленях, но если бы он даже и бросил руль, чтобы иметь возможность стрелять, то его лодка повернулась бы и столкнулась со шхуной. К тому же он видел,

что Вульф Ларсен целился в него, и знал, что если только возьмется за свою винтовку, то тотчас же будет им убит.

— Прими! Чего уж тут!..—тихо сказал он гребцу.

Гребец повиновался и привязал конец каната к передней скамье, а когда канат натянулся, стал травить его. Лодка отошла, и охотник дал ей курс, параллельный с «Призраком», в расстоянии всего каких-нибудь двадцати футов.

— Теперь убирайте парус и подходите к борту!—скомандовал Вульф Ларсен.

Он все еще не выпускал из руки винтовки и сам бросил им другой рукой тали. Когда оба уцелевшие моряка приготовились подняться к нам на борт, охотник вдруг взял в руки свою винтовку, делая вид, что желает спрятать ее.

— Бросьте!—крикнул ему Вульф Ларсен.

И охотник отшвырнул ее, точно она обожгла его.

Очутившись на шхуне, оба пленника подняли свою лодку на палубу и, по распоряжению Вульфа Ларсена, отнесли раненого на бак.

— Если бы все наши пять лодок обработали дело так, как я и вы,—обратился ко мне Вульф Ларсен,—то у нас оказалась бы большая команда.

— Ну, а человек, в которого вы стреляли?—с дрожью в голосе спросила Мод Брюстер.—Что он? Надеюсь...

— В плечо!..—ответил Ларсен.—Ничего серьезного. Мистер Ван-Вейден поставит его на ноги в три-четыре недели. Но едва ли он поставит на ноги вон тех парней,—добавил он, указывая на третью лодку «Македонии».—Это работа Горнера и Смока. Я ведь говорил им, что нам нужны живые люди, а не трупы! Но удовольствие пострелять в живую цель, оказывается, очень захватывающая вещь для хорошего стрелка. Вы когда-нибудь испытывали это, мистер Ван-Вейден?

Я покачал головой и посмотрел на «работу» охотников. Лодка беспомощно качалась, точно пьяная, переваливаясь по волнам с гребня на гребень, с парусом, прикрепленным к мачте за правые углы. Охотник и гребец лежали на дне, а рулевой поперек лодки, бороздя руками воду; его голова моталась из стороны в сторону.

— Не глядите, мисс Брюстер, отвернитесь, пожалуйста!—стал я упрашивать ее, и был рад, что она послушалась.

— Держите прямо в центр сражения, мистер Ван-Вейден!—скомандовал Вульф Ларсен.

Как только мы подошли к лодкам, стрельба прекратилась, и мы поняли, что битва кончилась. Две неприятельские лодки были захвачены нашими пятью, и все семь ждали, когда мы их подберем.

— Смотрите сюда,—невольно воскликнул я, указывая на северо-восток.

На горизонте показался дым; это была «Македония».

— Да, я слежу за ней,—спокойно ответил Вульф Ларсен.

Он измерил глазами расстояние до границы тумана и постоял минуту, чтобы определить силу ветра.

— Ладно, сойдет!—продолжал он.—Но вы можете биться об заклад, что мой проклятый братец догадался, в чем дело, и собирается дать нам реванш. Смотрите, смотрите!

Дымок вдруг стал расти и сделался густо-черным.

— Ну, я тебя проведу, дорогой братец,—проговорил Ларсен сквозь зубы.—Достанется тебе на орехи! Я доведу тебя до того, что все твои старые машины взлетят на воздух.

Мы легли в дрейф, и началась общая суета. Матросы поднимали лодки на палубу. Как только пленники появлялись на шхуне, их немедленно отводили на бак, под конвоем наших охотников. Матросы размещали лодки на палубе. Мы шли уже полным ходом, когда последняя лодка была поднята.

И действительно, нужно было спешить. Выпуская из трубы клубы черного дыма, «Македония» мчалась на нас. Не обращая внимания на свои уцелевшие лодки, она переменила курс, чтобы отрезать нам путь. Наши курсы представляли как бы стороны треугольника, вершина которого касалась тумана. Именно здесь, у самого тумана, «Македония» и надеялась нас поймать. Тактика же «Призрака» сводилась к тому, чтобы достигнуть этой точки раньше «Македонии».

Вульф Ларсен стоял на руле и блестящими глазами следил за подробностями гонки. Он изучал бег «Македонии», осматривал море, улавливал признаки ослабления или усиления ветра, наблюдал за парусами, отдавал приказания, пока, наконец, не довел «Призрака» до предельной скорости. Все ссоры и злоба были забыты, и я был поражен той готовностью, с которой люди, так долго и упорно ненавидевшие его за его жестокость, исполняли малейшее его приказание. И, странно сказать, я почему-то вспомнил несчастного Джонсона в то время, как мы прыгали по волнам; я пожалел, что он не может полюбоваться нами. Он любил «Призрак» и всегда восхищался его быстроходностью.

— Запаситесь-ка винтовками, ребята!—обратился Вульф Ларсен к охотникам.

И все пять человек, с ружьями в руках, выстроились на подветренной стороне и стали ожидать команды.

«Македония» была теперь в одной миле от нас. Черный дым стлался из ее трубы под прямым углом,—она неслась, развивая

скорость до семнадцати узлов в час. Мы же делали не более девяти узлов, но стена тумана была уже близка.

Вдруг на палубе «Македонии» показался дымок, мы услышали выстрел, и посреди нашего грота образовалась круглая дыра. По нас выстрелили из небольшой пушки, которая, как мы раньше слышали, находилась у них на борту. Наши матросы, столпившиеся на палубе, замахали шапками и весело закричали. Вновь показался дымок, и последовал второй выстрел. На этот раз ядро упало футах в двадцати от нашей кормы. Но ружейного огня не было, вероятно потому, что все охотники «Македонии» находились на лодках или у нас в плену. Когда между обоими судами расстояние сократилось до полумили, грянул третий выстрел, и ядро снова пробило дыру в нашем парусе. Вслед за этим мы юркнули в туман. Он окружил нас со всех сторон, окутав своей густой, влажной пеленой и скрыв нас от «Македонии».

Внезапность перехода была поразительна. За минуту перед этим мы плыли при ярком солнечном свете, над нами было голубое небо, море колыхалось и сверкало до самого горизонта, и пароход, извергавший дым, огонь и губительные снаряды, бешено гнался за нами. И вдруг, точно по мановению волшебного жезла, солнце исчезло, небо скрылось, исчезли даже верхушки наших мачт. Седой туман осел на нас, как капли дождя. Каждая шерстинка на наших одеждах, каждый волосок на наших головах и бородах украсился, точно драгоценным камнем, хрустальной капелькой. Снасти были влажны, вода с них капала на наши головы. Я испытывал стеснение в груди. Ум отказывался признать существование другого мира за этой влажной пеленой, которая окружала нас со всех сторон. Весь мир, вся вселенная сосредоточилась здесь, вокруг нас, и пределы мира были так близки, что, казалось, их можно было раздвинуть руками. Все за этой серой стеной было сном, воспоминанием сна.

Это было колдовство, странное колдовство. Я посмотрел на Мод Брюстер и понял, что и она испытывала то же, что и я. Затем я перевел глаза на Вульфа Ларсена, но в нем не произошло никакой перемены. Он был всецело поглощен своей задачей. Твердо держал он рулевое колесо, и мне вдруг представилось, что это—олицетворенное время, отсчитывающее минуты вместе с движением «Призрака».

— Ступайте на нос и возьмите круто под ветер, но без малейшего шума,—сказал он мне, понизив голос.—Следите за марселем в первую очередь. Пошлите людей к парусам. Но чтобы не скрипели блоки и не было слышно никаких голосов. Тишина,—понимаете,—абсолютная тишина!

Приказ был выполнен, и «Призрак» помчался, накренившись левым бортом, в полнейшей тишине. А то немногое, что ее нарушало,

а именно случайное похлопывание рифов и поскрипывание шкивов [1]) на блоках, казалось как бы исходившим от привидения, блуждавшего под плотной, непроницаемой мантией, за которой мы скрывались.

Едва мы выполнили этот маневр, как туман вдруг рассеялся, и мы снова оказались под ярким солнечным светом, на безбрежном море, волновавшемся перед нами до самого горизонта. Но океан был пуст. Проклятая «Македония» не бороздила его поверхности и ее черный дым не коптил неба.

Вульф Ларсен направил шхуну вдоль края тумана. Теперь его хитрость была понятна. Он вошел в туман с наветренной стороны парохода, а когда пароход глупо последовал за ним туда же в туман, чтобы настигнуть его, он сделал оборот и выскочил из своего убежища и теперь шел вдоль границы тумана, чтобы снова войти в туман и оказаться с подветренной стороны парохода. При удачном исходе такого маневра брату Вульфа Ларсена было бы найти нас труднее, чем иголку в стоге сена.

Мы мчались недолго. Мы вновь стрелою юркнули в туман. Но когда мы входили в него, я мог бы поклясться, что видел пароход, выползавший из тумана с наветренной стороны. Я бросил взгляд на Вульфа Ларсена. Мы уже потонули в густом тумане, но он кивнул мне. Он тоже видел. «Македония» догадалась, в чем состоял маневр, но упустила момент, чтобы перехватить нас. Не могло быть никакого сомнения, что мы ускользнули незамеченными.

— Братцу долго не выдержать,—сказал Вульф Ларсен.—Ему придется вернуться к остальным своим лодкам. Поставьте когонибудь на руль, мистер Ван-Вейден, все время держитесь этого же курса и назначьте вахту, потому что нам не придется отдыхать сегодня всю ночь. Я бы дал сто долларов, чтобы побывать на «Македонии» хоть пять минут и послушать, как ругается мой братец.

— А теперь, мистер Ван-Вейден,—обратился он ко мне, передав штурвал назначенному мною матросу,—нам нужно угостить наших новых гостей. Выдайте охотникам как можно больше виски и пошлите несколько бутылок на бак. Держу пари, завтра же охотники будут на нашей стороне и станут охотиться с Вульфом Ларсеном, или «Волком-Ларсеном», с таким же рвением, с каким они охотились с его братом «Смертью-Ларсеном».

— А они не убегут от нас, как Уэнрайт?

Он хитро улыбнулся.

— Не убегут, этого не допустят наши старые охотники. Я уже обещал им по доллару с каждой шкуры, добытой нашими новыми

---

[1]) Колеса в блоках.

охотниками. По крайней мере половина их сегодняшнего энтузиазма основывалась именно на этом. А теперь отправляйтесь-ка в наш лазарет. Там, должно быть, вас поджидает много раненых.

ГЛАВА XXVI

Вульф Ларсен освободил меня от обязанности раздавать виски и занялся этим сам. Когда я возился на баке с новыми ранеными, бутылки уже заходили между командой. Я видел раньше, как пьют виски в клубе—обыкновенно виски с содовой водой,—но я никогда не видел, чтобы пили так, как пили эти люди: из ковшей, из кружек и даже прямо из бутылок; одного такого глотка достаточно было, чтобы охмелеть, но они не останавливались на одном или на двух глотках,—они пили и пили, и новые бутылки непрерывно появлялись на баке.

Пили все, пили даже раненые; Уфти-Уфти, который помогал мне, тоже был пьян. Только один Луис воздерживался, всего раз осторожно прикоснулся губами к стакану, хотя в веселости не уступал другим. Это была настоящая оргия. Все галдели, рассказывали друг другу о сражении, спорили об его подробностях, или же, размякнув, вдруг начинали уверять своих недавних врагов в искренней дружбе. Пленники и победители икали на плечах друг у друга и клялись в глубоком уважении и преданности. Они плакали горькими слезами, жалуясь на прошлое и на те обиды, которые им приходилось переносить под железной рукой Вульфа Ларсена. И все проклинали его и рассказывали ужасы про его жестокость.

Это было странное и страшное зрелище: небольшая каюта с койками по стенам, качающийся пол, скрипящие стены, тусклое освещение, то удлиняющее, то чудовищно укорачивающее тени, тяжелый воздух, пропитанный табачным дымом и запахом иодоформа и человеческих тел, искаженные лица людей, я бы сказал—полулюдей. Я обратил внимание на Уфти-Уфти: он держал конец бинта и глядел на эту сцену бархатными и лучистыми, как у оленя, глазами,—но я знал, что в нем таится жестокий дикарь, несмотря на всю его женственность. Заметил я также и мальчишеское лицо Гаррисона—прежде дорбодушное, а теперь перекосившееся от злобы, когда он стал рассказывать гостям о дьявольской шхуне, на которую они попали, и призывал проклятия на голову Ларсена.

Они говорили о Вульфе Ларсене, и только о Вульфе Ларсене, этом поработителе и мучителе людей, об этой Цирцее [1]) в образе

---

[1]) Цирцея, по греческой мифологии, обратила в свиней спутников Одиссея, сошедших на остров.

мужчины, превратившей всех их в свиней; за глаза и в пьяном виде они его ругали и возмущались. И я подумал: «Неужели же и я стал такой же свиньей? И Мод Брюстер! Нет!» Я гневно заскрежетал зубами, так что матрос, которого я перевязывал, вздрогнул, а Уфти-Уфти посмотрел на меня с любопытством. Я почувствовал в себе прилив новых сил. Моя любовь делала меня гигантом. Теперь я не боялся ничего. Я решил проявлять свою волю во всем до конца, вопреки Вульфу Ларсену и прожитым среди книг тридцати пяти годам моей жизни. Все кончится хорошо. Я добьюсь того, что все кончится хорошо. И полный энтузиазма и решимости, я вышел из этого ада и поднялся на палубу, окутанную призрачным ночным туманом. Здесь воздух был чист и спокоен.

В лазарете, где лежали два раненых охотника, было повторение того, что происходило на баке, хотя тут не проклинали Вульфа Ларсена; но и отсюда я выскочил на палубу с большим облегчением и отправился в кают-компанию. Ужин был готов, и Вульф Ларсен с Мод поджидали меня.

В то время как все на шхуне были пьяны, капитан оставался трезвым. Он не выпил ни капли. Он не решался пить при создавшихся условиях, так как мог полагаться только на меня и Луиса, который стоял теперь у руля. Мы пробирались сквозь туман наудачу и погасив огни. Меня очень удивило, что Вульф Ларсен устроил для экипажа такое пиршество, но, очевидно, он знал хорошо их психологию и способы превратить в дружбу то, что началось кровопролитием.

Победа над «Смертью-Ларсеном», казалось, произвела на него большое впечатление. Накануне вечером он своими рассуждениями довел себя до меланхолии, и я ожидал одного из его припадков гнева. Но все обошлось благополучно, и он находился в превосходном настроении. Возможно, что обычная реакция не наступила только потому, что ему удалось захватить в плен так много охотников. Во всяком случае меланхолия прошла, а дьявол не просыпался. Так я думал в ту минуту, но—увы!—как мало я знал его! Уже тогда он замышлял нападение еще более ужасное, чем предыдущее.

Как я сказал, он был в отличном расположении духа, когда я вошел в каюту. У него не было головной боли уже несколько недель, в голубых глазах его светилось небо, от его бронзового лица веяло цветущим здоровьем. Жизнь мощным потоком струилась по его жилам. В ожидании меня он вел оживленную беседу с Мод. Темой их разговора был соблазн, и из немногих слов, которые я успел услышать, я вывел заключение, что он признавал настоящим соблазном лишь такой, когда человек окончательно поддался ему и пал.

— Судите сами,—говорил он,—каждый человек, по моему мнению, действует согласно своим желаниям. А желаний у него всегда много. Одни желания—избежать страданий; другие—получить удовольствие. Но как бы он ни поступал, он всегда действует согласно своим желаниям.

— А если у него появятся вдруг два совершенно противоположных желания,—возразила Мод,—и одно из них мешает удовлетворению другого?

— Вот к этому-то я и клоню разговор,—ответил он.

— Между двумя такими желаниями и должна проявиться душа человека,—продолжала она.—Если это благородная душа, она последует хорошему побуждению, а если нет, то это низменная душа. Все решает душа.

— Вздор и чепуха!—нетерпеливо воскликнул он.—Все решается одним желанием. Представим себе человека, которому в одно и то же время хочется выпить и не хочется быть пьяным. Что он должен делать? Как он должен поступить? Он просто игрушка. Он—раб своих желаний, и, конечно, из двух желаний осилит то, которое будет сильнее,—вот и все. Его душа здесь не при чем. Не может быть двух одинаково сильных желаний. Если в нем победит желание остаться трезвым, то, значит, это желание было в нем сильнее. Соблазн здесь не играл никакой роли, если только...—он остановился, точно его осенила вдруг новая мысль,—если только он не испытывает соблазна остаться трезвым. Ха-ха! А что вы думаете об этом, мистер Ван-Вейден?

— Что оба вы спорите о пустяках,—ответил я.—Душа человека—это его желание. Или лучше: сумма его желаний составляет его душу. Поэтому вы оба неправы. Вы говорите об одних желаниях, независимо от души, а на самом деле душа и желания—одно и то же. Тем не менее мисс Брюстер права в том, что соблазн есть всегда соблазн, побеждает ли его человек или подпадает под его власть. Ветер раздувает огонь и пламя. Желание подобно огню. Как ветром, оно раздувается от одного только вида того, что составляет его предмет, или даже от яркого описания или представления этого предмета. Тут-то и ищите соблазн. Соблазн раздувает желание и страсть. Он может быть не настолько сильным, чтобы человек поддался ему вполне, но как бы он ни действовал, он все-таки остается соблазном и, как вы говорите, может толкать человека и на добро, и на зло.

Я чувствовал гордость, садясь за стол. Мои слова звучали решительно. Они положили конец спору.

Вульф Ларсен был необычайно разговорчив. Такого желания говорить я еще никогда не видел в нем. Точно из него рвалась

на свет энергия, которая искала себе выхода. Через минуту он начал разговор о любви. По обыкновению, он был и здесь материалистом. Мод отстаивала идеалистическую точку зрения. Что касается меня, то я не принимал участия в этом разговоре, а только иногда вставлял несколько слов или вносил поправку.

Вульф Ларсен был блестящ в споре, но Мод, не уступала ему. Иногда я терял нить разговора, залюбовавшись ее лицом. Почти всегда она была бледна, но теперь лицо ее покрылось румянцем и оживилась. Она была очень остроумна, и спор, повидимому, доставлял ей наслаждение. Наслаждался им и Вульф Ларсен. По какому-то случаю, хотя я и не знаю, по какому именно, так как загляделся на один из каштановых локонов Мод, он стал цитировать слова Изольды к Тентажилю из поэмы Свинборна [1]):

Благословенна я средь жен других во всем,
Мне суждено итти всегда своим путем,
И грех прекрасен мой...

Как раньше он сумел подчеркнуть пессимизм у Омара, так теперь он прочел восторг и ликование в строках Свинборна. Читал он стихи правильно и хорошо. И не успел он их окончить, как Луис просунул голову в кают-компанию и зашептал:

— Тише, тише... Туман рассеялся, и впереди виден пароход, виден левый бортовый огонь. Он хочет срезать нам нос, будь он трижды проклят!

Вульф Ларсен выскочил наверх так быстро, что мы не успели последовать за ним. Когда мы присоединились к нему, он уже закрыл люк к каюту, откуда неслось пьяное гоготанье. Туман не исчез, но поднялся выше, заслонив от нас звезды и сделав ночь совершенно непроглядной. Прямо перед нами я увидел ярко горевшие красный и белый огни и расслышал пыхтенье паровой машины. Несомненно, это была «Македония».

Вульф Ларсен вернулся на корму, и мы все трое молча глядели на огни, которые быстро приближались к нам.

— Счастье еще, что он не зажег прожектора!—проговорил Вульф Ларсен.

— А что, если бы я вдруг громко крикнул?—спросил я шопотом.

— Тогда все было бы потеряно,—ответил он.—Но подумали ли вы о том, что произошло бы прежде всего?

---

[1]) Свинборн—английский поэт. Под влиянием утери Англией своей гегемонии (владычества) на море, обострения классовой борьбы и развития социалистического движения в 80-х годах XIX века, часть английской интеллигенции,—в том числе и Свинборн,—перешла в поэзии от эстетизма к революционным темам.

И прежде чем я успел его спросить, что бы это было, он, как горилла, схватил меня за горло и едва заметным движением мускулов дал мне понять, что ему ничего не стоит свернуть мне шею. Он тотчас же отпустил меня, и мы снова стали следить за огнями «Македонии».

— А если бы крикнула я?—спросила Мод.—Что тогда?

— Вы мне слишком нравитесь, чтобы я мог причинить вам вред,—сказал он мягко, даже почти нежно, с лаской в голосе, от которой я содрогнулся.—Но вы все же не делайте этого, потому что я тогда немедленно задушу мистера Ван-Вейдена.

— В таком случае я позволю ей кричать,—сказал я вызывающе.

— Сомневаюсь, чтобы вы так романтически пожертвовали собой,—пробурчал он.

Больше мы не разговаривали, но мы уже настолько привыкли друг к другу, что не чувствовали неловкости от молчания. И когда красный и белый огни скрылись, мы вернулись опять в кают-компанию и принялись за прерванный ужин.

Опять они стали цитировать стихи, и на этот раз Мод прочла «Impenitentia Ultima» Даусона. Она передала их превосходно, но я наблюдал не за ней, а за Вульфом Ларсеном. Меня поразил его взгляд, устремленный на Мод. Он положительно был вне себя, и я заметил бессознательное движение его губ, старавшихся слово в слово повторять то, что она читала. Он прервал ее, когда она продекламировала следующие строки:

Ее глаза будут моим светом, если для меня погаснет солнце,
И скрипки милого голоса будут последним звуком для моих ушей.

— В вашем голосе тоже поют скрипки,—сказал он смело, и глаза его засверкали золотом.

Я был в восторге от того, как она владела собой. Спокойно закончила она стихотворение и затем незаметно перевела разговор на другие, менее опасные темы. И все время я сидел в каком-то полубессознательном состоянии, в обществе человека которого боялся, и женщины, которую любил, а пьяные голоса матросов доносились к нам через перегородку. Стол оставался неубранным. Матрос, заменивший Магриджа, очевидно, отправился к своим товарищам на бак.

Если Вульф Ларсен достигал когда-нибудь вершины своей жизни, то это было именно теперь. Время от времени я отрывался от своих мыслей, чтобы следить за ним, и поражался его изумительной интеллектуальной силе и его страстной проповеди бунтарства. Разговор коснулся мильтоновского Люцифера, и то остроумие, с которым Вульф Ларсен анализировал характер Люцифера, было для меня

откровением его скрытого гения. Он напомнил мне Тэпа, хотя я уверен, что Ларсен никогда и не слышал об этом блестящем, хотя и опасном мыслителе.

— Люцифер защищал совершенно безнадежное дело и не боялся громовых стрел бога,—говорил Вульф Ларсен.—Низвергнутый в ад, он все-таки не был побежден. Треть ангелов он увел за собой от бога, возмутил против бога человека и приобрел для себя и для ада целые поколения людей. За что же, спрашивается, он был изгнан из рая? За то, что был менее храбр, чем бог, менее горд или менее честолюбив? Нет, тысячу раз нет! Бог был более могуществен, но у Люцифера был свободный дух. Служить значило покоряться. Он предпочел страдать, лишь бы сбросить рабство. Он не хотел служить ни богу, ни кому-либо другому. Он не был пешкой. Он стоял на своих собственных ногах. Это была личность.

— Первый анархист!—засмеялась Мод, поднимаясь и собираясь итти к себе в каюту.

— А разве плохо быть анархистом?!—воскликнул Ларсен.

Он тоже поднялся с места, и когда она замешкалась немного у своей двери, он стал перед нею и продекламировал:

...Здесь, по крайней мере,
Свободны мы. Всемогущий
Прогнать отсюда нас не сможет.
Здесь мы будем царствовать спокойно.
А властвовать, хотя бы и в аду,
На выбор мой, достойней подчиненья,
И лучше быть властителем в аду,
Чем на небе рабом!

Это был смелый, вызывающий вопль могучего духа. В каюте все еще звучал его голос, он стоял в величественной позе, бронзовое лицо его сияло, голова была гордо поднята, и глаза с золотистым блеском, дерзкие и в то же время ласковые, смотрели на Мод, стоявшую у двери.

И опять неописуемый страх появился у нее в глазах, и почти шопотом она сказала:

— Вы—Люцифер.

Дверь закрылась, и она исчезла. С минуту он глядел ей вслед, затем пришел в себя и повернулся ко мне.

— Я пойду сменить Луиса у руля,—сказал он отрывисто,—а вы смените меня в полночь. Я позову вас. А теперь идите и засните немного.

Он надел перчатки, нахлобучил фуражку и поднялся наверх, а я последовал его совету и отправился спать. По какой-то непонятной причине, под влиянием странного предчувствия, я не

разделся и лег спать, как был, одетым. Некоторое время я прислушивался к долетавшему, ко мне шуму голосов и думал о своей любви к Мод, но на «Призраке» я давно научился спать крепко при всяких условиях: скоро я уже не слышал пьяных песен и гула голосов, глаза мои сомкнулись, и сознание расплылось в глубоком, полумертвом сне.

Я не знаю, что разбудило меня, но я быстро вскочил на ноги, с неясным предчувствием опасности. Я распахнул дверь. В каюте слабо мерцал свет. Я увидел Мод, мою Мод, в объятиях Вульфа Ларсена. Она билась, вырывалась, тщетно боролась. Я видел напрасные усилия, с какими она отбивалась от него, упершись головой ему в грудь, чтобы вырваться из его объятий. Все это я увидел в один момент и бросился вперед.

Я ударил его кулаком по лицу, когда он поднял голову, но удар оказался слабым. Он зарычал, как дикий зверь, и оттолкнул меня рукой. Это был небрежный толчок, но так велика была его сила, что я отлетел как мячик, ударился о дверь каюты, в которой раньше помещался Магридж, и дверь разлетелась в куски. Я с трудом поднялся на ноги. Охватившее меня бешенство заставило меня забыть о боли, я громко закричал, вытащил кортик и вторично бросился на Ларсена.

Но что-то вдруг случилось. Капитан отшатнулся от Мод. Я подскочил к нему с поднятым ножом, но задержал удар. Меня поразила в нем странная перемена. Мод стояла, опершись о стену каюты и протянув руку вперед, точно ища поддержки; а он шатался, прижимая левую руку ко лбу и прикрывая ею глаза, а правой рукой, точно слепой, шарил вокруг себя. Он нащупал стену, и, повидимому, сознание найденной опоры доставило ему облегчение.

Но я снова рассвирепел. Мне вдруг вспомнились все унижения, все обиды, перенесенные мною от этого человека, все, что выстрадал от него я сам и другие, и я представил ужас того, что он существует. Я бросился на него; у меня помутилось в глазах, и я вонзил ему нож в плечо. Я знал, что нанес ему легкую рану,—сталь скользнула вдоль лопатки,—и я вытащил кортик, чтобы нанести ему второй удар.

Но Мод видела мой первый удар и закричала:

— Не надо! Умоляю вас, не надо!

На миг я опустил руку, но только на один миг. Опять сверкнул нож, и Вульф Ларсен был бы убит, если бы Мод вдруг не стала между нами. Ее руки обвились вокруг меня, ее волосы защекотали мне лицо. Возбуждение все еще не покидало меня, и ярость подступила мне к горлу. Мод храбро посмотрела мне в глаза.

— Ради меня...—умоляла она.

— Ради вас я и убью его!—воскликнул я, стараясь высвободить руку, чтобы не поранить случайно Мод.

— Тсс...—прошептала она и закрыла мне рот рукой. Я мог бы расцеловать ее пальчики. Даже в эту минуту страшного гнева их прикосновение было для меня необыкновенно сладостно.

— Прошу вас! Ну, пожалуйста!

Она обезоружила меня одним своим словом. Я понял, что своей просьбой она будет всегда покорять меня.

Я отступил, вложил кортик в ножны и взглянул на Вульфа Ларсена. Он все еще стоял, прижимая левую руку ко лбу и прикрывая глаза. Голова его была опущена. Казалось, у него отнялись ноги. Его тело как-то вдруг осело, широкие плечи согнулись.

— Ван-Вейден,—позвал он хрипло и с тревогой в голосе.—Ван-Вейден, где вы?

Я посмотрел на Мод. Она не сказала ни слова, но сделала мне знак головой.

— Я здесь,—ответил я, подходя к нему.—Что с вами?

— Помогите мне сесть,—продолжал он все тем же хриплым испуганным голосом.—Я болен, я очен болен, Сутулый,—сказал он, когда я усадил его.

Голова его упала на стол, и он обхватил ее руками. Время от времени он встряхивал ею, точно стараясь стряхнуть боль. Один раз, когда он приподнял ее, я увидел у него на лбу, меж прядей волос, крупные капли пота.

— Я болен, я очень болен,—повторял он.

— Что случилось?—спросил я, положив ему руку на плечо.—Чем я могу помочь вам?

Но он с раздражением отстранил мою руку, и я долго стоял около него молча. Мод смотрела на нас, и ее лицо было искажено страхом. Мы не могли понять, что с ним случилось.

— Сутулый,—сказал он наконец.—Мне нужно лечь в постель. Дайте мне руку. Я скоро поправлюсь. Опять эта проклятая головная боль. Я боюсь ее припадков. Я почувствовал сейчас, будто... Впрочем, не будем об этом говорить! Помогите мне лечь в постель.

Но когда я довел его до койки, он опять закрыл лицо руками, и уходя я слышал, как он бормотал:

— Я болен. Я очень болен...

Мод вопросительно посмотрела на меня, когда я возвратился. Я в недоумении пожал плечами.

— Что-то случилось с ним,—сказал я.—Что именно, не знаю. Он стал каким-то беспомощным и чего-то боится. Должно быть, первый раз за всю свою жизнь. Во всяком случае, мой удар ножом здесь неповинен. Я нанес ему поверхностную рану. Вы сами видели.

Она покачала головой.

— Я ничего не видела,—сказала она.—Для меня все это сплошная тайна. Он как-то внезапно выпустил меня и отшатнулся. Но что теперь мы должны предпринять? Что я должна делать?

— Подождите,—ответил я.—Я сейчас вернусь.

Я вышел на палубу. Луис попрежнему стоял у штурвала.

— Можешь уходить,—сказал я ему.—Отправляйся к товарищам на бак.

Он ушел, и на всей палубе «Призрака» остался я один. Как можно тише убрал я марселя и кливер, подтянул грот. Затем я вернулся к Мод. Приложив палец к губам, чтобы показать ей, что она должна молчать, я вошел в каюту к Вульфу Ларсену. Он сидел все в том же положении, в каком я оставил его, с опущенной головой.

— Не могу ли я что-нибудь сделать для вас?—обратился я к нему.

Он сначала не ответил мне, но, когда я повторил вопрос, сказал:

— Нет, не надо ничего... Оставьте меня одного до утра.

Уходя, я заметил, что голова его снова раскачивалась из стороны в сторону. Мод терпеливо ждала моего возвращения, и я с радостью увидел ее изящную головку и спокойный свет ее глаз. Они были так же спокойны, как и ее душа...

— Доверяете ли вы мне настолько, чтобы предпринять со мной путешествие в шестьсот миль или около того?

— Что вы хотите сказать?..—в свою очередь спросила она, но я знал, что она догадывается, о чем я думаю.

— Вы понимаете меня,—ответил я.—Нам больше ничего не остается, как бежать на простой шлюпке.

— Это вы затеваете для меня?.. Ведь вы здесь в полной безопасности!

— Нет, для нас обоих не остается ничего, кроме лодки,—продолжал я.—Оденьтесь как можно теплее и соберите вещи, которые вам могут понадобиться в дороге. И, пожалуйста, как можно скорее!

Она немедленно отправилась к себе в каюту.

Кладовая помещалась как раз под кают-компанией, и, приподняв люк, и захватив с собой свечу, я спустился вниз и стал обшаривать полки. Я обратил внимание, главным образом, на консервы, и когда я все подготовил, сверху протянулись ручки, явившиеся мне на подмогу.

Мы работали молча. Я запасся также одеялами, перчатками, кожаной одеждой, шапками. Нелегким предприятием было пускаться в путь по бурному, суровому океану, на утлой лодке, и потому запастись теплой непромокаемой одеждой было для нас необходимо.

С лихорадочной поспешностью мы переносили всю эту добычу на палубу и складывали на шканцах [1]). Мод скоро утомилась и несколько раз присаживалась, а затем легла на спину прямо на палубе, раскинув руки. То же, бывало, я помню, делала моя сестра, и я знал, что это скоро поможет Мод. Необходимо было запастись еще и оружием, и я возвратился в каюту к Вульфу Ларсену, чтобы взять у него винтовку и охотничье ружье. Я окликнул его, но он не ответил, хотя все еще не спал и раскачивался из стороны в сторону.

— Прощай, Люцифер,—шепнул я, тихонько запирая за собой дверь.

Нужно было запастись еще и патронами, но это было легкое дело, хотя я и должен был для этого отправиться на бак. Здесь охотники хранили свои ящики с патронами, и из-под самого носа у них—они уже храпели—я унес два ящика.

Теперь надо было спускать лодку на воду. Нелегкое дело для одного человека. Справившись с этим, я удостоверился, что весла, уключины и парус были на месте. Вода также играла немалую роль, и я обыскал каждую лодку. Всех лодок, как я упоминал выше, было девять, так что воды в них нашлось для нас вполне достаточное количество. То же было и с балластом, хотя можно было наверное сказать, что наша лодка будет перегружена теми запасами, которые я брал с собой.

Пока Мод передавала мне провизию и я укладывал ее в лодку, на палубу с бака вышел матрос. Он постоял некоторое время с наветренной стороны (мы находились на подветренной) и медленно направился прямо к нашим вещам, здесь он опять остановился, стал лицом к ветру, спиною к нам. Я слышал, как забилось мое сердце, и нагнулся еще ниже к лодке. Мод растянулась на полу и лежала неподвижно в тени от борта. Но матрос не обернулся и, громко зевнув, побрел обратно к себе на бак.

Двух-трех минут было достаточно, чтобы закончить нагрузку, и я спустил лодку на воду. Когда я помогал Мод перелезть через борт и почувствовал ее около себя, то еле-еле мог сдержать себя, чтобы не крикнуть: «Я люблю, люблю вас!» «Да, Гемфри Ван-Вейден безнадежно влюблен»—думал я, когда спускал Мод в лодку, и ее пальчики уцепились за меня. Я держался одной рукой за борт, а другой держал Мод за талию—и гордился этим подвигом. Такой силы у меня не было несколько месяцев назад, когда я простился с Чарли Фересетом и отправился в Сан-Франциско на злополучном «Мартинце».

---

1) Шканцы—верхняя палуба от грот-мачты до бизань-мачты (т.-е. площадь на палубе между второй и третьей мачтами).

Лодка покачнулась, и ножки Мод коснулись ее дна. Я отрезал тали и прыгнул сам. Мне ни разу в жизни не приходилось грести, но я храбро взялся за весла и после долгих усилий отплыл, наконец, от «Призрака». Затем я принялся за парус. Я видел не раз, как ставили паруса матросы и охотники, но сам делал это впервые. То, что они делали в две минуты, у меня потребовало двадцати, но в конце концов я все наладил и, взявшись за руль, направил лодку по ветру.

— Япония там,—указал я,—прямо против нас!

— Гемфри Ван-Вейден,—обратилась Мод ко мне,—вы смелый человек.

— Нет,—ответил я,—это вы смелая женщина!

Точно сговорившись, мы оба обернулись, чтобы в последний раз взглянуть на «Призрак». Его паруса казались черными в ночной темноте. Рулевое колесо со скрипом повертывалось всякий раз, как по рулю ударяла волна. Затем очертания шхуны становились все туманнее, звуки слабели, и мы остались одни на мрачном просторе моря.

ГЛАВА XXVII

Настало утро, серое и холодное. Лодка шла по ветру, и компас показывал, что мы держались именно того курса, который ведет нас к Японии. Несмотря на теплые перчатки, пальцы у меня окоченели, и я едва мог держать руль. Ноги застыли. Я страстно желал, чтобы, наконец, выглянуло солнце.

Передо мною на дне лодки лежала Мод. К счастью, ей было тепло. Она была укутана толстыми одеялами. Концом одного одеяла я прикрыл ей лицо, чтобы защитить от ночного холода, и мог видеть только неясные очертания ее фигуры и светло-каштановые волосы, выбившиеся из-под одеяла и точно бриллиантами покрытые росой.

Долго я смотрел на прядь ее волос, как смотрит человек на самую дорогую для него вещь. Настолько пристален был мой взгляд, что она задвигалась, наконец, под одеялами, открыла лицо и улыбнулась мне сонными глазами.

— Доброе утро, мистер Ван-Вейден,—сказала она.—Не видно ли берега?

— Нет,—ответил я,—но мы приближаемся к нему со скоростью шести миль в час.

Она сделала разочарованную гримаску.

— Это составит сто сорок четыре мили в сутки,—старался я ее подбодрить.

Лицо ее просияло.

— А еще далеко?—спросила она.

— Вон в той стороне—Сибирь,—указал я ей на запад,—а вот здесь, на юго-западе, в шестистах милях от нас—Япония. При таком ветре мы будем там через пять дней.

— А если будет шторм? Мы сможем его выдержать?

Она имела обыкновение смотреть в глаза так, что ей нужно было говорить правду.

— Да,—ответил я не сразу,—но нам придется тяжеленько.

— А если будет настоящий шторм?

Я покачал головой.

— Надеюсь, что тогда нас подберут промысловые суда,—сказал я.—В этой части океана их бывает много.

— Но вы страшно продрогли!—воскликнула она.—Смотрите! Вы дрожите. Нет, нет! Не спорьте! А я спокойно лежу здесь в тепле, как в печке!

— Я не думаю,—усмехнулся я,—что было бы лучше, если бы мы зябли оба.

— Но было бы лучше, если бы я умела управлять рулем. И я научусь!

Мод села и занялась своим несложным туалетом. Она распустила волосы, и они каштановым облаком окутали ее, скрыв лицо и плечи. Милые каштановые волосы! Мне хотелось поцеловать их, пропустить сквозь пальцы, спрятать в них свое лицо. Я смотрел в восхищении, пока изменившая свой курс лодка и заполоскавший парус не дали мне понять, что я позабыл о своих обязанностях. Идеалист и романтик, каковым я всегда был, несмотря на свою склонность к постоянному анализу, я мало интересовался физической стороной любви. Я думал, что любовь мужчины и женщины была чем-то возвышенным, основанным на той духовной связи, которая соединяла и влекла их души одну к другой. Физическая сторона любви не играла для меня большой роли. Но я понял теперь, что душа выявляется через телесную оболочку, что смотреть, ощущать запах и прикасаться к волосам любимого существа—это то же, что постигать сущность его духа; мысли человека выявляются не только в словах, но и в улыбке и в блеске очей. Чистый дух непознаваем, а вещь только осязается, и той или другой стороне одних своих средств для выражения недостаточно. Иегова [1]) принимал человеческий образ, потому что ему нужно было, чтобы его понимали евреи именно на их языке, а не на его. Поэтому они и понимали его только в доступных им, евреям, образах, как, например, тогда, когда он появлялся перед ними в виде облака или огненного столба.

---

[1]) Божество еврейской религии.

Итак, я смотрел на светло-каштановые волосы Мод, любил их и узнал о любви больше, чем могли мне рассказать поэты и певцы всего мира своими песнями и сонетами.

Вдруг Мод привычным жестом отбросила волосы назад и открыла свое улыбающееся лицо.

— Почему женщины не носят распущенных волос всегда?—спросил я.—Это так красиво!

— Да, если бы они не путались так страшно,—засмеялась она.—Ну, вот! Потеряла одну из своих драгоценных шпилек!

Я совсем позабыл о лодке и бросил на произвол судьбы парус, с восхищением следя за каждым движением Мод, пока она искала шпильку. Меня удивляло и радовало, что она была истинной женщиной, и каждое ее движение, каждый поступок были типично женскими; это заставляло радостно биться мое сердце, так как в своих представлениях о ней я ставил ее на недосягаемую высоту, считал ее выше всех людей в мире, а себя слишком от нее далеким. В своем воображении я представлял ее себе богиней, чем-то неземным. И теперь я радовался, заметив в ней женские черты,—это движение головой, чтобы откинуть назад волосы, и эти поиски потерянной шпильки. Она была просто женщиной, как я был просто мужчиной. Она обитала не на небесах, а тут, на земле, рядом со мной.

С радостным возгласом она нашла свою шпильку, и я сосредоточил теперь все свое внимание на руле. Я сделал опыт: привязал рулевое весло так, чтобы лодка могла итти по ветру без моего содействия. Результат оказался удачным,—лодка шла правильно.

— Теперь давайте завтракать,—сказал я.—Но прежде вы должны одеться потеплее.

Я достал толстую фуфайку, совершенно новую, сшитую из плотной байки. Я нарочно захватил такую толстую, из плотной ткани: она могла хорошо защищать от дождя и не пропускать влаги в течение несколько часов подряд. Когда она натянула ее через голову, я дал ей вязаную матросскую шапку, закрывшую волосы, а когда я опустил еще и поля, то шапка закрыла ей шею и уши. Мод была очаровательна и в этом уборе. Ее лицо было из тех, какие никогда не теряют своей привлекательности. Ничто не испортило бы его изысканных очертаний, классически прекрасных линий, тонко очерченных бровей и больших карих глаз, ясных и удивительно спокойных.

Резкий порыв ветра вдруг сбил нас с курса; лодку подхватило и понесло по волнам. Она накренилась и зачерпнула с ведро воды. Я вскрывал в это время жестянку с консервированным языком; бросившись к парусу, я едва успел отпустить его. Парус захлопал, и лодка выправилась. Через несколько минут мне удалось поставить ее на правильный курс, и я вновь занялся приготовлением завтрака.

— Кажется, дело у вас идет на лад,—сказала она, склонив головку в знак одобрения моего умения обращаться с рулем.—Впрочем, я ровно ничего не понимаю в морских делах.

— Да, оно идет на лад, когда приходится итти по ветру,—объяснил я.—А когда ветер вдруг задует прямо в лицо или в бок, то тогда без управления рулем не обойтись.

— Все это я плохо понимаю,—сказала она,—но я поняла ваши опасения, и они мне не нравятся. Ведь не можете же вы сидеть у руля и дни и ночи! А потому после завтрака извольте дать мне первый урок. А затем вы ляжете спать. Мы установим вахты, как это делается на судах.

— Как же я буду вас учить,—запротестовал я,—когда я сам учусь? Вы не подумали о том, как мало опытен я в управлении самой простой лодкой, когда доверялись мне. Это мой первый опыт.

— Тогда, сэр, мы будем учиться вместе. А так как вы управляли лодкой уже целую ночь, то научите меня тому, что постигли за это время. Но давайте завтракать! На воздухе разыгрывается аппетит.

— Нет кофе,—сказал я жалобно, передавая ей морской сухарь с маслом и ломтиком языка.—Не будет теперь у нас ни чая, ни супа, ничего горячего, пока мы не пристанем куда-нибудь к берегу.

После завтрака мы выпили по чашке воды, и Мод стала учиться править рулем. Уча ее, я учился и сам, хотя кое-что и знал уже из моего опыта на «Призраке». Мод оказалась способной ученицей и скоро поняла, как надо держать курс и управлять парусом при неожиданных порывах ветра.

Она скоро устала и передала весло мне. Я уже свернул одеяла, но она снова разостлала их на дне. Устроив все, она сказала:

— Ну, сэр, постель готова. Вы, должны спать до второго завтрака, нет,—до обеда,—поправилась она, вспомнив порядок дня на «Призраке».

Что мне оставалось делать? Она настаивала и повторяла: «Нет, пожалуйста! Будьте добры!» Я передал ей рулевое весло и подчинился. И испытал необычайное наслаждение, когда улегся в приготовленную ее руками постель. Спокойствие и самообладание, которыми она отличалась, казалось, передались от нее этим одеялам, и я долго смотрел на овал ее лица в рамке матросской шапки и карие глаза, не отрывавшиеся от горизонта, то прятавшегося за мрачные облака, то скрывавшегося за серые волны, а потом... очнулся с сознанием, что спал.

Я посмотрел на часы. Был час дня. Неужели я проспал семь часов? И все эти семь часов она правила! Когда я принимал от нее рулевое весло, мне пришлось насильно разжать ее окоченевшие пальцы. Она была совершенно без сил и не могла двинуться с места. Пришлось

спустить парус, чтобы иметь возможность уложить ее в гнездышко из одеял и дать отогреться рукам и ногам.

— Я устала!—сказала она с глубоким вздохом, в бессилии поникнув головою.

Но сейчас же выпрямилась.

— Не смейте бранить меня!—крикнула она с шутливым вызовом.

— Да я и не думаю вовсе сердиться,—серьезно возразил я.— Уверяю вас, я не могу на вас сердиться.

— Н-нет...—задумчиво произнесла она.—Но на вашем лице упрек.

— Значит, у меня честное лицо, потому что оно выражает именно то, что я чувствую. Вы нехорошо себя ведете и по отношению к себе самой, и по отношению ко мне. Ну как я могу теперь доверять вам?

Она виновато посмотрела на меня.

— Ну, я исправлюсь,—сказала она тоном капризного ребенка.— Я постараюсь...

— Повиноваться, как матрос капитану?

— Да,—ответила она.—Сознаюсь, что я глупо поступила...

— Обещайте мне еще кое-что!

— Извольте.

— Обещайте не повторять «пожалуйста» да «прошу вас», а то вы быстро подчините меня себе.

Она рассмеялась. Она тоже заметила, какую силу имело надо мной это слово «пожалуйста».

— Это хорошее слово,—начал я,—но...

— Но я не должна злоупотреблять им,—перебила она меня.

Она слабо улыбнулась и уронила голову на одеяло. Я оставил руль, чтобы закутать ей ноги и прикрыть лицо. Увы,—она была такая слабенькая. Я с тоскою поглядел на юго-восток и подумал о тех полных страданий и лишений шестистах милях, которые нам предстояло пройти. Я сказал—«полных лишений», чтобы не сказать большего. В этих местах мы могли ожидать шторма каждую минуту, и он мог погубить нас. И все-таки я не боялся. Я не был спокоен за будущее, оно представлялось мне весьма сомнительным, и все-таки я не испытывал страха. «Все обойдется,—повторял я себе,—все обойдется».

С полудня ветер засвежел, поднялись волны, и мне пришлось бороться с ними. Однако, большое количество съестных припасов и девять бочонков воды служили хорошим балластом: лодка обладала устойчивостью и я шел под парусом, пока это не стало опасным. Тогда я убрал его.

Под вечер я заметил на горизонте дымок парохода. Это мог быть русский крейсер или «Македония», которая разыскивала «Призрак».

Солнце не показывалось весь день, и было очень холодно. А когда настала ночь, то облака сгустились еще больше, и ветер стал еще свежее: мы с Мод ужинали в перчатках. Я не оставлял рулевого весла ни на минуту и управлялся с ужином одной рукой.

Когда стемнело, море и ветер были уже не под силу нашей лодке, и я с горьким сожалением должен был снять парус и сделать из него пловучий якорь. Я слыхал, как это делается, от матросов, и это оказалось нетрудным. Свернув парус и крепко связав его с мачтой, реей и двумя парами запасных весел, я бросил все это за борт. Линем [1]) это приспособление было привязано к корме. Оно задерживало ход лодки и направляло ее нос против ветра. Такое положение лодки является самым безопасным при бурном море.

— А теперь?—весело спросила Мод, когда я окончил эту работу.

— А теперь,—ответил я,—мы уже не плывем с вами в Японию. Нас влечет на юго-восток, и наша скорость не более двух миль в час.

— Это значит—до утра проплывем всего двадцать четыре мили, и то если ветер продержится всю ночь?

— Да, но это составит сто сорок миль, если ветер будет нас гнать трое суток.

— Но он не будет дуть,—сказала она, стараясь себя утешить.— Он переменится и станет попутным.

— Море—великий предатель.

— А ветер? Я слышала, как вы воспевали пассат!

— Жаль, что я не захватил с собой хронометра и секстанта Вульфа Ларсена,—сказал я мрачно.—Ветер и течение так часто меняются, что нельзя определить без инструментов наше направление. Мы легко сможем ошибиться на пятьсот миль.

Но затем я просил прощения за эти слова и обещал не пугать ее больше. По ее настоянию я оставил ее на вахте до полуночи (это было в девять часов вечера), но окутал ее одеялами и укрыл сверху брезентом. А затем лег спать. Я спал урывками. Лодку подбрасывало, я слышал рев моря, то-и-дело меня обдавало брызгами. И все-таки эта ночь не казалась мне плохой, она была для меня пустяком в сравнении с теми, которые я проводил на «Призраке», и с теми, которые нам предстояло еще провести на этой скорлупе. Ее обшивка была всего толщиною в три четверти дюйма. От морского дна нас отделял только слой дерева тоньше одного дюйма.

И все-таки,—я утверждаю это и буду утверждать всегда,—я вовсе не боялся. Страх смерти, который я испытывал от угроз Ларсена и даже Томаса Магриджа, теперь оставил меня. Появление

[1]) Линь—тонкая крепкая веревка (трехрядная).

в моей жизни Мод Брюстер, казалось, переродило меня. Я думал, что любить лучше и прекраснее, чем быть любимым, и только это чувство заставляет человека дорожить жизнью и ненавидеть смерть. В любви к другой жизни я забыл о своей собственной, и хотя это может показаться парадоксом, но никогда еще я не хотел так жить, как теперь, когда менее всего стал ценить свою жизнь. И я пришел к заключению, что никогда не было у меня стольких причин желать жить, как именно теперь.

Я лежал, дремал и был доволен тем, что видел сквозь темноту Мод, низко согнувшуюся над рулем, со взором, устремленным в пенящееся море, и готовую каждую минуту, если потребуется, позвать меня на помощь.

ГЛАВА XXVIII

Нет нужды подробно описывать те страдания, которые мы пережили на маленьком суденышке в течение долгих дней, когда нас бросало по бесконечному океану. Неистовый северо-западный ветер дул целые сутки; когда же он затих, то поднялся юго-западный. Это было для нас самое худшее, и я принялся за свой якорь, высвободил парус, поставил его и старался держать лодку хотя бы в юго-восточном направлении.

Через три часа,—это было уже в полночь, в самый темный час на море,—поднялся свирепый юго-западный ветер, и я принужден был опять снять парус и сделать из него пловучий якорь.

Когда настало утро, я сидел с опухшими глазами и смотрел на побелевший океан, который грозил проглотить нашу скорлупку. Брызги и пена так заливали нас, что я не успевал вычерпывать воду. Все одеяла промокли. Все было мокро, за исключением Мод, которая под своими брезентами, в резиновых сапогах и в толстой фуфайке оставалась сухой; только руки, лицо и волосы ее были мокры. Время от времени она сменяла меня и храбро вычерпывала воду или наблюдала за ветром. Все на свете относительно. Это было небольшое волнение, а не буря, но для нас, боровшихся за свою жизнь в нашей утлой ладье, оно казалось страшным штормом.

Озябшие и измученные, мы весь день боролись с ветром, хлеставшим нас по лицам, и с бесновавшимся морем, белым от пенистых гребней. Пришла ночь, но мы не ложились спать. Настал день, и все еще дул прямо в лицо ветер и ревело море. В следующую ночь Мод заснула от изнеможения. Я укрыл ее непромокаемым плащом и брезентом. Она окоченела от холода. Я боялся за ее жизнь. Следующий день тоже был холодный и неприветливый, с тем же завывавшим ветром и ревевшим морем.

Я не спал уже сорок восемь часов; промок и продрог до костей и был полумертв от утомления. Я ослабел столько же от усталости, сколько и от холода. Мои болевшие мускулы причиняли мне невыносимые страдания, когда я начинал работать. А работать мне приходилось безостановочно. И все время нас гнало на северо-восток, в противоположную сторону от Японии, прямо к неприветливому Берингову морю.

И все еще мы были живы, жива была и наша лодка, а ветер все дул, точно сорвавшись с цепи. К вечеру третьего дня он стал еще сильнее и злее. Нос нашей лодки то-и-дело погружался в море, и вода в ней поднялась на целую четверть. Я вычерпывал ее как сумасшедший. Нам грозила большая опасность: вода придавала лодке излишний вес, и она стала терять равновесие. Еще одна огромная волна—и мы погибнем. Когда мне удалось вычерпать всю воду, я снял с Мод брезент и накрыл им нос шлюпки. И хорошо сделал, потому что его хватило на целую треть лодки, и три раза под ряд в течение следующих часов он отражал низвергавшиеся на него волны.

Мод была в жалком состоянии. Она сидела на дне лодки, съежившись комочком, с посиневшими губами и серым, измученным лицом. Но в глазах у нее светилась бодрость и губы ее шептали ободряющие слова.

Самый сильный взрыв бури был именно в эту ночь, хотя я его и не заметил: я окончательно выбился из сил и заснул, сидя на запасных парусах. К утру четвертого дня ветер вдруг затих, море успокоилось, и выглянуло солнце. О, благословенное солнышко! Мы купались в его благодатных лучах, отогревали наши бедные тела, оживая, как букашки, после бури. Мы снова улыбались, шутили и старались бодро смотреть в будущее. На самом деле положение было хуже, чем раньше. Мы теперь были дальше от Японии, чем в ту ночь, когда покинули «Призрак», хотя я и не мог точно определить ни долготы, ни широты. Судя по тому, что нас относило течением на две мили каждый час и что буря продолжалась более семидесяти часов, нас должно было отнести к северо-востоку не менее как на сто сорок миль. Но и это вычисление было только приблизительное.

Где мы были теперь, я не мог определить: было весьма возможно, что мы находились где-нибудь вблизи «Призрака». Нам попадались на пути нашем котики, и я ожидал, что в любую минуту мы можем встретить какое-нибудь промысловое судно. И действительно, в полдень, когда опять с новой силой задул юго-западный бриз, мы увидели на горизонте шхуну, но она скоро исчезла из виду, и снова мы остались одни.

Случались туманные дни, когда даже Мод падала духом, и я не слышал от нее ободряющих слов; бывали дни полного штиля, когда мы качались на пустынной, необъятной поверхности океана, подавленные его величием, и когда нам казалось чудом из чудес, что мы все еще живы и боремся за жизнь; случались дни изморози, ветра и мокрого снега, когда мы никак не могли согреться, или дни проливного дождя, когда нам удавалось наполнить наши боченки пресной водой, выжимая промокшие паруса.

Моя любовь к Мод все возростала. Мод была такой разносторонней, такой многогранной, богато одаренной натурой! Я мысленно называл ее разными нежными именами. Я тысячи раз готов был признаться ей в любви, но понимал, что было еще не время для такого объяснения. Не время просить от женщины любви, когда взялся помочь ей спасти ее жизнь. Мне казалось, что я умело скрывал свои чувства и не выдавал себя ни взглядом, ни жестом. Мы были добрыми товарищами, и с каждым днем наша дружба становилась все крепче.

Больше всего меня удивляло в ней полное отсутствие робости и страха. Ужасное море, утлая ладья, бури, испытания, полное наше одиночество и странность положения,—одним словом, все то, что испугало бы даже самую храбрую женщину, повидимому, не оказывало никакого впечатления на нее, воспитанную в обстановке изнеженности и комфорта. Нет, впрочем, я не вполне прав. Она была в то же время и робка. Ее телесная оболочка знала страх, но дух ее царил над плотью. Она вся была дух, всегда и прежде всего дух, составляющий сущность жизни; всегда спокойная, как были спокойны ее глаза, и уверенная в постоянстве и вечности законов, при всей видимой изменчивости природы.

Опять настали бурные дни, дни и ночи штормов, когда океан терзал нас своим зловещим ревом и грозил поглотить нашу боровшуюся с волнами лодку. И всякий раз нас относило все дальше и дальше к северо-востоку. В одну из таких бурь, самую злейшую из всех, нами испытанных, я взглянул на горизонт. Я ничего не искал, а скорее—просто молил стихии прекратить, наконец, свою ярость и пощадить нас. Я не решался поверить тому, что увидел. Дни и ночи, проведенные без сна, в непрерывной тревоге, вероятно, помрачили мой рассудок. Я посмотрел на Мод, чтобы проверить себя. Вид ее милых мокрых щек, уже давно нечесанных волос и карих глаз, все еще полных бодрости, убедили меня, что я хорошо вижу, что зрение мое нормально. Я стал смотреть вдаль и опять увидел далеко врезавшийся в море мыс, черный, высокий и голый, у его края пену прибоя и черную, неприветливую линию берега, уходящую на юго-восток.

— Мод!—воскликнул я.—Мод!

Она повернула голову.

— Это не Аляска?—вскрикнула она.

— Увы, нет!—ответил я.—Вы умеете плавать?

Она покачала головой.

— И я тоже не умею,—сказал я.—В таком случае мы должны добраться до берега не вплавь, а войти в какую-нибудь бухточку между скал и выбраться на берег. Но нам необходимо спешить, очень спешить...

Я говорил спокойным и уверенным тоном, хотя в душе у меня никакого спокойствия не было. Мод поняла это и пристально посмотрела на меня.

— Я еще не поблагодарила вас,—сказала она,—за все, что вы для меня сделали, но...

Она не договорила, точно подыскивая слова для выражения благодарности.

— Что же дальше?—спросил я угрюмо, так как мне не нравилось, что она стала меня благодарить.

— Помогите же мне!—улыбнулась она.

— Сделать распоряжение на случай вашей смерти? Нет, уж извините, мы еще не собираемся умирать. Мы должны высадиться на берег и найти там приют, прежде чем начнет темнеть.

Я говорил решительно, не веря ни одному своему слову. Я не чувствовал никакого страха, хотя был уверен, что мы погибнем в этой кипящей пучине и разобьемся о скалы, к которым нас быстро несло. Подходить к берегу с парусом было невозможно: ветер немедленно перевернул бы лодку, и волны залили бы ее. К тому же и самый парус с запасными веслами тащился теперь позади нас в воде.

Как я сказал, я не боялся смерти, но у меня замирало сердце при мысли, что должна умереть Мод. Мое проклятое воображение уже представляло ее разбитою и изуродованною о прибрежные скалы, и это терзало меня. Я нарочно заставил себя думать о том, где бы найти наиболее безопасное место для высадки, говорил об этом Мод, но не верил себе, хотя и очень хотел бы поверить.

Я ужаснулся при мысли о страшной гибели, и на один миг мною вдруг овладело дикое желание схватить Мод на руки и вместе с нею броситься в волны. Затем я решил подождать и только в последнюю минуту, когда мы окажемся у самых скал, взять ее на руки, сказать ей о моей любви и, прижав ее к себе, броситься вместе с нею навстречу неминуемой гибели.

Инстинктивно мы прижались друг к другу на дне лодки. Я почувствовал, как ее рука коснулась моей. И так без слов мы ждали

конца. Мы были недалеко от западного края мыса, где ветер был тише, и я надеялся, что нас пронесет мимо скал раньше, чем мы попадем в полосу прибоя.

— Мы все-таки должны высадиться на берег,—заявил я с уверенностью, которой в сущности у меня не было.—И мы высадимся, клянусь богом!—воскликнул я пятью минутами позже.

Я побожился, вероятно, в первый раз в жизни, и смутился.

— Простите меня...—сказал я.

— Вы этим только еще больше убедили меня в своей искренности,—ответила она с радостной улыбкой.—Теперь я уверена, что мы действительно высадимся.

Я увидел, как за мысом постепенно выростали отдаленные холмы, и перед нами открылась береговая линия и глубокая бухта. В ту же самую минуту до нашего слуха донесся непрестанный и мощный рев. Он был похож на отдаленный гром и слышался с подветренной стороны, заглушая шум прибоя. Когда мы обогнули мыс, перед нами открылась бухта с широким песчаным пляжем, который был покрыт миллионами котиков. Их рев и доносился до нас.

— Лежбище!—воскликнул я.—Теперь мы спасены! Здесь, наверное, есть и люди, и крейсера для защиты животных от браконьеров. А может быть, здесь есть и стоянка.

Продолжая изучать линию прибоя, я сказал:

— Плохо, но не так, как было раньше. Теперь, если боги будут к нам милостивы, мы обгоним ближайший мыс, подойдем к хорошо защищенному берегу и сможем высадиться на песчаный пляж, даже не замочив себе ног.

И боги были милостивы к нам. И первый, и второй мысы оказались с подветренной стороны. Мы обогнули оба мыса в опасной к ним близости, и перед нами открылась бухта. Она глубоко вдавалась в остров, и начавшийся прилив внес нас туда под защиту мыса. Здесь море было спокойно, за исключением мягкого берегового прибоя, и я вытащил из воды свой пловучий якорь. Берег изгибался все дальше на юго-запад, пока, наконец, не показалась маленькая бухта, где вода стояла неподвижно, точно в пруду, и лишь изредка подергивалась легкой рябью, когда дыхание шторма врывалось сюда через окружавшие бухту скалистые стены.

Здесь не было котиков. Киль лодки коснулся дна, покрытого гальками. Я выскочил и протянул руку Мод. Через мгновение она была рядом со мной. Но как только мои пальцы разжались, она вдруг ухватилась за меня. Я тоже покачнулся и чуть не упал на песок. Так повлияло на нас прекращение качки. Мы так долго пробыли на вечно волновавшемся, неспокойном море, что теперь твердая земля вырывалась у нас из-под ног. Нам казалось, что песок под

нами то поднимался, то опускался и что скалы прыгали вокруг нас, точно борты корабля.

— Я должна сесть,—сказала Мод, нервно смеясь, и опустилась на песок.

Я с трудом поставил лодку в безопасное место и присел к Мод. Так мы высадились на «Остров Усилий», больные «земной» болезнью после продолжительного пребывания на море.

ГЛАВА XXIX

— Дурак!—выбранил я себя с досады.

Я разгрузил лодку и перенес на берег все наши пожитки к тому месту, где решил расположиться лагерем. На берегу нашлось небольшое количество выброшенной морем щепы, и взгляд на жестянку с кофе, которую я захватил с собою с «Призрака», навел меня на мысль об огне.

— Подлинный идиот!—продолжал я.

— Ну, перестаньте!—ласково остановила меня Мод и осведомилась, почему именно я был «подлинный идиот».

— Да я не захватил спичек,—проворчал я в ответ.—Понимаете, ни одной спичечки! Теперь бы приготовить горячего кофе, сварить супу, чаю,—а на чем?

— А вы вспомните Робинзона! Он тер одну палку о другую!

— Я читал много воспоминаний, написанных потерпевшими крушение: все они пробовали этот способ—безуспешно. Припоминаю Винтерса, газетного корреспондента, путешествовавшего по Аляске и Сибири. Я однажды встретил его у знакомых, и он рассказывал нам, как пытался добыть огонь именно трением палки о палку. Это было очень забавно. Он неподражаемо рассказывал о своем неудачном опыте. Помню, как в заключение, сверкнув своими черными глазами, он сказал: «Джентльмены, островитянин Южных Морей, быть может, сумеет это сделать, может быть, сделает и малаец, но это превышает способности белого человека».

— Но ведь мы же прожили столько времени без огня,—весело сказала Мод.—Почему мы не можем жить без него и дальше?

— Но кофе, кофе! Вы только подумайте о кофе!—воскликнул я.—И какой превосходный кофе! Я взял его из собственной кладовой Вульфа Ларсена. И кругом отличные дрова!..

Признаюсь, я безумно хотел кофе, и, как я впоследствии узнал, Мод также питала слабость к этому напитку. Кроме того, мы столько времени сидели на холодной пище, что застыли внутри так же, как и снаружи. Горячая пища была бы нам очень полезна. Но я больше не жаловался и принялся за устройство для Мод палатки из паруса.

Я думал, что это очень простое дело. Были под руками и весла, и мачты, и веревки. Но без знания дела, когда каждая деталь являлась опытом, и каждый успешный опыт целым открытием, это оказалось очень трудно.

Целый день проработал я над сооружением палатки. В первую же ночь пошел дождь, палатка промокла, и Мод принуждена была возвратиться в лодку.

На следующее утро я выкопал вокруг палатки глубокую канаву, а через какой-нибудь час после этого внезапным порывом ветра палатку сорвало и бросило на песок ярдах в тридцати от места, где она находилась.

Увидев мою физиономию, Мод подняла меня на смех. Я сказал ей:

— Как только спадет ветер, я на лодке отправлюсь исследовать остров. Здесь обязательно должны быть люди или какая-нибудь стоянка. Шхуны должны посещать этот остров, и он должен принадлежать какой-нибудь стране. Но мне хотелось бы устроить вас поудобнее, раньше чем я отправлюсь.

— Я тоже отправлюсь с вами,—ответила она.

— Было бы лучше, если бы вы остались. Вы и так много перенесли. А плыть на лодке и грести в такую отчаянную погоду не очень-то приятно. Вам крайне необходимо отдохнуть, и я просил бы вас остаться.

Что-то подозрительно похожее на влагу вдруг заволокло ее глаза, прежде чем она успела отвернуться.

— Я все-таки отправлюсь с вами,—сказала она тихо, и в ее голосе послышалась мольба.—Я смогла бы вам чем-нибудь помочь...

Голос ее дрогнул.

— Если что-нибудь вдруг случится с вами,—продолжала она,—как я останусь здесь без вас одна? Подумайте об этом!

— О, не беспокойтесь, я буду очень осторожен!—ответил я.—К тому же я не пойду далеко и вернусь к вечеру. Да, дело решеное! Вам будет лучше остаться здесь, постараться ничего не делать, отдохнуть и хорошенько выспаться.

Она обернулась и посмотрела мне прямо в глаза. Взгляд ее был тверд, но спокоен.

— Пожалуйста!—сказала она.—Прошу вас!

Я попробовал, было, настоять на своем. Но она упорно смотрела на меня. Я хотел, было, говорить—и не смог. И я тотчас же заметил, как радостный огонек блеснул у нее в глазах, и понял, что моя ставка бита. Ей невозможно было отказать.

В полдень ветер прекратился, и мы решили отправиться в путь на следующее утро вместе. Проникнуть внутрь острова из нашей бухты не представлялось никакой возможности, потому что скалы

отвесно поднимались у самого пляжа, а с другой стороны бухты они выростали прямо из воды.

Настало утро, серое и угрюмое, но спокойное. Я поднялся рано, чтобы успеть снарядить лодку.

— Дурак! идиот! скотина!—бормотал я, когда наступило время будить Мод. Но на этот раз я чуть не подскакивал от радости.

Она приподняла край паруса, высунула голову и спросила полусонным голосом:

— Кого это вы так честите?

— Кофе!—крикнул я.—Понимаете? Кофе! Что сказали бы вы о чашке горячего кофе!

— Вы испугали меня,—проговорила она,—и к тому же вы слишком жестоки. Я уже приучила себя к мысли обходиться без него, а вы опять мучите меня своими напоминаниями!

— Ну, так смотрите!

Я набрал среди камней сухих щепок, настругал стружек и сложил все это в маленький костер, затем вырвал из записной книжки листок и достал из коробки патрон. Удалив из него кончиком ножа пыж, я высыпал порох на гладкий камень, затем вынул из патрона пистон и положил его тоже на камень, среди пороха. Все было готово. Мод глядела из своей палатки. Держа в левой руке бумагу, я взял в правую руку камень и ударил им по пистону. Вырвался клуб дыма, блеснул огонь, и бумага загорелась.

Мод радостно захлопала в ладоши.

— Прометей!—воскликнула она.

Но я был слишком занят, чтобы отвечать ей. Слабый огонек требовал ухода. И я подкладывал стружки и щепочку за щепочкой, пока, наконец, он не превратился в целый костер и огонь с треском не охватил сучья и палки.

Быть выброшенным на необитаемый остров не входило раньше в мои расчеты, и потому я не захватил с собой ни кастрюли, ни вообще каких-либо кухонных принадлежностей. Я воспользовался ковшом для вычерпывания воды из лодки, а когда мы съели часть наших консервов, то у нас получился целый ряд блестящих импровизированных кастрюль.

Я вскипятил воду, но кофе заварила сама Мод. И какой это был вкусный кофе! Моею обязанностью было поджарить консервированное мясо с толчеными морскими сухарями. Завтрак вышел на славу; мы уселись около огня и, попивая кофе, разговаривали о нашем положении. За завтраком мы просидели гораздо дольше, чем это полагается у обыкновенных путешественников-исследователей.

Я был убежден, что мы найдем на острове стоянку. Я знал, что все промыслы на Беринговом море охраняются; но Мод высказала

предположение, решив подготовить меня к разочарованию, что этот остров мог быть никому неизвестным островом, не попавшим ни под чью охрану. Но и эта возможность не испугала ее: она была в очень хорошем настроении.

— Если вы правы,—сказал я,—то нам следовало бы подготовиться здесь к зиме. Наши запасы не вечны, но ведь здесь есть котики. Они могут уйти отсюда куда-нибудь в другое место, поэтому я должен как можно скорее заготовить достаточное количество мяса. Затем необходимо соорудить хижину и запастись топливом, натопить котикового жира для освещения. Во всяком случае, работы у нас будет немало, если этот остров действительно необитаем. Однако, я все еще надеюсь, что мы найдем людей.

Но Мод оказалась права. Мы осмотрели остров с моря в бинокль, побывали на лодке во всех его бухтах и иногда даже высаживались на берег, но не нашли нигде и следа людей. Кстати, мы убедились, что были не первыми, попавшими на этот остров. Высоко на песке, у второй от нас бухты, мы наткнулись на разбитую лодку, на которой еще уцелела надпись белыми буквами: «Газель № 2». Лодка лежала здесь, видимо, давно: она наполовину была занесена песком, и разбитый бок ее, высунувшийся из-под песка, носил на себе признаки продолжительного действия непогоды. На корме лодки я нашел заржавленное охотничье ружье и матросский нож, сломанный пополам и до того заржавленный, что едва можно было признать в нем нож.

— Пойдемте отсюда,—сказал я ласково; но я чувствовал, как билось мое сердце, и мне казалось, что где-нибудь, здесь же на берегу, я увижу и побелевшие человеческие кости.

Я не желал, чтобы душа Мод омрачилась такой находкой. Мы уселись в нашу лодку и отправились к северо-восточной части острова. На южном берегу не встречалось песчаных отмелей, и мы обогнули черный мыс и тем закончили объезд всего острова. По моему мнению, он в окружности имел около двадцати миль, при ширине от трех до пяти миль. На его отмелях, по самому скромному моему вычислению, находилось до двухсот тысяч котиков. Остров был выше всего в своей юго-западной части и постепенно понижался к северо-востоку. Возвышался остров над морем всего на каких-нибудь пять футов. За исключением нашей маленькой бухты, все остальные глубоко входили в самый остров; их окружали песчаные отмели, поднимавшиеся постепенно на целую милю или около того. Затем шли довольно каменистые долины, на которых там и сям рос мох. Сюда выходили котики; старые самцы стерегли свои гаремы, а молодые держались особняком.

Более подробного описания наш остров не заслуживает. Скалистый, мрачный, открытый морю и ветрам, потрясаемый ревом двухсот

тысяч котиков, он представлял жалкое и унылое место. Мод, подготовившая меня к разочарованию и бывшая весь день в самом великолепном настроении, все-таки не выдержала и, когда мы высадились у себя в бухте, разрыдалась. Она храбро старалась скрыть это от меня, но когда я снова добывал огонь, я слышал, как она плакала у себя в палатке, уткнувшись в одеяла.

Теперь настала моя очередь казаться веселым, и я разыгрывал свою роль так старательно и с таким успехом, что в конце концов заставил ее смеяться и даже петь. Она спела для меня перед тем, как итти спать. В первый раз я услышал ее пение и, лежа у огня, слушал и восхищался, потому что она оказалась настоящей артисткой, как и во всем, что ей приходилось делать. Ее голос был не сильный, но удивительно красивый и выразительный.

Я все еще спал в лодке. В эту ночь я лежал с широко открытыми глазами, смотря на первые звезды, которые уже столько раз видел, и обдумывал свое положение. Теперь я понимал лежавшую на мне ответственность; такого рода ответственность была нова для меня. Вульф Ларсен совершенно прав. Я не стоял на собственных ногах, а жил за счет своего отца. Мои банкиры и поверенные заботились о моих деньгах вместо меня. Я не нес ответственности ни за что. И теперь, в первый раз в жизни, я почувствовал ответственность за другого, и это была великая ответственность, потому что она касалась самой дорогой для меня женщины на всем земном шаре, единственной, которую я безумно любил,—моей «маленькой женщины», как я мысленно называл ее.

ГЛАВА XXX

Мы справедливо назвали наш остров «Островом Усилий».

Две недели мы упорно трудились над постройкой хижины. Мод настоял на том, чтобы помогать мне, и я чуть не плакал при виде ее рук, исцарапанных в кровь. Но я гордился ею. Было что-то героическое в этой женщине, получившей изнеженное воспитание и теперь бодро переносившей тяжкие испытания и исполнявшей самую черную работу. Она подавала мне камни, из которых я строил стены, и не хотела слушать моих увещаний не делать этого. Наконец, она согласилась взять на себя более легкий труд—варить пищу и собирать на зиму топливо и мох.

Стены, в общем, было выводить нетрудно, и все шло как по маслу до тех пор, пока не встал передо мной вопрос о крыше. Какая польза от стен без крыши? А из чего мы могли ее сделать? Правда, у нас были запасные весла. Они могли служить нам стропилами. Но

чем их покрыть? Трава для этого не годилась, мох тоже не годился. Парус нам нужен был для лодки, а брезент весь изорвался.

— Винтерс употреблял для своей крыши шкуры моржей,—сказал я.

— А разве здесь нет котиков?—подсказала она.

На следующий же день мы принялись за охоту. Я совершенно не умел стрелять, но рассчитывал, что научусь. Однако, когда я истратил тридцать патронов на трех котиков, то решил, что все наши огнестрельные запасы иссякнут раньше, чем я приобрету необходимый навык. Восемь патронов я уже испортил на добывание огня, прежде чем догадался прикрывать уголья сырым мохом. Таким образом, у меня оставалось не более сотни патронов.

— Мы должны бить котиков дубинками,—объявил я, убедившись в своей неспособности метко стрелять.—Я слышал, как матросы говорили, что их обыкновенно так и бьют.

— Но они такие славные!..—возразила Мод.—Нет, я и думать об этом не хочу! Это просто зверство. Стрелять—совсем другое дело...

— Но крыша нам нужна!—воскликнул я.—Зима-то на носу! Или мы, или они. Очень жаль, что мы так мало захватили с собой патронов, но не все ли равно, как им придется расставаться с жизнью—от выстрелов, или же от ударов дубинкой? Во всяком случае, я отправлюсь бить их дубинкой один.

— Неужели вы способны на это?—спросила она и смутилась.

— Конечно,—ответил я.—Но если вы предпочитаете...

— Что же я буду здесь делать одна?—прервала она меня с той мягкостью, перед которой я в бессилии опускал руки.

— Собирать топливо и варить обед,—ответил я быстро.

Она покачала головой.

— Слишком опасно для вас отправляться на охоту одному,—сказала она.—Я знаю, знаю! Вы боитесь, что я слабая женщина и не сумею оказать вам поддержку в минуту опасности.

— Но ведь бить дубинками...

— Конечно, это вы будете делать... я буду визжать, но я буду отворачиваться всякий раз, как...

— Когда это будет опасно,—рассмеялся я.

— Я сама решу, когда смотреть и когда не смотреть,—с важным видом ответила она.

Дело кончилось тем, что на следующее же утро она отправилась со мной. Я направил лодку прямо в соседнюю бухту, на самую отмель. Котики были здесь повсюду, они плавали в воде и тысячами ревели на берегу так громко, что мы должны были кричать, чтобы расслышать друг друга.

— Я знаю, что их бьют дубинками,—сказал я, стараясь подбодрить себя и с сомнением глядя на большого самца, который в тридцати футах от нас поднялся на передние ласты и уставился на меня в упор.—Но вот вопрос: как это делать?

— Нет, уж давайте-ка лучше наберем травы,—предложила Мод,—и сделаем крышу из нее.

Она испугалась так же, как и я, когда вдруг оскалились блестящие зубы, сверкнули глаза, и раскрылись пасти котиков.

— А я думал, что они боятся людей!—сказал я.—А впрочем, почему я решил, что они не боятся?—проговорил я, гребя вдоль песчаной отмели.—Может быть, если бы я похрабрее вышел на берег, то они испугались бы, удрали, и все равно я не убил бы ни одного!

И все-таки я медлил.

— Я слышала об одном человеке,—начала Мод,—который сделал набег на гнезда диких гусей, и они заклевали его до смерти.

— Гуси?

— Да, гуси. Мой брат рассказывал мне об этом, когда я была маленькой девочкой.

— Но я знаю, котиков бьют дубинками,—настаивал я.

— Все-таки мне кажется, что из травы вышла бы отличная крыша!—в свою очередь повторила она.

Ее слова подзадорили меня. Ведь не мог же я разыграть труса на ее глазах!

— Ну, за дело!—решил я, наконец, и, гребя одним веслом, стал причаливать к берегу.

Я высадился и храбро направился к котику-самцу, растянувшемуся среди своих самок. У меня была в руках обыкновенная палка, которой промышленники добивают раненых охотниками котиков на палубе судна. Она была длиной всего в полтора фута, и при своем невежестве я не подозревал, что для охоты за котиками на суше необходимо иметь дубинку длиной по крайней мере фута в четыре или в пять. Самки тотчас же разбежались при моем появлении, и пространство между мной и самцом все уменьшалось и уменьшалось. Он обозлился и поднялся на передние ласты. Теперь между нами оставалось всего футов двенадцать, не больше. Я продолжал итти, ожидая, что вот-вот он повернется ко мне хвостом и убежит.

В шести футах от него на меня вдруг напал страх: а вдруг он не убежит?—«Тогда я его убью!»—ответил я сам себе. В своем страхе я забыл, что пришел сюда, чтобы убить его, а не для того, чтобы спугнуть. В эту минуту он зафыркал, зарычал и бросился ко мне. Глаза его сверкали, пасть была широко открыта, белые зубы оскалены. Позабыв всякий стыд, я бросился со всех ног назад.

Он бежал за мной, правда, довольно неуклюже, но все-таки очень быстро. И когда я вскарабкался в лодку, он был всего в двух шагах от меня и злобно ухватился зубами за весло, когда я стал им отпихиваться от берега. Крепкое дерево разлетелось в мелкие щепки, точно яичная скорлупа. Это нас поразило. А затем он нырнул под лодку, ухватился зубами за киль и стал свирепо ее раскачивать.

— Ай, какой ужас!—вскрикнула Мод.—Вернемся лучше!

Я покачал головой.

— Я должен делать то, что делали другие, а я знаю, что именно дубинками бьют котиков. Но теперь я не буду нападать на самца.

— Да, лучше не надо,—сказала она.

— Только не говорите этих «пожалуйста, пожалуйста»,—с некоторой досадой сказал я.

Она не ответила, и я понял, что ее обидел мой тон.

— Простите меня,—сказал или, вернее, прокричал я, чтобы она расслышала меня, так как котики страшно ревели.—Если вы желаете, мы вернемся сейчас же. Я хотел бы остаться здесь.

— Но только не говорите: «Вот что значит брать с собой женщину»,—ответила она.

Она лукаво улыбнулась; очевидно, она простила меня.

Проплыв вдоль берега футов двести, чтобы успокоить свои нервы, я снова вышел на берег.

— Будьте осторожны!—крикнула она из лодки.

Я кивнул и побежал, чтобы напасть на первое же стадо самок, которое попадется мне на пути. Все шло хорошо до тех пор, пока я не нацелился в голову одной из них и не нанес ей удара. Она завизжала и бросилась в сторону. Я бежал рядом с ней и наносил ей удары, но попадал не по голове, а по плечу.

— Берегитесь!—взвизгнула Мод.

В своем возбуждении я не заметил, что происходит вокруг. А в это время владыка гарема шел прямо на меня. И опять мне пришлось спасаться бегством от яростного преследования. Но теперь и Мод не хотела возвращаться.

— Мне думается,—сказала она,—что лучше вам не трогать гаремов, а обратить внимание на безобидных одиночек! Что-то такое я читала у доктора Джордана. Одиночки—это молодые животные, не успевшие обзавестись гаремами. Он называет их «холостяками». Если бы нам удалось найти их!

— Кажется, в вас проснулся охотничий инстинкт,—усмехнулся я.

Она мило вспыхнула.

— Я не люблю неудач не менее, чем вы,—ответила она,—хотя мне и противна мысль убивать таких красивых, безобидных животных.

— Ну уж и красивых!—не согласился я.—Я не нахожу ровно ничего красивого в этих слюнявых мордах, которые упорно гоняются за мной.

— Это только ваша точка зрения,—улыбнулась она.—У вас нехватает объективности. Вот если бы и вы тоже глядели на них издали...

— Это верно! Мне нужна более длинная дубинка. Кажется, у нас есть сломанное весло?

— Подождите, я припоминаю что-то... Да, да!.. капитан Ларсен как-то рассказывал мне, как его матросы охотятся на котиков. Они угоняют их маленькими стадами внутрь острова и там убивают их.

— Я не берусь угнать ни одного из таких гаремов,—возразил я.

— Да, но остаются еще «холостяки». Они держатся особняком, и доктор Джордан говорит, что между гаремами всегда остаются свободные пространства, и пока холостяки держатся на этих пространствах, их не трогают владыки гаремов.

— А вот и один из них!—указал я на молодого котика, плывшего мимо нас.—Давайте, проследим за ним и узнаем, где он выйдет на сушу.

Он подплыл прямо к отмели и вышел в промежутке между двумя гаремами, владыки которых заворчали, но не тронули его. Мы проследили, как он медленно направился в глубину, ковыляя между другими гаремами по протоPенной тропе.

— Вперед!—крикнул я, выскакивая из лодки. Но я должен сознаться, что все-таки испытывал страх при одной мысли, что мне придется итти между этими ужасными гаремами.

— Не лучше ли было бы лодку привязать?—спросила Мод.

Она вышла на берег вслед за мной, и я с изумлением поглядел на нее.

Она решительно кивнула.

— Да, я пойду с вами,—сказала она.—И советовала бы вам подумать о лодке и вооружить меня дубинкой.

— Давайте лучше вернемся назад,—сказал я жалобно.—Можно сделать крышу из травы.

— Вы же сами говорили, что нельзя,—последовал ответ.—Может быть, мне пойти вперед?

Я пожал плечами, но в душе был восхищен смелостью этой женщины. Я вооружил ее обломком весла, а другой обломок оставил себе. Не без некоторой нервной дрожи мы совершили эту нашу первую экспедицию. Один раз Мод вскрикнула от страха, когда самка из любопытства ткнулась носом к ней в ноги. Я тоже несколько раз ускорял шаг по той же причине. Но если не считать некоторого

недовольного ворчанья, то никаких других признаков вражды котики не проявляли. Это был остров, которого ни разу не посещал ни один охотник, и потому котики на нем были кротки и не боялись человека.

В самом центре стада шум был ужасен. От него кружилась голова. Я остановился и ободряюще улыбнулся Мод, так как освоился с положением скорее, чем она. Мод все еще безумно боялась. Она близко подошла ко мне и прокричала:

— Мне очень страшно!

А мне уже не было страшно. Мирное поведение котиков успокоило мою тревогу. Но Мод дрожала от страха.

— Я боюсь и не боюсь,—бормотала она, стуча зубами.—Виновато мое слабое тело, а сама я не боюсь.

— Ну, конечно,—старался я ее ободрить и покровительственно обнял ее.

Я никогда не забуду, какой прилив мужества я ощутил в этот момент. Я почувствовал себя мужчиной, защитником слабых, борющимся самцом. А самое главное, почувствовал себя защитником той, которую я любил. Она опиралась на меня, легкая и хрупкая, и по мере того как она переставала дрожать, я начинал чувствовать в себе чудовищную силу. Я почувствовал, что готов был немедленно же вступить в бой с самым яростным самцом из всего стада, и напади сейчас такой самец на меня, я бы встретил его совершенно спокойно и в конце концов убил бы его.

— Теперь мне лучше,—сказала она, глядя на меня с благодарностью.—Идем!

Таким образом, моя сила успокоила ее, дала ей уверенность и наполнила меня самого неизъяснимой радостью. Самая ранняя эпоха моей расы вдруг вернулась ко мне, сверх-цивилизованному человеку, и я стал жить доисторическими интересами дней, проведенных на охоте, и ночей, изжитых в дремучих лесах, как мои отдаленные и забытые предки. «Мне есть за что благодарить Вульфа Ларсена»,—подумал я, пробираясь по тропинке между стадами котиков.

Четверть мили мы шли внутрь острова за «холостяками»—этими гладкошерстыми молодыми самцами, живущими в одиночку и набиравшимися сил, чтобы затем вступить в драку с другими самцами и завоевать себе почетное место в ряду обладателей гаремов.

Все шло как по маслу. Теперь я уже знал, что делать и как делать. Громко крича, угрожающе размахивая дубинкой и даже давая пинка особо ленивым из них, я отбил несколько холостяков от их сотоварищей. Если какой-нибудь из них пытался бежать к воде, то я бил его по голове. Мод принимала деятельное участие в этой охоте, крича и размахивая обломком весла. При этом я заметил, что

всякий раз, как она видела, что какой-нибудь котик начинал уставать, она щадила его. Но если какой-нибудь из них скалил зубы, то ее глаза вспыхивали, и она била зверя своей дубинкой.

— Это, оказывается, увлекает!—воскликнула она, остановившись, чтобы перевести дыхание.—Я посижу немного.

Я погнал перед собой небольшое стадо котиков вперед, и пока она отдыхала, я покончил с ними и стал сдирать с них шкуры. А час спустя мы гордо шли по тропинке между гаремами назад. И дважды мы проходили мимо них, сгибаясь под тяжестью шкур, пока я не нашел, наконец, что на крышу нам достаточно. Тогда я поставил парус, и мы отправились обратно.

— Мы точно возвращаемся к себе домой,—сказала Мод, когда я вытащил лодку на песок.

Я с трепетом услышал ее слова, они были сказаны просто и задушевно.

— Мне кажется, будто я жил здесь всегда,—ответил я.—Все книги и их читатели в сравнении с этой действительностью кажутся мне далеким, туманным сном. Точно я охотился, совершал набеги и сражался всю свою жизнь. И точно вы тоже всегда разделяли эту жизнь со мной. Вы...—и уже готовы были сорваться с моего языка слова «моя жена, моя подруга», но я сдержался и быстро заменил их другими...—Вы тоже отлично переносите все трудности.

Но ее ухо почувствовало фальшь. Она поняла, что я не то хотел сказать, и бросила на меня быстрый взгляд.

— Вы хотели сказать что-то другое?

— Что вы, американская миссис Мейнель, живете жизнью дикарки и отлично приспособились к ней,—ответил я непринужденно.

— О!—сказала она, и я готов был поклясться, что в ее голосе звучала нотка разочарования.

Слова «моя жена, моя подруга» звучали в моих ушах весь остаток этого дня и в следующие дни. Но никогда они не звучали для меня так громко, как в тот вечер, когда она снимала мох с тлеющих угольев, раздувала огонь и готовила ужин. Должно быть, во мне тогда проснулся старый дикарь, с которым я искони был связан целым рядом последовательных рождений, составлявших мою расу. Старые, древние слова «жена, подруга» наполняли меня трепетом, и, тихо повторяя их снова и снова, я блаженно уснул.

ГЛАВА XXXI

— Она будет попахивать,—сказал я,—но зато не будет пропускать тепла и защитит нас от дождя и снега.

Мы окончили, наконец, крышу из котиковых шкур.

— Она неказиста, но отвечает цели, а это главное,—продолжал я, напрашиваясь на похвалу.

Она захлопала в ладоши и объявила, что крыша ей очень нравится.

— Но внутри темно,—сказала она в следующую минуту, пожав плечами, точно от невольной дрожи.

— Отчего же вы не напомнили мне об окне, когда я выводил стены?—спросил я.—Я строил для вас, и, кажется, вы должны были бы сказать, что окошко необходимо!

— Да, я недогадливая,—усмехнулась она.—Впрочем, вы можете пробить и теперь окно в стене.

— Совершенно верно, я не подумал об этом,—ответил я.—А вы не забыли заказать стекла? Позвоните по телефону фирме Ред, телефон № 44-51,—кажется, так,—и спросите, есть ли у них стекла по вашему вкусу.

— Это значит...

— ...Что окна не будет.

В хижине было темно и неприглядно; она была не лучше, чем свинушник в цивилизованной стране. Но для нас, не забывших испытаний, пережитых на море в маленькой лодке, она казалась довольно уютной. Отпраздновав новоселье при ярком освещении с помощью котикового жира, в который были вставлены фитили из шерсти, мы стали усиленно охотиться, чтобы запастись мясом на зиму, и строить другую хижину—для меня. Теперь это было уже легко: мы отправлялись утром и к полудню возвращались с полной лодкой. А затем, пока я строил хижину, Мод топила жир и коптила мясо. Я слышал однажды, как производится копчение ветчины, и наши котики, разрезанные на куски, висели над дымком и отлично прокапчивались.

Вторую хижину было строить гораздо легче, так как я пристраивал ее к первой, и нужно было выводить только три стены, а не четыре. Но все-таки это было не легким делом. Мы с Мод работали не покладая рук, с рассвета и до поздней ночи, до полного изнеможения, и когда доползали до своих постелей, то моментально засыпали мертвым сном. Мод заявила, что никогда не чувствовала себя так хорошо, как в это время. Я знал это по себе, но ведь она была такая слабенькая, что я часто побаивался, как бы она не надорвалась. Очень часто она падала, обессиленная, на спину, на песок, чтобы хоть сколько-нибудь отдохнуть и набраться сил. А затем она снова поднималась и принималась за дело с еще большей энергией. Как у нее хватало сил—было для меня загадкой.

— Будем отдыхать всю зиму,—отвечала она на мои наставления.—Не стоит говорить о таких пустяках.

Второе новоселье мы справили в тот вечер, как была покрыта моя хижина. Только-что окончился жесточайший трехдневный шторм,

который шел с юго-востока на северо-запад и всей своей тяжестью обрушился на нас. Прибой на песчаном берегу внешней бухты ревел как гром, и даже в нашей совершенно замкнутой бухточке море сильно волновалось. Ни одна скала не защищала нас от ветра, и он свистел и гудел вокруг наших хижин так, что я боялся, как бы они не развалились. Крыша из шкур, натянутая мною, казалось, очень туго, ходила вверх и вниз при каждом порыве ветра. Трещины в стенах, заткнутые мохом не так плотно, как рассчитывала Мод, открылись. Но котиковый жир весело горел, и нам было тепло и уютно.

Это был приятный вечер. Мы чувствовали себя спокойно. Мы могли встретить самую жестокую зиму; были вполне готовы к ней. Котики могли теперь плыть на юг в свой таинственный приют, нас это не страшило; да и штормы уже не пугали нас. Теперь мы не только могли рассчитывать на то, что отныне будем сухи, в тепле и в убежище, но у нас, кроме того, были мягкие постели, сделанные из моха. Это было изобретением Мод, и она сама собирала для них мох. В эту ночь мне предстояло впервые спать на матраце, и я знал, что буду спать крепче и слаще, потому что он был сделан ее руками.

Уходя от меня, она обернулась и сказала с задумчивой улыбкой:

— Что-то должно случиться. Уже надвигается. Я чувствую это. Что-то идет прямо на нас, сюда. И случится скоро. Я не знаю, что именно, но непременно случится.

— Хорошее или дурное?—спросил я.

Она покачала головой.

— Не знаю,—ответила она.—Но оно уже там, идет...

Она указала на море, волновавшееся от ветра.

— Это подветренный берег,—усмехнулся я.—И я предпочел бы быть на нем, чем приближаться к нему в такую ночь. Вы не боитесь?—спросил я, отворяя ей дверь.

Она храбро поглядела на меня.

— Значит, вы боитесь? Вы чувствуете себя хорошо?

— Как нельзя лучше,—ответила она.

Мы поговорили еще немного, и она ушла.

— Спокойной ночи, Мод!—сказал я.

— Спокойной ночи, Гемфри!—ответила она.

Итак, мы стали звать друг друга по имени, и это случилось само собой, не преднамеренно. В эту минуту я мог бы обнять ее и привлечь к себе. Я сделал бы это, если бы мы находились в обычных для нас условиях жизни. Но здесь я не мог об этом и думать. Оставшись один в моей лачуге, я почувствовал, как меня охватывает радость: теперь я знал, что между мной и Мод появились какие-то связующие нити, которых еще недавно не было.

ГЛАВА XXXII

Я проснулся с каким-то странным ощущением. Будто мне чего-то недоставало. Но это странное угнетенное состояние скоро прошло, когда я понял, что мне нехватало ветра. Я заснул при напряжении нервной системы от постоянных порывов ветра, а проснулся при полной тишине, что и поразило меня.

Это была моя первая ночь за много месяцев, проведенная мною в закрытом помещении. Я позволил себе несколько минут понежиться под одеялом, не промокшим от тумана или росы, стараясь дать себе отчет, во-первых, в том, какое впечатление производит на меня отсутствие ветра, и, во-вторых, какую радость ощущаю я, нежась на матраце, сделанном руками Мод. Одевшись и открыв дверь, я услышал, что волны все еще с шумом бьются о берег: доказательство, какая яростная буря была ночью. День был ясный и солнечный. Я проспал и, выйдя из хижины, решил наверстать потерянное время.

Но, оглянувшись, я вдруг остановился как вкопанный. Я не мог не верить своим глазам, но был ошеломлен тем, что увидел. В каких-нибудь пятидесяти футах от меня, носом вперед, со сломанными мачтами, лежало на берегу какое-то судно. Перепутанные мачты и реи с разорванными снастями свисали, покачиваясь, с его борта. Я стал протирать глаза. Вот самодельная наша судовая кухня, знакомый выступ кормы, низкая крыша кают-компании, едва видная из-за борта. Это был «Призрак»!

Какая прихоть судьбы занесла его сюда,—именно сюда, когда было столько других мест на океане? Какое чудесное совпадение? Я посмотрел на черные отвесные скалы, совершенно неприступные, которые окружали нас со всех сторон, и пришел в полное отчаяние. В самом деле, куда было теперь деваться? Я подумал о Мод, которая все еще спала в нами же построенной хижине; я вспомнил ее: «Спокойной ночи, Гемфри»; у меня все еще звучало в ушах: «моя жена, моя подруга», но теперь—увы!—это было уже похоронным звоном. А затем все помутилось у меня в глазах. Возможно, что это продолжалось всего с полсекунды, но я совершенно не знаю, как долго я не приходил в себя. Предо мною лежал «Призрак», врезавшись носом в песок, со сломанным бушпритом, торчащим кверху; снасти болтались у его борта. Что-то нужно было предпринимать, что-то нужно было делать? Но что?

Вдруг меня странно поразило то, что на судне не было никакого движения. Вероятно, экипаж, устав за ночь бороться с бурей, еще спал. Затем я стал обдумывать, как бы мне убежать с Мод. Что, если бы мы сели сейчас в нашу лодку и, пока все там спали,

спрятались бы поскорее за мыс? Я должен был немедленно же разбудить ее и попытаться бежать. И я уже протянул руку, чтобы постучать к ней, как вспомнил о ничтожных размерах нашего острова. Мы нигде на нем не могли бы скрыться. Перед нами было одно только спасение—безбрежный океан. И мне сразу же пришли на ум наши уютные хижины, наши запасы мяса и жира, моха и топлива, и я понял, что без них, если бы мы даже и пустились в море, никогда не смогли бы пережить зимы и жестоких бурь.

Так я стоял в нерешительности у дверей Мод. Оставаться долее на острове было невозможно. Невозможно! Дикая мысль—сейчас ворваться к ней и убить ее—появилась у меня, но тотчас же сменилась другим решением, более разумным. На шхуне теперь все спали. Что, если я взберусь сейчас на «Призрак», прокрадусь в каюту к Вульфу Ларсену и убью его? Он, вероятно, спит! А что будет потом,—мы посмотрим. Если его не будет в живых, то можно будет приготовиться к дальнейшему. Хуже, чем теперь, быть не могло.

Мой нож был при мне. Я вернулся к себе в хижину за ружьем, осмотрел его и отправился на «Призрак». С большим трудом и промокнув по пояс, я взобрался на палубу. Люк на баке оказался открытым. Я остановился и прислушался, не донесется ли до меня храп команды, но не было слышно ни малейшего звука. Я был настолько удивлен, что мне в голову пришла мысль: «Уж не покинут ли «Призрак» совсем?» Я стал прислушиваться еще внимательнее. Тишина полная. Тогда я спустился по лестнице вниз. Везде было пусто, и чувствовался такой запах, какой обыкновенно бывает в давно необитаемых помещениях. Везде полный беспорядок: валялась брошенная одежда, какие-то лохмотья, старые сапоги, рваные брезенты—одним словом, не имевший ровно никакой цены старый матросский хлам.

Когда я взошел на палубу, во мне окрепла уверенность, что шхуна была спешно покинута. Ко мне возвратилась надежда, и я стал чувствовать себя бодрее. Я заметил, что не осталось ни одной лодки. На корме была та же картина, как и на баке. Охотники, повидимому, укладывались так же поспешно, как и матросы. «Призрак» был покинут. Теперь он принадлежал Мод и мне. Я вспомнил о судовых кладовых и о запасах под кают-компанией и решил сделать для Мод сюрприз и принести ей к завтраку чего-нибудь вкусного.

Реакция после пережитого страха и сознание, что страшное преступление, для которого я сюда пришел, теперь не нужно, наполнили меня чисто детской радостью. И я стал спускаться в кают-компанию, шагая сразу через две ступеньки. Когда я проходил мимо кухни, то подумал с удовольствием о тех кастрюлях и сковородах,

которыми теперь мы можем воспользоваться. Я взбежал на корму — и вдруг увидел... Вульфа Ларсена. По инерции или от неожиданности я пробежал еще три-четыре шага, прежде чем заставил себя остановиться. Ларсен стоял на лестнице в кают-компанию, высунувшись наполовину, и упорно смотрел на меня. Он не сделал ни малейшего движения, а только стоял и смотрел.

Я задрожал. Появилось обычное чувство дурноты. Чтобы не упасть, я ухватился одной рукой за край рубки. Губы сразу пересохли, и я несколько раз облизнул их. Но я ни на одну минуту не спускал с него глаз. Мы оба молчали. Что-то страшное было в его молчании, в его неподвижности. Мой прежний страх перед ним возвратился с удесятеренной силой... Так мы стояли и смотрели друг на друга.

Я чувствовал, что должен что-то сделать, но я беспомощно ждал, что предпримет он. И так как время шло, то мое положение стало казаться мне похожим на то, какое я испытал недавно, когда подошел близко к громадному котику-самцу и вместо того, чтобы начать бить его, стал подумывать о том, как бы заставить его убежать. Я вдруг понял, что инициатива здесь должна принадлежать не Вульфу Ларсену, а мне.

Я взвел оба курка и навел ружье. Если бы он шевельнулся или попытался спуститься вниз, я непременно выстрелил бы в него. Но он стоял неподвижно и смотрел на меня. Я разглядел теперь, что лицо его сильно осунулось. Очевидно, он пережил сильные волнения. Щеки впали, появились морщины. И мне стало казаться, что в его глазах было что-то странное, и не только их выражение, но и внешний вид; казалось, что в них было какое-то напряжение, и они слегка косили.

Все это я видел, и в моем мозгу пронеслись тысячи мыслей. И все-таки я не мог спустить курок. Я подошел к углу рубки, чтобы дать своим нервам успокоиться. Затем я снова поднял ружье. Теперь он находился от меня так близко, что я мог бы достать до него рукой. Для него не оставалось надежды. Я решился. И тем не менее я все еще не мог спустить курок.

— Ну?—спросил он нетерпеливо.

Напрасно я старался заставить мои пальцы нажать собачку и напрасно хотел выговорить хоть одно слово.

— Почему вы не стреляете?—спросил он.

Я откашлялся, чтобы начать говорить.

— Сутулый,—начал он медленно,—вы все равно не сделали бы этого. И это все не от страха. Вы просто бессильны. Ваша мораль оказалась сильнее вас. Вы раб тех мнений, которые властвуют над известными вам людьми и о которых вы привыкли читать. Их кодекс вбит вам в голову, вы всосали его вместе с молоком

матери, и вопреки вашей философии и всему тому, чему я вас учил, они не позволили бы вам убить безоружного и неоказывающего сопротивления человека.

— Я знаю,—ответил я хрипло.

— И знаете также, что я убил бы безоружного человека так же легко, как выкурил бы сигару,—продолжал он.—Вы знаете и мою цену в мире, по вашим понятиям. Вы называли меня змеей, тигром, акулой, чудовищем и Калибаном. И все-таки вы тряпичная кукла, эхо чужих мнений! Вы оказались неспособным убить меня, как вы убили бы змею или акулу, и только потому, что я обладаю точно такими же руками, ногами и телом, как и вы. Э, да что говорить! Я был о вас лучшего мнения, Сутулый.

Он вылез из люка и подошел ко мне.

— Опустите ружье,—сказал он.—Я хочу задать вам несколько вопросов. Я еще не успел осмотреться. Что это за место? В каком положении «Призрак»? Почему вы так мокры? Где Мод? То-есть виноват, мисс Брюстер... или я теперь должен сказать—миссис Ван-Вейден?

Я отступил от него, чуть не плача, что не смог убить его, но все еще не выпуская ружья. В отчаянии я надеялся, что он позволит себе какой-нибудь враждебный поступок по отношению ко мне. Если бы он попытался задушить или ударить меня! Я знал, что только тогда я действительно смог бы в него выстрелить.

— Это «Остров Усилий»,—ответил я.

— Никогда не слыхал о таком...—буркнул он.

— По крайней мере, мы дали ему такое название.

— Мы?—переспросил он?—Кто это «мы»?

— Мисс Брюстер и я. А «Призрак», как вы сами можете убедиться, прибит к берегу и уперся носом в песок.

— Тут есть котики. Они разбудили меня своим ревом, а то я спал бы до сих пор. Я слышал их еще ночью, когда меня ветром прибило сюда. И я понял по этому реву, что буду в безопасности. Здесь их, должно быть, несметное количество. Я мечтал о таком острове всю свою жизнь. Значит, я открыл здесь целый клад. Спасибо моему братцу. Это все по его милости. А каково географическое положение острова?

— Понятия не имею. Но у вас должны быть сведения. Каковы были ваши последние измерения?

Он как-то странно улыбнулся, но не ответил.

— А где ваша команда?—спросил я.—Как это случилось, что вы остались один?

Я уже приготовился к тому, что он и на этот раз мне не ответит, как вдруг, к удивлению моему, он с готовностью заговорил.

— Мой братец покончил со мною меньше чем в двое суток, и не по моей вине,—сказал он.—Он схватил меня на абордаж ночью, когда на палубе был всего один вахтенный. Охотники тотчас же перешли к нему. Он предложил им больше, чем я. Я сам слышал, как он с ними торговался. Он сделал это у меня под носом. Конечно, и команда последовала примеру охотников и бросила меня. Впрочем, этого надо было ожидать. Одним словом, все до единого человека перешли к моему брату, и я остался на своем же собственном судне, как на необитаемом острове. Это все штуки моего братца, он одержал верх.

— Как же вы потеряли мачты?

— Обойдите кругом и посмотрите,—ответил он, указав на те места, где прикреплялись снасти бизань-мачты.

— Они были обрезаны ножом!—воскликнул я.

— Не совсем,—усмехнулся он.—Шутка оказалась более забавной. Осмотрите снова!

Я посмотрел. Все веревки оказались надрезанными до половины, так что мачты могли слегка держаться до первой серьезной непогоды.

— Это дело рук повара,—засмеялся Ларсен.—Я знаю это, хотя я не поймал его ни разу на месте преступления. Способ сводить со мной старые счеты.

— Ай да Магридж!—воскликнул я.—Что же вы делали, когда все это происходило?

— Можете быть уверены, что все, что от меня зависело, хотя и не слишком много, судя по результатам.

Я принялся опять рассматривать работу Магриджа.

— Я полагаю,—сказал Вульф Ларсен,—что могу сесть и погреться на солнышке?

В его голосе слышался намек, легкий намек на физическую слабость, и это показалось мне настолько странным, что я бросил на него быстрый взгляд. Он нервно проводил рукою по лицу, точно старался смахнуть с него паутину. Я был в недоумении. Он не походил на прежнего Вульфа Ларсена!

— А как ваши головные боли?—спросил я.

— Плохо,—ответил он.—Кажется, опять начинается припадок.

Он опустился на палубу и лег. Затем повернулся на бок, положил голову на руку, а другой рукой защитил глаза от солнца. Я стоял и с удивлением смотрел на него.

— Теперь очередь за вами, Сутулый...—сказал он.—Действуйте!

— Я вас не понимаю,—солгал я, хотя отлично понял, на что он намекал.

— Ну, ничего,—тихо проговорил он, точно в дремоте.—Я здесь к вашим услугам, вы этого хотели.

— Нет,—возразил я.—Я желал бы, чтобы вы были сейчас отсюда за тридевять земель.

Он усмехнулся и больше не сказал ни слова. Теперь он был совершенно равнодушен к тому, что я прошел мимо него и спустился в каюту. Я открыл люк, но все-таки не без некоторого боязливого сомнения заглянул в зиявшую темноту. Я не решался спуститься. Что, если его лежание там на солнышке только хитрость? Тогда попадешься как крыса в западню. И я снова поднялся наверх и украдкой посмотрел на него. Он лежал в том же положении. Опять я сошел вниз; но прежде чем спуститься в кладовую, я из предосторожности далеко отбросил крышку люка. По крайней мере, теперь ловушка осталась без крышки. Я принес в каюту изрядный запас ветчины, бисквитов, консервов в жестянках и выгрузил их на пол около входа в кладовую.

Вульф Ларсен лежал все в том же положении. И вдруг меня озарила блестящая мысль. Я пробрался в его каюту и взял все его револьверы. Другого оружия я не нашел, хотя обшарил остальные каюты. Чтобы обезопасить себя еще более, я снова поднялся наверх и, пройдя всю шхуну от носа до кормы, зашел в кухню и забрал все кухонные ножи. Вспомнил я и о том громадном ноже, который он всегда носил при себе, и, подойдя к нему вплотную, окликнул его, сперва тихонько, а потом громко. Он не шелохнулся. Тогда я нагнулся и вытащил у него из кармана этот нож. Теперь я мог вздохнуть свободно. При нем не осталось никакого оружия, которым он мог бы повредить мне на расстоянии; а если бы ему опять захотелось схватить меня, как горилла, своими ужасными руками за горло, то я, вооруженный, мог бы всегда оказать ему сопротивление.

Дополнив свою добычу кофейником и громадной сковородой, я захватил из буфета немного чайной посуды и оставил Вульфа Ларсена лежать на солнышке. Когда я возвратился на берег, Мод все еще спала. Я разложил костер (мы еще не обзавелись зимней кухней) и с лихорадочной быстротой принялся за приготовление завтрака. Когда я кончал, то услышал, что Мод встала. Все было готово и кофе налит, когда дверь отворилась, и она вышла.

— Это нечестно,—весело упрекнула она меня.—Вы узурпируете одну из моих прерогатив. Ведь мы же с вами условились, готовить буду я, и вдруг...

— Ну, это только один раз,—оправдался я.

— Смотрите у меня! Не нарушать обещания! Конечно, если вам не надоела еще моя стряпня!

К моему удовольствию, она ни разу не взглянула на морской берег, а я постарался отвлечь ее внимание шутками и сделал это с таким успехом, что она бессознательно выпила из фарфоровой чашечки

кофе, съела сваренный на пару картофель и намазала мармеладу на бисквит. Но это не могло долго продолжаться. Я заметил, какое удивление появилось у нее на лице. По фарфоровой тарелке, на которой была пища, она догадалась, в чем дело и, покончив с завтраком, стала рассматривать каждый предмет отдельно. Она посмотрела на меня и медленно перевела взгляд на морской берег.

— Гемфри!—воскликнула она.

Ужас исказил ее лицо.

— Это он?—спросила она с дрожью в голосе.—Он... здесь?

Я молча кивнул.

ГЛАВА XXXIII

Целый день мы ожидали, что вот-вот Вульф Ларсен сойдет на берег. Это было время ужасной тревоги. Мы поминутно бросали взгляды в сторону «Призрака», но Ларсен не показывался на палубе.

— Может быть, у него болит голова,—сказал я.—Я оставил его лежащим на корме. Возможно, что он пролежал там целую ночь. Надо бы пойти взглянуть.

Мод умоляюще посмотрела на меня.

— Вы не беспокойтесь за меня,—продолжал я.—Я возьму с собой револьвер. Я ведь захватил с собой решительно все оружие со шхуны.

— Но у него остались руки, эти ужасные, ужасные руки!—возразила она и затем громко воскликнула:—Нет, Гемфри, я боюсь его! Пожалуйста, не ходите туда!

Она с мольбой коснулась моей руки, и сердце мое быстро забилось. Вероятно, глаза мои выдали меня. Дорогая, любимая женщина! Она была так женственна в своей мольбе! Я готов был обвить ее стан рукой, как и тогда, когда мы шли с ней через стадо котиков, но заставил себя сдержаться.

— Я ничем не рискую,—сказал я.—Я просто вскарабкаюсь на нос и посмотрю.

Она крепко пожала мне руку и отпустила меня. Но на том месте, где я оставил Ларсена вчера, его уже не было. Очевидно, он сошел вниз. И мы должны были всю ночь дежурить по очереди и спать по очереди, так как нельзя было предвидеть, на что решится Вульф Ларсен. Он был способен на все.

Мы прождали день, и еще день—о нем не было ни слуху ни духу.

— Это приступы головной боли у него...—сказала Мод на четвертый день, после обеда.—Может быть, он болен, и даже очень болен. А может быть, уже и умер...

— Или умирает,—добавила она задумчиво, видя, что я не отвечаю.

— Весьма возможно,—согласился я.

— Подумайте, Гемфри, один—и при последнем издыхании!..

— Может быть...

— И очень может быть. Но как узнать это? Будет ужасно, если он действительно умирает теперь... Я никогда себе этого не прощу. Мы должны что-нибудь сделать.

— Может быть,—повторил я.

Я слушал и думал с улыбкой о ее женской душе, заставлявшей ее жалеть даже Вульфа Ларсена. «Куда же девалось сострадание ко мне?—думал я.—Еще вчера она боялась отпустить меня даже посмотреть на «Призрак».

Она была слишком чутка, чтобы не понять моего молчания... Она была так же пряма, как и чутка.

— Вы должны итти на судно, Гемфри, и посмотреть, что с ним,—сказала она.—А если вы хотите посмеяться надо мной, то я разрешаю вам и заранее вас прощаю.

Я послушно отправился на берег.

— Только будьте осторожнее!—крикнула она мне вслед.

Я помахал ей рукой с носа шхуны и спрыгнул на палубу. Затем я прошел до кормы, спустился в кают-компанию и стал звать Ларсена. Он мне ответил, и когда я услышал, что он поднимается наверх, я взвел курок револьвера. Я открыто размахивал им во время нашего разговора, но Ларсен не обратил на это никакого внимания. С внешней стороны он казался мне таким же, каким я его видел в последний раз, но был угрюмее и молчаливее. Да и те несколько слов, которыми мы с ним перекинулись, едва ли можно было назвать разговором. Я не спрашивал его, почему он не сходил на берег, а он, со своей стороны, не задавал мне вопроса, почему я не приходил на шхуну. Он сказал, что чувствует себя хорошо, и, без дальнейших разговоров, я отправился домой.

Мод выслушала мой доклад с заметным облегчением, а когда из трубы корабельной кухни поднялся дымок, то она совсем успокоилась. Дым шел из трубы и в следующие дни, и несколько раз мы видели самого Вульфа Ларсена на корме. Он не делал никаких попыток сойти на берег. Это мы знали точно, потому что все еще поочередно дежурили по ночам. Все-таки мы ожидали, что он чем-нибудь проявит себя, и его бездействие удивляло и угнетало нас.

Прошла неделя. Нас интересовал в это время только Вульф Ларсен. Его присутствие тяготило нас и мешало нам заниматься обычными делами.

К концу недели дым перестал подниматься из кухонной трубы, и сам он не показывался больше на корме. Мод опять забеспокоилась, хотя и не повторяла—может быть, из гордости—своей просьбы навестить Ларсена. Да и в самом деле, как можно было упрекать ее?

Она была настоящей альтруисткой—и в то же время женщиной. Я и сам испытывал некоторое болезненное чувство при мысли, что этот человек, которого я хотел убить, умирает теперь один, тогда как мы двое находимся от него так близко. Он был прав. Кодекс моральных правил того круга, к которому я припадлежал, был сильнее меня. Самый факт, что у него были такие же руки, ноги и такое же тело, как у меня, предъявлял ко мне свои требования, которых я не мог игнорировать.

Поэтому я не стал ждать, когда Мод попросит меня. К тому же у нас вышло все сгущенное молоко и мармелад, и я объявил, что отправляюсь на судно. Я видел, как Мод вздрогнула. Она стала меня уверять, что молоко и мармелад не так уж нужны и что поэтому моя экспедиция на «Призрак» не является необходимой. А так как она умела понимать меня без слов, то мне не нужно было ей объяснять, что я отправляюсь не за молоком и не за мармеладом, а только для того, чтобы избавить ее от беспокойства, которое она тщетно старалась от меня скрыть.

Взобравшись на бак, я снял сапоги и в одних чулках бесшумно отправился на корму. На этот раз я не стал звать Вульфа Ларсена через вход в кают-компанию, но осторожно сошел вниз. Каюта была пуста. Дверь в его личную каюту оказалась запертой. Сперва я думал постучать, но затем вспомнил, зачем я сюда пришел, и решил пополнить сперва наши запасы. Тщательно избегая шума, я открыл люк и крышку от него отставил в сторону. Одежда и провизия хранились в одной кладовой, и я имел возможность запастись и некоторым количеством белья.

Когда я вылез из кладовой, я услышал звуки, долетавшие до меня из каюты Вульфа Ларсена. Я притаился и стал слушать. Ручка на двери зашевелилась. Инстинктивно я спрятался за стол, взял револьвер и взвел курок. Дверь распахнулась, и он вошел. Никогда еще я не видел такого глубокого отчаяния, какое было теперь на лице у Вульфа Ларсена, этого сильного, непобедимого человека. Он ломал руки, как женщина, потрясал кулаками и стонал. Один кулак у него разжался, и открытой ладонью он провел по глазам так, точно хотел стереть с них паутину.

— Боже мой, боже мой!—простонал он, и сжатые кулаки снова поднялись кверху в безграничном отчаянии.

Это было ужасно, и я почувствовал, как дрожь прошла у меня по спине, и холодный пот выступил на лбу. Я не знаю, может ли быть на свете что-нибудь более ужасное, чем вид человека-богатыря в момент его крайней слабости и бессилия.

Но Вульф Ларсен овладел собой, сделав страшное усилие воли. Все его существо находилось в борьбе. Он походил теперь на человека,

которому грозит удар. Его лицо исказилось от напряжения. Снова он сжал кулаки, потряс ими и застонал. Раза два он глубоко, судорожно вздохнул. А затем вдруг успокоился. Снова я узнавал в нем прежнего Вульфа Ларсена, хотя в его движениях оставалась некоторая слабость и нерешительность.

Теперь я стал бояться уже за себя. Открытый в подполье люк находился как раз у него на пути, и если бы он обратил на него внимание, то, значит, обратил бы внимание и на меня. И я досадовал на себя за то, что меня могут застать в такой трусливой позе, скорчившимся на полу. Но время еще не ушло.

Я быстро поднялся на ноги и совершенно бессознательно принял вызывающую позу. Но он не заметил меня. Не заметил он также и открытого люка. И прежде чем я мог сообразить или что-нибудь предпринять, он ступил прямо в открытый люк. Одна нога уже опустилась в отверстие, в то время как другая готова была подняться, чтобы сделать шаг. Но как только опустившаяся нога потеряла точку опоры и ощутила под собой пустоту, в нем вдруг проснулся прежний Вульф Ларсен, который, как тигр, напрягши мускулы, перепрыгнул вдруг через люк. Но он потерял равновесие и упал по ту сторону люка, растянувшись на полу, ударившись грудью и животом и вытянув вперед руки. А затем он подобрал под себя ноги и пополз ощупью. Он полз прямо на мой мармелад, на белье и на крышку от люка, валявшуюся в стороне.

По выражению его лица было видно, что он понял все. Но прежде чем я мог догадаться, что он понял, он закрыл отверстие люка крышкой и таким образом запер выход из кладовой. Тогда понял и я. Он предположил, что я остался внизу. Значит он был слеп,— слеп, как летучая мышь! Я наблюдал за ним, затаив дыхание и боясь, как бы он меня не услышал. Он направился прямо к своей каюте. Я заметил, что он не сразу нашел ручку от двери, а шарил рукой по самой двери и затем уже схватился за ручку. Пока он шарил, я на цыпочках прошел через каюту к выходу. Он возвратился, притащив с собой тяжелый сундук, и завалил им вход в кладовую. Не удовлетворившись этим, он достал второй сундук и взвалил его на первый. Затем он собрал с полу мармелад и белье и положил их на стол. Когда же он стал подниматься по трапу наверх, я отступил, тихонько перебравшись через крышу каюты.

Ларсен откинул назад крышку этого люка и положил на нее руки. Он пристально смотрел вдоль судна немигающими глазами. Я находился в пяти футах от него, и взгляд его был направлен на меня. Мне стало жутко. Я почувствовал себя бесплотным духом или под шапкой-невидимкой. Я помахал ему рукой, но без результата. Однако, когда тень от моей руки упала ему на лицо, я заметил, что

это произвело на него впечатление. На лице у него появилось выражение ожидания и внимания, как будто он желал проанализировать и дать определение этому впечатлению. Его задело что-то, находившееся тут, вблизи, но что именно,—он понять не мог. Тогда я перестал махать рукой, и тень оставалась на лице без движения. Он стал медленно отводить голову то назад, то вперед, наклонять ее то на один бок, то на другой, стараясь высвободиться из-под тени, и попадал то на яркое солнце, то опять в тень, точно хотел этим проверить ощущение.

Я тоже весь был поглощен желанием уяснить себе, каким именно образом он мог почувствовать на себе такую неуловимую вещь, как тень. Если бы его глазные нервы не были поражены—это было бы понятно. Но он был слеп, и нервы были атрофированы [1],—значит кожа у него на лице была так чувствительна, что он мог ощущать даже легкую тень. А может быть,—кто знает?—это было у него шестым чувством, о котором так много теперь говорят.

Покончив с попытками определить, откуда падает тень, он поднялся на палубу и пошел вперед с такою уверенностью, что я был поражен. И все-таки в его походке была какая-то настороженность слепца. Теперь я понял, почему он так ходит.

К моему горю и удивлению, он наткнулся на мои сапоги, стоявшие на носу, взял их и унес с собой в кухню. Затем я увидел, что он развел огонь и стал готовить себе пищу. А я пробрался опять в кают-компанию за мармеладом и бельем, незаметно проскользнул мимо кухни, спрыгнул на берег и босой явился с рапортом о происшедшем.

ГЛАВА XXXIV

— Как жаль,—сказала Мод,—что «Призрак» потерял свои мачты. А то бы мы могли воспользоваться им и уплыть. Как вы думаете, Гемфри?

В волнении я вскочил.

— В самом деле! В самом деле!—стал я повторять, шагая взад и вперед.

Глаза Мод с ожиданием следили за мной. Она верила в меня! А это, в свою очередь, придавало мне силы, и я вспомнил изречение Мишле: «Женщина для мужчины—это то же, что земля для ее легендарного сына: ему достаточно было прикоснуться к ней и поцеловать ее, чтобы он вновь почувствовал себя сильным». В первый раз в жизни я ощутил на себе всю правду этого изречения. Да, я теперь переживал это сам. Мод была для меня всем, она была

---

[1]) То-есть — потеряли способность выполнять свое назначение.

для меня неиссякаемым источником бодрости и силы. Достаточно было для меня взглянуть на нее или подумать о ней,—и я снова чувствовал себя сильным.

— Надо попробовать, надо попробовать,—думал я вслух.—Ведь пробуют же другие, почему бы не попробовать и мне? И если это удавалось до сих пор другим, то почему не должно удаться и мне?

— Что? Что именно?—умоляла Мод.—Не мучьте меня. Что должно удаться и вам?

— Мы выполним это!—продолжал я разговаривать сам с собой.—Мы поставим на «Призраке» мачты и уплывем!

— Гемфри!—воскликнула она.

И я вдруг почувствовал в себе гордость от этой мысли, точно она была уже приведена в исполнение.

— Но неужели это возможно сделать?—спрашивала Мод.

— Не знаю,—ответил я.—Знаю только, что готов приняться за это дело хоть сейчас.—Я самоуверенно улыбнулся ей, так самоуверенно, что она опустила глаза и на минуту смолкла.

— Но ведь там сейчас Вульф Ларсен,—возразила она наконец.

— Слепой и беспомощный,—ответил я быстро, отбрасывая это препятствие, точно соломинку.

— Но у него остались его ужасные руки. Его сила! Ведь вы рассказывали, как он уверенно перепрыгнул через люк.

— Я рассказывал вам также и то, как я увертывался от Ларсена и как улизнул от него.

— За что и остались без сапог.

— Да, сапогам не удалось убежать от Вульфа Ларсена без моего содействия.

Мы оба засмеялись, а потом с серьезным видом принялись за обсуждение плана, как поставить мачты на «Призраке» и как возвратиться на нем в населенный людьми мир. Я стал припоминать то, что учил когда-то по физике в школе. С механикой я уже познакомился на опыте, прослужив столько месяцев на шхуне. Должен сказать при этом, что когда мы оба отправились к «Призраку», чтобы на месте ознакомиться с предстоящим нам делом, то один вид длинных мачт, свесившихся в воду, привел меня в отчаяние. С чего же начать? Другое дело, если бы у нас уцелела хоть одна мачта, к которой мы могли бы прикрепить блок и веревки! Но у нас не было ничего. Это мне напомнило сказку о том человеке, который поднял себя на воздух за шнурок от собственного башмака. Я понимал механику подъемов, но где было взять точку опоры?

Грот-мачта в тупом конце была пятнадцати дюймов в диаметре; длина ее была шестьдесят пять футов, и, по моим рассчетам, весить

она могла никак не менее трех тысяч фунтов. Фок-мачта была еще тяжелее. Мод в безмолвии стояла рядом со мной, а я все еще старался что-нибудь придумать. Скрестив и связав между собой концы двух бревен и подняв их на воздух в виде перевернутой верх ногами буквы V, я получил бы над палубой точку, к которой мог прикрепить подъемный блок. К этому блоку, в случае надобности, я мог бы прикрепить еще и второй блок, и таким образом у меня получился бы подъемный кран.

Заметив, что я пришел к определенному решению, Мод ободряюще посмотрела на меня.

— Что же вы собираетесь делать?—спросила она.

— Разобраться сперва во всей этой путанице,—ответил я, указав на целый узел снастей, болтавшихся сбоку корабля в воде.

Ах, с какой решительностью я это сказал и как гордо прозвучали мои слова! «Разобраться в путанице!» Вы только подумайте! Ведь эта самонадеянная фраза слетела с губ самого Гемфри Ван-Вейдена!

Вероятно, у меня и в голосе и в позе было что-то мелодраматическое, потому что Мод улыбнулась. Способность оценивать смешное была в ней развита в высокой степени, и она безошибочно подмечала все комичное. Это была ее характерная черта, очень важная для нее, как литературного критика. Серьезный критик, обладающий чувством юмора и силой выражения, всегда и неизбежно будет направлять жизнь общества, и всегда оно будет прислушиваться к его словам. Так было и с ней: она направляла.

— Я, кажется, слышала это выражение где-то раньше,—весело сказала она.—Или знаю его из книг,—добавила она, улыбаясь.

Я понял, над чем она смеется, и сконфузился.

— Ну, не обижайтесь,—прибавила она.

— Я и не обижаюсь,—ответил я.—Это мне только на пользу. Во мне еще много мальчишеского. Но все это к делу не относится. Нам действительно нужно «разобраться в путанице». Если вы согласны сесть со мною в лодку, то давайте подплывем к снастям и распутаем их.

Весь остаток дня мы провели за работой. Ее обязанностью было удерживать лодку на месте, в то время как я распутывал снасти. И какая это была путаница! Я разрезал только там, где это было крайне необходимо, и, подсовывая длинные веревки под мачты и реи и выбирая их опять из воды, я растягивал их в длину, складывал кругами в лодку и скоро промок до костей.

Мелкие паруса все-таки пришлось отрезать, а большие, отяжелевшие от воды, потребовали крайнего напряжения сил. Но я тем не менее еще до наступления ночи успел снять их все и разостлать

для просушки на берегу. Мы оба страшно устали и почти не могли есть за ужином. За этот день мы выполнили чрезвычайно большую работу, хотя на первый взгляд она и могла показаться незначительной.

На следующее утро, с Мод в качестве помощницы, я спустился в трюм шхуны, чтобы расчистить там гнездо для грот-мачты. Едва только мы начали работу, как на звуки топора и молотка явился Вульф Ларсен.

— Эй, кто там?—крикнул он сверху в открытый люк.

Услышав его голос, Мод тотчас же прижалась ко мне, точно ища защиты, и все время, пока я с ним разговаривал, не снимала руки с моего плеча.

— Здравствуйте!—ответил я.—Доброе утро!

— Что вы там делаете? Хотите потопить мою шхуну?

— Наоборот. Я починю ее.

— Но, чорт возьми, что вы чините там?—спросил он уже с тревогой в голосе.

— Хочу подготовить все для установки мачт,—ответил я так просто, будто это было самым легким делом на свете.

— Кажется, вы и впрямь стали на ноги, Сутулый!—донесся до нас его голос сверху.

Некоторое время он молчал.

— Вы не сумеете сделать это, Сутулый,—опять послышался его голос.—Слышите?

— Нет, сделаю,—возразил я.—Я уже работаю!

— Но это моя шхуна, моя собственность. Я вам запрещаю!

— Напрасно. Вы уже теперь не прежний большой кусок жизненных дрожжей. Правда, когда-то вы были способны даже «съесть меня», как вы говорили, но с тех пор многое переменилось. Теперь я способен съесть вас. Дрожжи выдохлись.

Он отрывисто и неприятно засмеялся.

— Я вижу, вы собираетесь применить ко мне мою же философию,—сказал он.—Но вам это не удастся: вы ошиблись, не дооценив меня. Для вашей же пользы говорю вам: перестаньте!

— С каких это пор вы стали филантропом?—допытывался я.—Сознайтесь, что вы очень непоследовательны, если стараетесь убедить меня для моей же собственной пользы.

Он не обратил внимания на мой сарказм.

— А если я захлопну над вами люк?—крикнул он.—Что тогда? Теперь уж я не буду таким дураком, как тогда, когда вы лазили в кладовую.

— Вульф Ларсен,—сказал я грозно, в первый раз за все это время назвав его по имени,—я не могу стрелять в беспомощного,

безоружного человека. Вы мне это доказали, к моему и вашему удовольствию. Но я предупреждаю вас,—и не столько для вашей пользы, сколько для своей собственной,—что я убью вас немедленно, при первой враждебной выходке против меня. Я могу убить вас и теперь, пока вы здесь стоите, и если это вам нравится, то пожалуйста! Можете закрывать люк, сколько вам будет угодно!

— Тем не менее я запрещаю вам, категорически запрещаю прикасаться к моей шхуне!

— Перестаньте,—упрекнул я его.—Вы утверждаете, что это судно ваше, точно имеете на это моральное право. А сами-то позабыли, что в отношении ко всем другим вы никогда не считались с этим правом! Неужели же вы воображаете, что я буду церемониться с вами и буду применять это право к вам?

Я подошел к открытому люку, чтобы лучше видеть его. Его лицо страшно изменилось: оно было лишено всякого выражения; немигавшие, уставившиеся в одну точку глаза уродовали его. На него неприятно было смотреть.

— Все перестали меня уважать,—проговорил он насмешливо,—даже Сутулый!

Его голос звучал презрением, но лицо оставалось попрежнему бесстрастным.

— Как поживаете, мисс Брюстер?—неожиданно проговорил он после паузы.

Я вздрогнул. Она до сих пор не издала ни звука, даже не шевельнулась. Как он мог догадаться, что она была со мной? Неужели в нем еще остались слабые признаки зрения? А может быть, зрение к нему вернулось?

— Здравствуйте, капитан Ларсен!—ответила она.—Как вы узнали, что я здесь?

— Услышал ваше дыхание. А ведь Сутулый сделал большие успехи! Как вы думаете?

— Не знаю,—ответила она с улыбкой.—Я никогда не знала его другим.

— Ну, нет! Посмотрели бы вы, каким он был раньше!

— За это время я принимал Вульфа Ларсена,—пробурчал я,—и в больших дозах.

— Я предупреждаю вас, Сутулый,—сказал он с угрозой.—Оставьте шхуну в покое!

— А разве вам не хочется выбраться отсюда, как и нам?—спросил я его недоверчиво.

— Нет,—последовал ответ.—Я хочу умереть здесь.

— А мы этого не хотим,—ответил я решительно и снова застучал молотком.

ГЛАВА XXXV

На следующий день, расчистив гнезда для мачт и приведя все в порядок, мы решили втянуть на борт две стеньги. Грот-стеньга была длиною свыше тридцати футов, фок-стеньга [1])—около тридцати, и из них-то я и собирался соорудить стрелы для подъемного крана. Это была нелегкая работа. Прикрепив один конец толстой веревки к вороту на шхуне, а другой привязав к основанию фок-стеньги, я начал тянуть. Мод помогала мне вертеть ворот и укладывала в бухту канат.

Мы удивились, как легко оказалось втянуть такой груз на судно. Ворот был усовершенствованной системы и развивал огромную силу. Конечно, то, что мы выигрывали в силе, мы теряли в расстоянии: моя сила была обратно пропорциональна длине веревки, за которую я тянул. Канат медленно полз через борт, и по мере того как брус выходил из воды, вертеть рукоятку становилось все труднее. Когда же конец стеньги поровнялся с перилами, дело застопорилось.

— Я должен был предвидеть это,—сказал я нетерпеливо.—Теперь нам надо начинать все сначала.

— А почему бы не привязать канат ближе к середине мачты,—посоветовала Мод.

— Об этом-то и надо было раньше подумать,—ответил я, крайне недовольный собой.

Я опустил стеньгу снова в воду и привязал к ней веревку на треть дальше от толстого конца. Через час я опять поднял ее, но она снова уперлась в борт. Я сел и стал обдумывать положение. Я просидел недолго. Вскоре я с торжеством вскочил на ноги.

— Нашел!—воскликнул я.—Надо прикрепить канат у центра тяжести! И так нужно будет поступать со всеми предметами, которые нам придется поднимать на судно.

И опять пришлось все начинать сначала и спустить стеньгу обратно в воду. Но все-таки и теперь я плохо рассчитал место центра тяжести: на этот раз кверху пошла верхушка стеньги. Мод следила за работой с отчаянием, а я посмеивался и говорил, что все обойдется хорошо.

Указав ей, как надо вертеть ворот и как остановиться, когда я крикну ей, я стал руками направлять движение стеньги, и когда мне показалось, что стеньга достаточно поднялась, я дал сигнал Мод остановиться. Но, вопреки моим ожиданиям, брус стал опять сползать в воду.

---

[1]) Грот-стеньга и фок-стеньга — продолжение грот-мачты и фок-мачты (большие мачты делаются составными).

В разгар нашей работы появился Вульф Ларсен. Мы обменялись с ним приветствием, и хотя он ничего не видел, он сел на ступеньку и по долетавшим до него звукам стал следить за нами. Теперь я применил другую систему. Я устроил блок и стал тянуть веревку через него. Стеньга медленно поднималась, пока, наконец, не повисла в воздухе над бортом; тогда я, к своему удивлению, заметил, что работа Мод оказалась ненужной. Укрепив неподвижно блок, я сам вертел ворот и мало-по-малу вытаскивал стеньгу. Ее верхняя часть наклонилась к палубе, и вся стеньга наконец-то повалилась на палубу.

Я посмотрел на часы. Было двенадцать. Болела спина, я устал и был голоден, а на палубе лежала всего одна стеньга в результате упорной работы в течение всего утра. Теперь только я стал убеждаться, как непосильна была для нас эта работа. Но я учился. Послеобеденная работа должна была показать, что я мог добиться, и она показала это. Мы возвратились через час, немножко отдохнув и подкрепившись сытным обедом.

Меньше чем в час я благополучно поднял на судно и грот-стеньгу и стал устраивать подъемный кран. Связав крест-накрест верхушки обоих брусьев, при чем один конец был несколько длиннее, так как размеры их были неодинаковы, я к точке их пересечения прикрепил двойной блок и перекинул через оба его колеса веревку для подъема. Чтобы воспрепятствовать основаниям стеньги скользить по палубе, я набил на ней толстые планки. Окончив эту работу, я прикрепил веревку к верхушкам стрел и провел ее на ворот. Теперь все мои надежды возлагались на этот ворот. Попрежнему Мод вертела, а я направлял движение.

Спустились сумерки, когда я закончил работу. Вульф Ларсен, который все время сидел и слушал, но ни разу не открыл рта, отправился в кухню и стал приготовлять себе ужин. У меня так болела спина, что я едва мог разогнуться. Но я гордо смотрел на свою работу. Я сгорал от желания поднять что-нибудь с помощью моего крана; я радовался точно ребенок, получивший новую игрушку.

— Жаль, что уже поздно,—сказал я.—А то бы я попробовал, как он будет работать.

— Не будьте жадны, Гемфри,—упрекнула меня Мод.—Утро вечера мудренее, к тому же вы устали так, что едва стоите на ногах.

— А вы?—ответил я участливо.—Вы тоже устали. Вы работали не за страх, а за совесть. Я горжусь вами, Мод.

— Наполовину меньше, чем я вами, и с наполовину меньшим на то основанием,—отвечала она, посмотрев мне в лицо с каким-то особенным выражением; мелькнувший в ее глазах огонек, какого я не видел в них еще ни разу, какою-то сладкой болью отозвался

у меня в сердце, но я не понял его значения. Она опустила глаза, а затем подняла их вновь и засмеялась.

— А что, если бы нас теперь увидели наши знакомые?—сказала она.—Посмотреть бы на нас со стороны! Знаете, на кого вы стали похожи?

— Знаю,—ответил я.—Я частенько посматриваю и на вас.

Я все еще продолжал думать о том, что заметил в ее глазах, и меня удивила эта быстрая перемена нашего разговора.

— Благодарю вас!—воскликнула она.—На кого же я стала похожа?

— Почти на гороховое пугало,—ответил я.—Взгляните, например, хотя бы на эту вашу изорванную в клочья юбку, на эти лохмотья! А блузка! Не нужно быть Шерлоком Холмсом, чтобы догадаться, что вы стряпаете над костром и вытапливаете жир из котиков. А шляпа? Вот так шляпа! И это женщина, перу которой принадлежит «Вынужденный поцелуй»...

Она сделала мне глубокий реверанс и сказала:

— А что касается вас, сэр...

В течение пяти минут мы весело болтали, но под этими шутками скрывалось что-то серьезное, и я поставил это в связь с тем выражением, которое подметил в ее глазах. Но что это могло быть? Значило ли это, что мы стали разговаривать нашими взглядами более красноречиво, чем словами? Я знаю, что мои глаза несколько раз выдавали меня, но я заставлял их молчать. Неужели она все-таки заметила и поняла? И отвечали ли ее глаза мне? Что бы ни означало выражение ее глаз, тот трепетный огонек выражал больше, чем слова. А может быть, и не так! Я был неопытен в разговоре глазами. Я был просто Гемфри Ван-Вейден, писатель, который был влюблен. Я все время думал об этом, когда мы подтрунивали друг над другом, пока, наконец, не добрались до берега, где уж и без того было о чем подумать.

— Какая досада,—пожаловался я после ужина.—Работаешь целый день, не покладая рук, и не можешь поспать как следует ночь, не прерывая сна.

— А разве он все еще опасен?—задала она вопрос.—Слепой человек!

— Я никогда ему не доверял,—заявил я,—а тем менее теперь, когда он слеп. Эта его беспомощность заставит его озлобиться еще больше. Но я знаю, что делать. Прежде всего я завтра же утром захвачу легкий якорь и отведу судно подальше от берега. Таким образом, каждый вечер, когда мы будем уплывать на остров на лодке, Вульф Ларсен будет оставаться там в плену. Поэтому эта ночь

последняя, когда мы будем чередоваться и не спать. Одна мысль эта уже утешение.

Мы поднялись на другой день очень рано и позавтракали до рассвета.

— О, Гемфри!..—в отчаянии воскликнула Мод и смолкла.

Она смотрела на «Призрак». Я взглянул по тому же направлению, но не заметил ничего необыкновенного. Она перевела взор на меня, и я снова вопросительно поглядел на нее.

— Наш кран!—сказала она, и голос ее задрожал.

Я забыл о его существовании. Я вгляделся опять: крана не было.

— Неужели это он?—проговорил я вне себя от злости.

Она с участием коснулась моей руки.

— Но ведь вы сможете это сделать снова!—сказала она, чтобы меня утешить.

— О, поверьте мне,—горько ответил я,—мой гнев ровно ничего не стоит,—я ведь не способен обидеть муху,—но хуже всего то, что ему это известно. Вы правы. Если это он уничтожил наш подъемный кран, то мне действительно не остается больше ничего, как вновь приняться за работу. Но теперь уж я буду сам дежурить на шхуне. И если он вмешается...

— Неужели же вы думаете, что я смогу остаться на берегу одна?—возразила Мод.—Не будет ли лучше и его привлечь к работе, чтобы он нам помогал? Тогда мы отлично могли бы жить на «Призраке» втроем.

— Пожалуй,—согласился я, все еще злясь, потому что никак не мог примириться с тем, что мой кран был разрушен.—То-есть я хочу сказать, что если мы с вами перейдем на жительство на судно, то будем ли мы там жить с Вульфом Ларсеном в мире, или нет—это безразлично. Впрочем, это ребячество,—засмеялся я,—он делает просто глупости; я на него не сержусь.

Но мое сердце сжалось, когда мы опять взобрались на шхуну и увидели, какое опустошение произвел на ней Ларсен. Мой кран исчез. Блоки были разрублены пополам, а Ларсен знал, что я не сумею исправить их. Я вспомнил о вороте и побежал к нему. Оказалось, что и ворот перестал работать: Вульф Ларсен сломал его. Мы с Мод посмотрели друг на друга с сокрушением. Затем я выглянул за борт. Мачты, реи и гафеля, которые я с таким трудом выпутал из снастей,—исчезли бесследно. Он разрезал веревки, которыми они были привязаны к судну, и пустил их по морю.

Слезы выступили у Мод на глазах, и я понял, что это из сочувствия ко мне. Я сам готов был плакать. Куда теперь девались все наши планы вновь оснастить «Призрак»?! Вульф Ларсен нас доконал. Я опустился на люк и задумался в мрачном отчаянии.

— Он заслуживает смерти,—воскликнул я.—Пусть простится мне то, что у меня нехватает мужества быть его палачем.

Но около меня стояла Мод и проводила рукой по моим волосам, точно я был малый ребенок.

— Не надо, не надо...—говорила она.—Все обойдется. Право на нашей стороне, и все будет хорошо.

Я вспомнил афоризм Мишле и коснулся головой ее плеча; и подлинно, я вдруг почувствовал в себе новый прилив сил. Эта благословенная женщина была для меня неиссякаемым источником энергии. Да и в самом деле, что за важность! Только простая неудача, отсрочка на несколько дней. Мачты не могло отнести далеко в море: ветра не было. Значит, найти их большого труда не составит. А кроме того, это был нам урок. Теперь я знал, чего ожидать от Ларсена. Если бы он выждал до конца нашей работы и уничтожил бы ее тогда, это было бы хуже.

— Вот он идет,—шепнула Мод.

Я посмотрел. Он тихонько шел по корме вдоль борта.

— Не обращайте на него внимания,—шепнул я ей.—Он хочет узнать, как мы к этому отнеслись. Делайте вид, что мы не знаем. Лишим его этого удовольствия. Снимите башмаки,—вот так,—и держите их в руках.

И мы сыграли со слепцом в кошку и мышку. Когда он шел по левой стороне, мы перебегали на правую и, взобравшись на ют, смотрели, как он то поворачивал назад, то шел вперед по нашему следу.

Все-таки каким-то образом он узнал, что мы на шхуне, потому что очень уверенно сказал: «Доброе утро!»—и ожидал нашего ответа. Затем он ушел на корму, а мы прошли на нос.

— О, я знаю, что вы здесь!—закричал он издали.

И я видел, как он внимательно прислушивался, не ответим ли мы ему.

Это мне напомнило большую сову, которая после каждого своего крика прислушивается, не отзовется ли испуганная добыча. Но мы не отзывались и двигались только тогда, когда двигался он. И так мы бегали по палубе, как дети, увертываясь от злого великана, пока, наконец, это не надоело самому Вульфу Ларсену, и он не сошел с палубы в каюту. Тогда мы надели наши сапоги и с беззвучным смехом перелезли через борт в лодку.

Когда я посмотрел в ясные карие глаза Мод, я забыл все на свете и знал только то, что я ее люблю, и что только благодаря ей я буду способен проложить ей и мне обратный путь в мир.

ГЛАВА XXXVI

Два дня мы с Мод плавали по морю и искали у берегов острова пропавшие мачты. Только на третий день мы нашли их и наш кран в опасном месте, где волны разбивались у угрюмого юго-западного мыса. И как мы работали! К концу дня, уже в темноте, мы вернулись, наконец, без сил в нашу маленькую бухту, волоча за собой на буксире грот-мачту. Мы должны были грести все время, так как стоял мертвый штиль [1]).

Еще день тяжелой работы—и мы поймали две стеньги. В следующий за тем день мы добыли фок-мачту, две реи и оба гафеля. Ветер был попутный, и я предполагал, что мы пойдем под парусом, но ветер упал, а затем прекратился совсем, и нам пришлось взяться за весла. Мы подвигались вперед как черепаха. Я был в отчаянии.

Стала спускаться ночь, и, в довершение всего, поднялся противный ветер. Мы не только не двигались к шхуне, но нас даже стало уносить в открытое море. Я греб изо всех сил. Бедная Мод, которую я никак не мог убедить, чтобы она не работала, наконец так ослабела, что растянулась в лодке на спине. Я больше не мог грести. Мои израненные пальцы уже не удерживали весел. Плечи болели невыносимо, и хотя я в двенадцать часов хорошо позавтракал, я теперь умирал с голоду.

Я убрал весла и наклонился над канатом, к которому были привязаны наши мачты. Но Мод протянула руку и удержала меня.

— Что вы собираетесь делать?—спросила она слабым, разбитым голосом.

— Бросить все это!—ответил я.

Ее пальцы вцепились в мои.

— Не делайте этого!—попросила она.

— Это необходимо,—ответил я.—Уже ночь, и ветер относит нас в открытое море.

— Только подумайте, Гемфри! Если нам не удастся уплыть отсюда на «Призраке», то мы останемся на этом острове на целые годы, быть может, даже на всю нашу жизнь. Если его не открыли мореплаватели до сих пор, то он может так и остаться неоткрытым.

— А вы забываете о той лодке, которую мы нашли на берегу?

— Это была промысловая лодка, и вы отлично знаете, что если бы промышленники избежали гибели, то они обязательно вернулись бы сюда за котиками. Но вы сами убеждены, что они не спаслись.

В нерешительности, я молчал.

— Кроме того,—добавила она несмело,—ведь это ваша идея, и мне хотелось бы, чтобы вы довели ее до конца!

---

[1]) Полное безветрие.

Теперь, когда она перевела вопрос на личную почву, мне легче было оспаривать ее.

— Лучше всю жизнь прожить на этом острове,—возразил я,— чем умереть сегодня ночью или завтра утром в этой самой лодке. Мы не приготовились к борьбе с морем. Мы не захватили с собой ни пищи, ни воды, ни одеял, ничего! Ведь вы не переживете ночи без одеял! Я ведь знаю, какая вы сильная. Вы уже дрожите!

— Это только нервы,—ответила она.—Ведь вы сейчас отрежете мачты назло мне! Умоляю вас, Гемфри, не делайте этого! Прошу вас! Пожалуйста!

И она залилась слезами.

Таким образом, все закончилось фразой, которая всегда одерживала надо мною верх. Мы продрожали всю ночь. То-и-дело я засыпал, но сейчас же просыпался от холода. Как могла держаться Мод,—для меня непостижимо и теперь. Я был так слаб, что не мог даже похлопать руками, чтобы согреться. Но я все же нашел в себе силы растереть ей руки и ноги и восстановить в них кровообращение. Все время она умоляла не бросать мачт. В три часа утра она окончательно окоченела от холода, и мои растирания не помогали. Я испугался. Я усадил ее за весла и заставил ее грести, хотя она была так слаба, что при каждом взмахе могла лишиться чувств.

Наступило утро, и мы долго искали в серой мгле очертания нашего острова. Наконец он показался, маленький и черный, на горизонте, милях в пятнадцати от нас. Я оглядел море в бинокль. Далеко на юго-востоке я заметил темную полосу на воде, которая становилась все темнее и шире.

— Попутный ветер!—воскликнул я, и сам не узнал своего голоса.

Мод хотела что-то ответить и не смогла. Ее губы посинели от холода, но как бодро смотрели на меня ее глаза! Как бодро и в то же время жалостно!

Опять я принялся согревать ее руки, пока, наконец, она не была в состоянии растирать их сама. Затем я принудил ее встать на ноги, и хотя она немедленно упала бы, если бы я ее не поддержал, я заставил ее насильно сделать по лодке несколько шагов взад и вперед и даже попрыгать.

— О, вы храбрая, храбрая женщина!—воскликнул я, заметив, как по ее лицу стала разливаться краска.—Знаете ли вы, какая вы сильная!

— Я никогда не была сильной,—ответила она.—Я стала такою, только познакомившись с вами. Это вы сделали меня храброй!

— Нет, вы меня!—возразил я.

Она бросила на меня взгляд и я снова заметил в нем трепетный огонек. Но было и еще что-то в ее глазах. Это продолжалось всего одно мгновение. Затем она улыбнулась.

— Впрочем, все это относительно,—сказала она.

Но я знал, что она что-то скрывала от меня, и задавал себе вопрос: догадывается ли, в свою очередь, она о том, что испытываю к ней я?

Поднялся ветер, резкий и холодный, и лодке пришлось сильно бороться с волнами, направляясь к острову. Только в половине четвертого мы обогнули юго-восточный мыс. Теперь уж мы не только были голодны, но нас томила еще и жажда; губы у нас высохли и стали трескаться. Затем ветер стал медленно спадать. К вечеру он стих совершенно, и нам снова пришлось приналечь на весла. В два часа ночи лодка, наконец, коснулась своим носом берега нашей бухты, и я с трудом вылез из лодки, чтобы закрепить канат. Мод не могла стоять на ногах, а нести ее у меня не было сил. И мы оба повалились на песок. Придя в себя, я взял ее за плечи и потащил по песку в хижину.

Весь следующий день мы не могли работать, потому что спали до трех часов дня,—по крайней мере в это время проснулся я и увидел, что Мод готовила обед. Способность быстро восстанавливать свои силы у нее была поразительная. В ее слабом, хрупком теле было что-то необыкновенно живучее, о чем никогда нельзя было бы догадаться, глядя на ее внешность.

— Ведь я предприняла путешествие в Японию для укрепления здоровья,—сказала она, когда мы после обеда расположились около огня и наслаждались покоем.—Я никогда не отличалась хорошим здоровьем. Положительно никогда. Доктора посоветовали мне морское путешествие, и я нарочно выбрала путешествие подлиннее.

— Если бы знали,—пошутил я,—то наверное не выбрали бы.

— Наоборот, я стала совсем другим человеком, сильной и здоровой женщиной! Я стала гораздо лучше, я узнала настоящую жизнь.

А затем, в сумерки, так как дни стали короче, мы разговаривали о слепоте Вульфа Ларсена. Она для обоих нас была непонятна. Он был тяжело болен, это я мог вывести из того, что он собирался умереть на нашем острове. Если он, такой сильный человек и так любящий жизнь, спокойно ожидал своего конца, то из этого следовало, что кроме слепоты его мучило еще что-то другое. Вероятно, это были его ужасные головные боли, и мы остановились на том, что у него произошло кровоизлияние в мозг, причинявшее ему мучительные боли.

Я заметил, что пока мы говорили о здоровье Вульфа Ларсена, сочувствие к нему Мод возростало; но я любил ее за это еще больше, так как в этом сказывалась вся ее нежная женская натура. К тому

же в ее чувствах не было ничего напускного. Она соглашалась на самые строгие меры, если бы Ларсен помешал нашему побегу, но в то же время противилась всякому насилию, какое я мог бы применить к нему для ограждения ее собственной жизни.

— Нашей жизни,—поправила она меня.

На следующее утро мы позавтракали и принялись за работу с самого рассвета. Я нашел на корме небольшой якорь и с некоторыми усилиями втащил его на палубу и затем погрузил в лодку. С длинным канатом, свернутым в кольца, я возвратился на веслах в бухту и бросил здесь якорь в воду. Ветра не было, высокий прилив приподнял шхуну. Возвратившись на судно, я стал вытягивать руками (ворот был сломан) канат от этого якоря до тех пор, пока судно не подошло к самому якорю. Разумеется, он был слишком мал для того, чтобы удержать судно на месте во время ветра. Поэтому я спустил главный якорь, и после полудня принялся за починку ворота.

Три дня я возился с воротом. Я был очень плохим механиком и за этот промежуток времени сделал то, что обыкновенный механик сделал бы в три часа. Мне пришлось изучать даже самые инструменты, которыми я работал, и каждый самый простенький прием мне приходилось отыскивать на практике. Тем не менее к концу третьего дня я осилил свою задачу, хотя и починил ворот весьма грубо. Он действовал не так хорошо, как раньше, но все-таки действовал и давал возможность продолжать мою работу.

За утро я втащил на палубу обе стеньги и, как и раньше, сделал из них кран и прикрепил к нему блок. Эту ночь я провел на шхуне. Мод наотрез отказалась оставаться на берегу одна и перекочевала в каюту. Вульф Ларсен все время просидел около меня, прислушиваясь к моей работе над воротом и перекидываясь со мной и с Мод незначительными словами. Никто не упоминал о произведенных им разрушениях, и он больше не просил, чтобы я оставил в покое его шхуну. Но я все-таки боялся его, хотя он был слеп и беспомощен, и старался не подпускать его близко к моей работе.

В эту ночь, когда я спал около своего бесценного крана, я вдруг проснулся от звука его шагов по палубе. Светили звезды, и я мог рассмотреть, как двигалась его темная фигура. Я сбросил с себя одеяло и бесшумно, в одних чулках, последовал за ним. Он вооружился большим кухонным ножом из буфета и приготовился разрезать им канат, который я прикрепил к стеньгам. Он ощупал канат руками и понял, что я его еще не натянул. Так как поэтому его трудно было разрезать ножом, то Ларсен натянул канат и поднял нож.

— На вашем месте я не делал бы этого!—спокойно сказал я.

Он услышал, как я взвел курок, и засмеялся.

— Это вы, Сутулый?—сказал он.—Я знал, что вы все время здесь. Вы не смогли обмануть мой слух.

— Неправда, Вульф Ларсен!—ответил я быстро.—Но я жажду убить вас, поэтому идите и режьте.

— У вас всегда была эта возможность,—усмехнулся он.

— Идите и режьте!—крикнул я с угрозой.

— Мне приятнее разочаровать вас,—засмеялся он и, повернувшись на каблуках, ушел на корму.

— Что-нибудь нужно предпринять, Гемфри,—сказала Мод, когда я рассказал ей об этом ночном приключении.—Если оставить его на свободе, то он может натворить бед. Он может утопить корабль или поджечь его. Да и мало ли что он сможет сделать! Надо лишить его свободы.

— Но как?—спросил я, безнадежно пожав плечами.—Я все-таки не желал бы попасться ему в руки, и он отлично понимает, что пока он препятствует мне пассивно, я никогда не найду в себе сил выстрелить в него.

— Надо что-нибудь предпринять,—настаивала она.—Я подумаю.

— Только одно и остается,—заметил я угрюмо.

Она вопросительно поглядела на меня.

Я поднял с земли дубину для котиков.

— Этим нельзя его убить,—сказал я.—Но прежде чем он мог бы притти в себя, я успел бы его схватить и связать.

Она вздрогнула и покачала головой.

— Нет, не то!—сказала она.—Нужно выбрать что-нибудь не такое жестокое. Давайте подумаем!

Но нам не пришлось долго ждать, и задача разрешилась сама собой. Утром, после нескольких бесплодных попыток, я нашел, наконец, центр тяжести фок-мачты и прикрепил в нескольких футах над ним мой подъемный блок. Мод вертела ворот и травила канат, когда я поднимал мачту. Будь ворот в порядке, это было бы не так трудно; но так как он был испорчен, мне приходилось напрягать всю свою силу. Поэтому я то-и-дело останавливался для отдыха. По правде говоря, эти промежутки для отдыха были гораздо длиннее, чем сама работа. В те минуты, когда, несмотря на все мои усилия, мачта не шла вверх, Мод принуждена была помогать мне изо всех своих слабых сил.

Через час подвижный и неподвижный блоки сошлись на верхушке моего крана. Выше нельзя было поднять, а мачта еще не поровнялась с бортом. Оказалось, что мой кран был слишком короток. Вся моя работа, таким образом, сводилась на-нет. Но я не отчаивался, как это было раньше. Я стал увереннее и больше доверял всем этим воротам, кранам и блокам.

Пока я обдумывал выход из положения, на палубе появился Вульф Ларсен. Мы сразу заметили в нем что-то неладное. Какая-то нерешительность и слабость во всех его движениях бросилась нам в глаза. Он шатался, когда пробирался вдоль борта к каюте. У выступа кормы он вдруг провел рукою по лицу обычным своим движением, точно хотел смахнуть с себя паутину, и свалился со ступеней на нижнюю палубу, по которой он заковылял, пошатываясь и протягивая вперед руки, точно разыскивая, за что бы ухватиться. У входа в кают-компанию он остановился, испытывая, повидимому, головокружение, а затем вдруг ноги его подкосились, и он повалился на палубу.

— Один из его припадков,—шепнул я Мод.

Она молча кивнула. Сострадание светилось у нее в глазах.

Мы подбежали к нему. Он казался без сознания и тяжело, прерывисто дышал. Мод занялась им, подняла ему голову, чтобы от нее отлила кровь, и отправила меня вниз за подушкой. Я захватил также и одеяло, и мы устроили его поудобнее. Я попробовал его пульс. Он был хорошего наполнения и казался совершенно нормальным. Это удивило меня и возбудило во мне подозрение.

— А что, если он притворяется?—обратился я к Мод, все еще держа его руку в своей.

Мод покачала головой и посмотрела на меня с упреком. Вдруг его рука выскользнула из моей, и он крепко, точно сталь, схватил меня. В безумном страхе я громко вскрикнул, а на его лице появилось вдруг злобное, торжествующее выражение; он обхватил меня другой рукой, подмял под себя и сжал как в тисках.

Свободной рукой он схватил меня за горло, и в один момент передо мною предстала смерть, и по моей собственной вине. Почему я доверился ему и позволил его ужасным рукам дотянуться до меня? Я почувствовал на своем горле еще другие руки. Это были руки Мод, тщетно старавшиеся разжать душившие меня пальцы. Она разжимала их, и вдруг я услышал крик, от которого похолодело мое сердце, потому что это был крик женщины, полный ужаса и глубокого отчаяния. Я уже слышал его однажды, когда погибал пароход «Мартинец».

Мое лицо было прижато к его груди, я ничего не мог видеть и только слышал, как Мод вдруг оставила нас и побежала куда-то, Я еще не потерял сознания, но мне показалось, что прошло очень много времени, прежде чем я услышал, что она возвратилась. И почти тотчас же я почувствовал, что тело Вульфа Ларсена ослабело. Он перестал дышать, и его грудь не поднималась под тяжестью моего тела. Рука, сжавшая мое горло, разжалась. Я вздохнул. Рука его опять попробовала сжать меня. Но даже его громадная сила воли не

смогла на этот раз взять верх над его слабостью. Сломилась, наконец, и она. Он потерял сознание.

Как только освободилось мое горло, я откатился в сторону, и, лежа на спине, тяжело дышал. Мод была бледна, но владела собой: она смотрела на меня и с тревогой и с радостью. Тяжелая дубина для котиков в ее руке привлекла мое внимание, и, следуя за моим взглядом, она тоже посмотрела на нее. Дубина выскользнула у нее из рук, точно обожгла их. Мое сердце запрыгало от радости. Она была моей настоящей женой, моим настоящим другом, она сражалась вместе со мной и за меня, точно женщина в пещерный период; в ней вдруг воскресли все первобытные инстинкты; она позабыла о своей культуре.

— Милая маленькая женщина,—воскликнул я, поднимаясь на ноги.

В следующее мгновение она была в моих объятиях, конвульсивно рыдая на моем плече, а я крепко прижимал ее к себе. Я смотрел на ее каштановые волосы, сверкавшие как драгоценные камни на солнце и казавшиеся мне дороже всех сокровищ. Я наклонил голову и тихонько поцеловал ее в волосы, так тихо, что она этого не заметила.

А затем я опомнился. В сущности, это были лишь слезы облегчения оттого, что опасность миновала. Будь я ее братом или отцом, положение от этого не изменилось бы нисколько. К тому же здесь было не место и не время для объяснений, я хотел иметь большее право для признания в любви, а потому еще раз тихонько поцеловал ее волосы и выпустил ее из объятий.

— На этот раз—настоящий припадок,—сказал я,—точь-в-точь такой же, от какого он ослеп. Сначала он притворялся, а потом его стукнуло на самом деле....

Мод поправила под Ларсеном подушку.

— Нет,—ответила она.—Еще нет. Но теперь, раз уж он оказывается таким беспомощным, он должен таким оставаться и впредь. С этого дня мы переселяемся сюда в каюту. Вульф Ларсен будет помещаться на баке.

Я взял его за плечи и потащил ко входу в общую каюту на баке. Мод принесла веревку. Я обвязал ее вокруг его тела и спустил его вниз. Я не в силах был поднять его, чтобы положить на койку. Мод мне помогала, и мы кое-как водрузили его на место.

Но это было не все. Я вспомнил о тех наручниках, которые находились в каюте Ларсена и которые он любил надевать на руки строптивым матросам. Когда мы оставили его, он был скован по рукам и по ногам. В первый раз за много дней я вздохнул свободно. Выйдя на палубу, я почувствовал вдруг необыкновенную легкость, точно гора свалилась с моих плеч. Я сознавал также, что я и Мод

стали еще ближе друг к другу. Чувствовала ли она это, спрашивал я себя, когда мы ходили с ней бок-о-бок взад и вперед по палубе, над которой уже висела мачта, поднятая нашим краном.

ГЛАВА XXXVII

Мы переселились на «Призрак» и заняли в нем свои прежние каюты. Готовить стали в кухне. Заключение Вульфа Ларсена случилось как раз во-время. Бабье лето быстро окончилось и сменилось дождливой и бурной осенью.

Мы устроились очень удобно. Наш короткий кран, со свешивавшейся с него мачтой, придавал шхуне деловой вид, а нам давал надежду на скорое отправление.

Мы сковали Вульфа Ларсена, но это оказалось ненужным. Наступил полный упадок сил. Это открыла Мод, когда в полдень пришла накормить его. Он еще выказывал признаки сознания, но на вопросы Мод не ответил. Он лежал на левом боку и, видимо, страдал. Бессознательным движением он повернул к ней голову, так, чтобы открыть левое ухо. Тогда он услышал ее слова и заговорил с нею. Она побежала за мной.

Зажав ему подушкой левое ухо, я спросил его, слышит ли он меня. Ответа не последовало. Тогда я отодвинул подушку и повторил вопрос. Он ответил, что слышит.

— Знаете ли вы, что оглохли на правое ухо?—спросил я.

— Да,—ответил он тихо, но твердо,—у меня отнялась вся правая сторона. Точно заснула. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой.

— Опять притворяетесь?—брезгливо спросил я.

Он покачал головой, и его губы перекосились странной судорожной улыбкой. Улыбка была кривой, так как мускулы на правой стороне лица не двигались.

— Волк проиграл свою последнюю ставку,—сказал он.—У меня паралич. Я никогда не встану с постели! Нет, пока с одной сторороны!—добавил он, как бы заметив мой подозрительный взгляд, брошенный на его ногу, которую он высвободил из-под одеяла и пытался спустить.

— Какое несчастье!—продолжал он.—А мне хотелось сначала расправиться с вами, Сутулый! Я думал, у меня осталось силенки на это.

— Но почему?—спросил я со страхом и с любопытством.

— О, чтобы чувствовать себя живым, двигаться и действовать, быть до конца сильнейшим куском дрожжей и сожрать вас! А вот приходится умирать!

Он пожал плечами, то-есть одним плечом, так как другое у него не двигалось.

— Но как вы объясняете все ваши припадки?—спросил я.—Что вы считаете причиной вашей болезни?

— Мозг,—ответил он без запинки.—От него и эти проклятые головные боли.

— Головные боли—это симптомы,—сказал я.

— А не все ли равно?—ответил он.—За всю свою жизнь я никогда не болел. И вдруг что-то случилось в мозгу. Рак, опухоль, что ли, или что-нибудь в этом роде. Разрастается и разрушает. Давит на нервные центры и по кусочку, клеточку за клеточкой съедает.

— Давит на двигательные центры,—прибавил я.

— Ну, пусть будет так. Но проклятие заключается в том, что приходится валяться здесь, в полном сознании, с ясным умом, и знать, что ниточки все обрываются и обрываются, и с каждой секундой все больше и больше прекращается связь с внешним миром. Я уже не вижу, слух и другие чувства покидают меня; скоро я лишусь и языка. И все время я буду здесь лежать, живой, мыслящий, но уже бессильный.

— Значит, вместо вас здесь будет ваша душа.

— Чепуха! Это будет значить только то, что высшие психические центры в моем мозгу еще не затронуты. Я могу еще помнить, могу думать, соображать—вот и все. Действуют они—действую и я. Когда кончится и это—меня не станет. Какая там душа!

Он насмешливо улыбнулся и повернулся левым ухом к подушке, показывая этим, что разговор окончен.

Мы с Мод принялись за работу, подавленные его страшной судьбой. Ужасное возмездие уже протянуло к нему свои руки. Нас охватило торжественное настроение, и мы разговаривали вполголоса.

В тот же вечер, когда мы опять навестили его, он сказал:

— Вы можете снять с меня наручники. Теперь они не нужны. Я весь парализован. Скоро будут пролежни.

Он улыбнулся своей кривой улыбкой, а Мод, с широкими от страха глазами, отвернулась.

— Вам известно, что у вас кривая улыбка?—спросил я его.

Я знал, что ухаживать за ним придется Мод, и хотел по возможности избавить ее от неприятного зрелища.

— Тогда я не буду улыбаться,—ответил он спокойно.—Я чувствую, что со мной что-то произошло. Правая щека онемела. Уже три дня, как я ощущаю в себе предвестников: то-и-дело немеет то правая нога, то рука... Может быть, поэтому и улыбка стала односторонней. Ну, ладно, я буду улыбаться вам внутренно, в душе! Слышите,—в душе! Вообразите, что я сейчас улыбаюсь.

И он пролежал несколько минут молча, довольный своей странной выдумкой.

Характер его нисколько не изменился. Это был прежний, неукротимый, ужасный Вульф Ларсен, заключенный лишь в жалкую оболочку, которая когда-то была несокрушима и прекрасна. Теперь он был скован незримыми узами, погрузившими его дух во мрак и молчание и оторвавшими его от того мира, который составлял арену для его жизненного пира. Больше он не мог спрягать во всех наклонениях и во всех временах глагол «делать». Все, что теперь оставалось для него,—это только «быть», «желать», но не иметь возможности исполнить; думать и мыслить, но обладать уже мертвым, разлагающимся телом.

И все же мы не переставали бояться его, несмотря на всю его беспомощность, и продолжали нашу работу с тревожным чувством.

Я разрешил задачу, возникшую вследствие недостаточной длины стрел крана. Два дня понадобилось на предварительную работу, и, наконец, на третий день утром мне удалось поднять мачту над палубой и поставить ее нижний конец над гнездом. Здесь мне особенно пришлось потрудиться. Я пилил, рубил и строгал сухое дерево до тех пор, пока оно не стало так гладко, точно его обточили гигантские мыши. И мачта была готова.

— Она будет хорошо служить!—воскликнул я.—Теперь уж я это знаю!

— А вы знаете, как доктор Джордан учит проверять истину?—спросила Мод.

Я покачал головой и перестал стряхивать стружки, сыпавшиеся мне на шею.

— Он ставит вопрос: может ли данная вещь функционировать, и если может, то сможем ли мы доверить ей свою жизнь?

— Он ваш любимый писатель?—спросил я.

— Когда я развенчала своих старых кумиров,—серьезно ответила она,—и рассталась навсегда с Наполеоном, Цезарем и им подобными, то я создала для себя новый Пантеон, и первое место в нем занял доктор Джордан.

— Герой современности.

— И величайший, потому что современный,—добавила она.—Разве древние герои могут сравняться с современными?

Я кивнул. Мы были слишком похожи друг на друга, чтобы спорить. Наши точки зрения и взгляды на жизнь были совершенно одинаковы.

— Как критики,—засмеялся я,—мы удивительно сходимся.

— И как корабельный плотник и его подмастерье—тоже,—засмеялась она.

Мы редко смеялись в те дни: нас одолевала тяжкая, невыносимая работа и думы о живом трупе—Вульфе Ларсене.

С ним случился новый удар. Он почти лишился языка и только изредка мог говорить, и то едва слышно. Но случалось, что он говорил своим обыкновенным голосом, только очень медленно. Затем вдруг лишался языка, всякий раз в середине разговора, и иногда по целым часам мы ожидали, когда он закончит начатую фразу. Он жаловался на нестерпимые головные боли, и именно в это время он изобрел способ разговора с нами на случай, если бы он совсем лишился языка; а именно: одно давление рукой—это «да», а два—это «нет». И это было как раз кстати, потому что с этого вечера язык ему больше не повиновался. Движением руки он отвечал на наши вопросы, а когда хотел сообщить что-нибудь, то требовал лист бумаги и карандаш и довольно четко писал на нем левой рукой.

Настала жестокая зима. Шторм следовал за штормом, со снегом, с градом и дождем. Котики ушли куда-то в свое таинственное убежище на юге, и их колонии опустели. Я работал лихорадочно. Назло плохой погоде и ветру, который ужасно мне мешал, я весь день, с самого раннего утра и до глубокой ночи, проводил на палубе.

Пока я возился с оснасткой фок-мачты, Мод шила паруса, готовая бросить все и бежать ко мне на помощь всякий раз, когда требовались при моей работе четыре руки, а не две. Парусина была тяжелая и толстая. Мод сшивала ее мастерски, как настоящий матрос, большой трехгранной иглой. Ее руки скоро оказались в царапинах, но она храбро преодолевала боль, и вдобавок еще варила пищу и ухаживала за больным.

— Забудем о предрассудках,—сказал я в пятницу утром,—и поставим фок-мачту сегодня. Все готово и прилажено для установки.

С помощью блока и ворота я без особых усилий поставил мачту в вертикальное положение. Как только Мод могла бросить рукоятку ворота, она захлопала в ладоши и закричала:

— Дело идет на лад! Мачта готова, и мы можем вручить ей нашу жизнь!

И вдруг на лице у нее появилось озабоченное выражение.

— Но она не попала в отверстие,—сказала она.—Придется начинать все сначала.

Я снисходительно улыбнулся и с помощью блока подтянул мачту. И все-таки она не попала в отверстие. Опять на лице Мод озабоченное выражение, и опять моя снисходительная улыбка. Я вновь направил мачту в отверстие, и на этот раз мне это удалось. Тогда я дал Мод самые подробные инструкции, как спускать мачту, а сам пошел в трюм, на самое дно корабля, где находилось гнездо.

Я крикнул Мод, и мачта стала правильно и легко спускаться. Ее квадратный шип как раз приходился теперь над квадратным отверстием гнезда. Но когда она спустилась до самого конца, то все-таки не вошла в гнездо: квадратный шип не совпал с гнездом. Но я не растерялся. Я поднялся на палубу и исправил все, что было нужно. Затем я опять сошел вниз, оставив Мод наверху. При свете лампы я увидел, что теперь дело пошло на лад, и шип вошел в гнездо. Мачта встала на свое место. Я радостно закричал. Мод сбежала вниз посмотреть. При желтом свете лампы мы с любопытством осматривали нашу работу. Затем мы взглянули друг на друга, и руки наши встретились. На глаза навернулись слезы радости от достигнутого успеха.

— В сущности, это было нетрудно,—заметил я.—Вся задача заключалась в подготовительных работах.

— А все удовольствие в окончании,—добавила она.—Я все еще не верю своим глазам, что фок-мачта на месте, что вы сами подняли ее из воды и поставили в гнездо. Это—титаническая работа.

— И мы оказались неплохими изобретателями,—начал я весело и остановился.

Я понюхал воздух и подозрительно посмотрел на лампу. Она не коптила. Я опять втянул носом воздух.

— Что-то горит!..—сказала Мод уверенно.

Мы вместе бросились к лестнице, но я выскочил на палубу после нее. Густое облако дыма поднималось из входа в каюту.

— Волк еще не издох!..—пробормотал я и кинулся вниз. Дым был так густ, что я должен был пробираться ощупью; и так еще страшен был в моем воображении образ Вульфа Ларсена, что я не был бы удивлен, если бы беспомощный гигант схватил меня за горло своей железной рукой. Поэтому я медлил. Мною овладевало желание бросить все и выскочить обратно на палубу. И вдруг я вспомнил о Мод. Мне представилась она в том виде, в каком я видел ее в трюме, при тусклом освещении лампы, с большими карими глазами, полными радостных слез,—и я понял, что не могу бежать. Я задыхался и от страха, и от дыма, когда добрался, наконец, до койки Вульфа Ларсена. Я протянул вперед руку и нащупал его. Он лежал без движения, но слегка вздрогнул, когда я прикоснулся к нему. Я провел рукою по одеялу и под ним, но не ощутил ни теплоты, ни огня. А дым шел откуда-то, ослеплял меня и заставлял кашлять; где-то был источник его. Я терял голову и неистово стал метаться по баку, но, ударившись об угол стола, пришел в себя. Я сообразил, что если это был поджог, то его следовало искать только около больного.

Я вернулся к койке Вульфа Ларсена. Там я встретил Мод. Сколько времени она провела в такой удушливой атмосфере, я не знал.

— Идите наверх!—сказал я ей самым решительным тоном.

— Но, Гемфри...—возразила она слабым, дрожавшим голосом.

— Немедленно!—крикнул я сурово.

Она послушно направилась ощупью к выходу.

И вдруг мне пришла в голову мысль: «Что, если она не найдет выхода?»

Я бросился вслед за ней, добежал до выхода, но ее не было. Быть может, она уже поднялась на верх? Когда я стоял так в нерешительности и не знал, что мне предпринять, я вдруг услышал ее задыхавшийся голос:

— Я не нахожу выхода, Гемфри... Я заблудилась...

Я нашел ее прислонившейся к перегородке, и наполовину повел, наполовину понес к выходу. Свежий воздух показался нам дивным нектаром [1]). Мод была в полуобморочном состоянии, я оставил ее лежать на палубе, а сам опять бросился вниз.

Источник дыма должен был находиться около больного. Так говорил мне мой разум. И я прямо направился к его койке. Когда я опять стал обшаривать его одеяло, что-то горячее свалилось вдруг мне на руку и обожгло так, что я ее отдернул. Тогда я понял. Через щели верхней койки вырывался из матраца огонь. Вульф Ларсен поджег его. Он мог это сделать левой рукой. Сухая солома в матраце, зажженная снизу и не получавшая доступа воздуха, все время тлела и дымилась.

Когда я стащил матрац с койки, солома рассыпалась, и пламя запылало. Я смахнул с койки пылавшие остатки соломы и, задыхаясь, выбежал наверх.

Нескольких ведер воды было достаточно, чтобы залить тут же, в каюте на полу, пылавший матрац, а минут десять спустя, когда дым рассеялся, я разрешил Мод сойти вниз. Вульф Ларсен лежал без сознания, но свежий воздух привел его в себя. Он потребовал себе бумаги и карандаш.

«Не мешайте мне,—написал он,—я улыбаюсь. Как вы видите, я все еще представляю собою частицу закваски».

— Я рад,—перебил я его,—что вы теперь ничтожная частичка.

«Благодарю вас,—написал он в ответ.—Но мне нужно еще уменьшиться, чтобы умереть... И все-таки я весь здесь,—написал он потом.—Я могу мыслить сейчас гораздо яснее, чем когда-либо. Ничто

---

[1]) Баснословный напиток древне-греческих богов, будто-бы дававший юность и силы тем, кто пил его.

не мешает мне сосредоточиться. В этой молекуле я весь, я все еще существую».

Это было как бы его посланием из могильного мрака. Его тело служило ему мавзолеем, и там, в этом страшном гробу, все еще трепетал и жил его дух. Он будет жить и трепетать, пока не порвется последняя связь с внешним миром. И кто знает, не будет ли он жить и трепетать и после этого?!

ГЛАВА XXXVIII

«Кажется, у меня отнимается и левая сторона,—написал Вульф Ларсен на другой день после покушения на поджог шхуны.—Онемение увеличивается. Мне трудно двигать рукой. Кричите громче. Рвутся последние нити».

— Вам больно?—спросил я.

Нужно было повторить этот вопрос еще громче, и только тогда он ответил мне:

«Не все время».

Левая рука слабо и с видимым усилием чертила по бумаге. Мы с трудом могли разбирать его каракули. Они стали похожи на письмена «духов», которые показывают на спиритических сеансах, взимая за вход по доллару.

«Но я все еще сознаю себя,—нацарапала медленно его рука.— Я все еще здесь».

Карандаш вывалился у него из рук, и нужно было снова вложить его в ослабевшие пальцы.

«Когда не бывает боли, мне совсем хорошо. И я тогда мыслю совсем ясно. Я могу размышлять о жизни и смерти, как индусский мудрец».

— И о бессмертии?—громко спросила Мод, наклонясь над ухом.

Три раза он пытался написать ей ответ, и всякий раз карандаш вываливался из его руки. Напрасно мы старались вложить карандаш. Его пальцы отказывались держать. Тогда Мод втиснула карандаш насильно и стала придерживать своими пальцами, и Ларсен написал громадными буквами и так медленно, что на каждую букву потребовалось чуть не по минуте:

Ч-Е-П-У-Х-А.

Это было последним словом Вульфа Ларсена, неисправимого скептика до конца. Рука опустилась как плеть. Все тело вытянулось. Он больше не двигался. Мод расправила его пальцы. Они раздвинулись и снова сжались от собственной упругости, и карандаш упал.

— Вы еще слышите?—крикнул я ему, взяв его за пальцы, и ждал, пока он мне ответит «да», надавив на мою руку один раз. Но ответа не последовало. Рука была мертва.

— Его губы двигаются,—сказала Мод.

Я повторил вопрос. Губы действительно задвигались. Она положила на них кончик пальцев. Я вновь повторил. Мод торжественно произнесла: «Да». Мы вопросительно посмотрели друг на друга.

— Впрочем, к чему это?—спросил я.—О чем его спрашивать еще?

— Спросите его...

Она не решалась.

— Спросите его о чем-нибудь таком,—предложил я,—на что он должен ответить «нет». Тогда мы будем знать наверное...

— Хотите есть?—крикнула она.

Губы зашевелились под ее пальцами. Он ответил: «Да».

— Мяса?

— Нет.

— Бульону?

— Да. Он хочет бульону,—сказала Мод спокойно и поглядела на меня.—Пока он еще слышит, мы можем объясняться с ним. А затем...

Она как-то странно посмотрела на меня. Ее губы задрожали, и слезы навернулись ей на глаза. Она склонилась ко мне, и я заключил ее в объятия.

— О, Гемфри,—зарыдала она.—Когда же всему этому будет конец? Я так устала, так устала!..

Она положила голову ко мне на плечо, и ее слабое тело сотрясалось от рыданий. Она была на моих руках, точно перышко, хрупкая, эфирная.

«Она совершенно разбита,—подумал я.—Что я буду делать без ее помощи?»

Я стал ее утешать, пока она не овладела собой.

— Как мне стыдно за себя!—сказала она. А затем со своей чисто детской улыбкой, которая так мне нравилась, добавила:—Но ведь я только «маленькая женщина»!

Эти слова подействовали на меня как электрическая искра. Ведь это м о е название, мое заветное, дорогое имя, которым я так любил называть ее про себя.

— Где вы подслушали эти слова?—спросил я ее так неожиданно, что она вздрогнула.

— Какие слова?—спросила она.

— Что вы «маленькая женщина».

— А разве они ваши?

— Да, мои. Это я придумал...

— Значит, вы говорили их во сне!

Она улыбнулась. Шаловливые огоньки запрыгали у нее в глазах. Я наклонился над ней. Я сделал это невольно, как дерево, сломанное ветром. Ах, как мы были близки в этот момент друг к другу! Но она встряхнула головой, точно пробудившись от сна, и сказала:

— Я знала их всю жизнь. Так обыкновенно мой отец называл мою мать.

— Это также и мое выражение!—стоял я на своем.

— Так называли вашу мать?

— Нет,—ответил я.

Она больше не допытывалась, но я мог бы поклясться, что у нее в глазах все еще оставалось насмешливое, вызывающее выражение.

Теперь, когда фок-мачта была на месте, дело пошло быстрее. Без больших затруднений я установил грот-мачту. В несколько дней все было поставлено на место, и снасти натянуты; затем мы пристроили и паруса. У нас было три паруса: кливер, фок и грот, заплатанные, короткие и безобразные; они до смешного не подходили к такому красивому судну, как «Призрак».

— Но они будут работать!—с торжеством воскликнула Мод.— Мы заставим их работать и доверим им свою жизнь!

Из всех моих работ самой неудачной были паруса. Зато управлять ими я мог гораздо лучше, чем кроить и шить. Я нисколько не сомневался, что доведу шхуну до какого-нибудь северного порта Японии. Ведь я изучал морское дело на практике на самом «Призраке», к тому же к моим услугам была звездная карта Вульфа Ларсена, настолько простая, что с ней мог бы работать ребенок.

Что касается изобретателя ее, то глухота его усиливалась, губы шевелились все слабее и слабее. В тот день, когда мы покончили с парусом, он перестал слышать окончательно, и его губы больше не шевелились. Последним моим вопросом было: «Вы все еще здесь?» и губы его ответили: «Да».

Порвалась последняя нить. Где-то внутри этой могилы из плоти еще жил человеческий дух. Он еще теплился в молчании и во мраке. Для него не нужно было тела. Он не нуждался в нем. Он не нуждался во внешнем мире. Он сознавал только себя и беспредельную глубину спокойствия мрака.

ГЛАВА XXXIX

Наступил день нашего отплытия. Больше нас ничто не задерживало на нашем острове. Неуклюжие мачты стояли на своих местах, на них висели заплатанные паруса. Вся моя работа была прочна, хотя

и топорна. Но я знал, что она сослужит нам службу, и поглядывал на нее с сознанием своей силы:

«И все это сделал я! Все это сделано вот этими руками».

Я и Мод давно привыкли читать мысли друг друга, и когда мы подняли, наконец, наш грот, она сказала:

— И подумать только, Гемфри, что все это сделали вы сами, своими руками!

— Но были еще и другие ручки,—ответил я.—Две маленькие ручки, а далее я уже не скажу тех слов, какие говорил ваш отец.

Она засмеялась и покачала головой, а я взял ее руки и стал их осматривать.

— Они никогда не отмоются,—вздохнула она,—и никогда больше не будут мягкими!..

— Зато эта грязь и шероховатость всегда будут вам делать честь,—ответил я, все еще не выпуская ее рук.

И как я ни крепился, я непременно кончил бы тем, что расцеловал бы эти дорогие для меня руки, если бы она не вырвала их поспешно.

Нашей дружбе приходил конец. Я все время упорно работал над собой, стараясь победить свою любовь, но в конце концов она победила меня. До сих пор меня выдавали только мои глаза, а теперь это стал делать и мой язык,—и не один язык, а и губы, потому что они до безумия хотели целовать эти маленькие ручки, которые так преданно и с таким напряжением работали. Да и сам я стал каким-то безумным. Меня неудержимо влекло к ней. И она чувствовала это. Она не могла об этом не знать, и всякий раз быстро вырывала свои руки из моих, но в то же время и сама не могла удержаться, чтобы не бросить на меня взгляда, прежде чем отвести от меня свои глаза.

— Нам никогда не поднять якоря в таком узком месте,—сказал я.—Мы можем наскочить на скалы.

— Что же вы намерены делать?—спросила она.

— Оставить его,—ответил я.—Как только я разделаюсь с ним, вы немедленно же приналяжете на ворот, а я тотчас же примусь за штурвал; тем временем вы поднимете кливер.

Этот маневр я отлично изучил, несколько раз выполнял на практике во время путешествия на «Призраке» и знал, что если Мод перекинет от кливера веревку через ворот и завертит его, то ей удастся поднять этот необходимый для нас парус. В нашу бухту врывался легкий ветерок, и хотя море было спокойно, все-таки от нас требовалась самая быстрая работа, чтобы мы успели выбраться невредимо.

Когда я разрубил якорную цепь, она выскользнула через носовой клюз [1]) и с шумом грохнулась в море. Со всех ног я бросился к рулю и повернул его. Казалось, «Призрак» ожил, как только надулись паруса. Взвился кверху и кливер. Когда наполнился и он, «Призрак» повернул свой нос, и шхуна тронулась.

Мод, успешно выполнив свою задачу, пришла на палубу и стала рядом со мной. В глазах светилось что-то неукротимое, чего я не видел у нее еще ни разу; губы ее раскрылись, и она, затаив дыхание, следила, как «Призрак», обойдя прибрежные скалы и миновав узкий выход из бухты, надул свои паруса и вдруг вырвался в открытое море на свободу.

День был облачный и хмурый, но как раз в этот самый момент проглянуло сквозь облака солнышко, и мы приняли это за счастливое предзнаменование. Весь наш остров вдруг засиял на солнце. Даже угрюмый юго-западный мыс показался нам менее угрюмым, когда на нем запрыгали вдруг яркие пятна солнечного света.

— Я всегда буду вспоминать об этом месте,—с гордостью обратился я к Мод.

Она высоко подняла голову.

— Милый наш остров!—сказала она.—Я всегда буду любить тебя!

— Я тоже,—быстро добавил я.

И наши глаза готовы были встретиться во взаимном понимании, но—увы!—мы оба сделали над собой усилие, и они не встретились.

Наступило неловкое молчание.

— Посмотрите вон на те темные облака,—сказал я, чтобы нарушить его.—Помните, я вчера говорил вам, что барометр падает?

— И солнце уже скрылось,—ответила она, все еще не сводя глаз с нашего островка, где мы научились быть хозяевами положения и узнали, какие простые товарищеские отношения возможны между женщиной и мужчиной.

— И паруса мчат нас в Японию!—весело воскликнул я.

Бросив штурвал, я побежал на нос, ослабил кливер и фок и приспособил все, что требовалось, чтобы использовать кормовой ветер. Он все крепчал и крепчал, но я решил продвигаться вперед до тех пор, пока это было возможно. К несчастью, у нас нехватало балласта, и не было возможности надолго закрепить штурвал, и потому я всю ночь простоял на вахте. Мод настаивала на том, чтобы сменить меня, но у нее все равно нехватило бы силы управлять рулем в открытом море, даже если бы она и умела обращаться со штурвалом. Она очень огорчилась, когда убедилась в этом, но утешилась,

---

[1]) Клюзы—отверстия в бортах для прохода якорной цепи или каната.

занявшись укладыванием канатов в бухту, к тому же ей надо было готовить обед, ухаживать за Вульфом Ларсеном,—и она закончила свой день генеральной уборкой кают-компании и помещений для матросов.

Всю ночь я простоял у руля без отдыха; ветер крепчал, и море становилось бурным. В пять часов утра Мод принесла мне кофе и лепешек, которые она испекла, а в семь часов я уже ел горячий завтрак, вливший в меня новые силы.

Весь этот день ветер все крепчал и крепчал. Наконец, он стал дуть с неистовой силой. «Призрак» бодро бежал вперед. Я определил, что мы делаем одиннадцать узлов в час. Было очень приятно итти с такой быстротой, но к вечеру я совершенно выбился из сил. Хотя я физически очень окреп, но тридцать шесть часов дежурства у штурвала превысили мою выносливость. Мод умоляла меня положить шхуну в дрейф, и я знал, что если волнение за ночь усилится, то потом мне не удастся это сделать. Поэтому, как только спустились сумерки, я стал поворачивать «Призрак» к ветру.

Но я не рассчитал, как трудно будет мне одному взять рифы на трех парусах. Когда мы бежали по ветру, я не представлял себе всей его силы, но когда мы изменили направление, то, к своему огорчению,—а в полночь даже к своему отчаянию,—я понял, как ужасны были его порывы. Ветер парализовал все мои усилия, вырывал из моих рук паруса и в один миг уничтожал то, чего я достигал путем упорной борьбы в десять минут. В восемь часов вечера мне удалось взять только второй риф. К одиннадцати—я был окончательно измучен и не мог больше работать. Кровь выступала у меня из-под сорванных ногтей. От боли и от изнеможения я плакал в темноте, но так, чтобы об этом не могла узнать Мод.

Затем, в отчаянии, я оставил всякую попытку взять риф на гроте и решил испробовать какой-нибудь другой прием. Три часа я проработал над этим новым маневром, и в два часа утра, полуживой, добился, наконец, успеха. «Призрак» пошел ближе к ветру и не стал выказывать намерения срываться в сторону и зарываться носом в волны.

Я был очень голоден, но Мод напрасно старалась заставить меня съесть что-нибудь. Я засыпал с куском во рту, и Мод должна была поддерживать меня, чтобы я не свалился со стула.

Как я дошел до каюты, я потом не помнил. Вообще я ничего не помнил, пока не проснулся на своей койке, одетый, но без сапог. Я не мог себе представить, сколько времени я проспал, было темно, когда мои израненные пальцы прикасались к одеялу. Очевидно, утро еще не наступило, и, закрыв глаза, я снова заснул. Я не знал, что проспал целый день и что это была уже вторая ночь. Я снова

проснулся, недовольный тем, что мало спал. Зажег спичку и посмотрел на часы. Они показывали полночь. А я ушел с палубы около трех часов. Это меня озадачило, пока, наконец, я не догадался, в чем дело. Не даром же я так часто стал просыпаться! Я проспал двадцать один час! Некоторое время я прислушивался к ударам волн в шхуну и к реву ветра на палубе, а затем повернулся на другой бок и мирно проспал до утра.

Когда я встал в семь часов и не нашел Мод внизу, я решил, что она в кухне готовит завтрак. На палубе все было благополучно, и «Призрак» хорошо держался против волн. Я заглянул в кухню: в плите горел огонь, а на ней кипела вода, но Мод там не было.

Я нашел ее на баке, у койки Вульфа Ларсена. Я взглянул на него,—на человека, дух которого был заживо погребен в его собственном теле, что было хуже, чем смерть. Новое выражение покоя появилось у него на лице. Мод посмотрела на меня. Я понял все.

— Его жизнь угасла во время шторма,—прошептал я.

— Но он все же жив,—ответила она с непоколебимой верой в голосе.

— В нем было слишком много сил.

— Да,—сказала она,—но они больше не терзают его... Теперь он освободился!

— Это верно,—подтвердил я, и взяв ее за руку, вывел на палубу.

За ночь буря утихла, то-есть стала стихать так же медленно, как и поднималась. На следующее утро, когда я поднял тело Вульфа Ларсена на палубу для погребения, все еще дул сильный ветер, и море было в волнении. Волны перекатывались через борт и заливали палубу. Мы стояли по колено в воде.

Я снял шапку.

— Я помню только одну часть похоронного церемониала,—сказал я.—«Тело должно быть выброшено в море».

Мод посмотрела на меня с выражением крайнего изумления. Но воспоминание о том, что я видел на этом судне, требовало от меня, чтобы я похоронил самого Вульфа Ларсена, как он похоронил своего штурмана. Я приподнял доску, на которой лежал он, и зашитое в парусину тело, ногами вперед, соскользнуло в море. Привязанный к нему груз потянул его ко дну, и оно исчезло.

— Прощай, Люцифер, гордый дух!—пролепетала Мод так тихо, что за порывом ветра ее почти не было слышно.

Когда, цепляясь за перила борта, мы побрели на корму, я случайно бросил взгляд вперед. В этот момент «Призрак» высоко приподнялся на волнах, и я ясно увидел в двух или трех милях от нас небольшой пароход. То ныряя, то поднимаясь на гребни волн, он шел прямо на

нас. Он был выкрашен в черный цвет, и, вспомнив рассказы охотников, я догадался, что это был американский таможенный катер. Я указал на него Мод и поспешил довести ее до безопасного места на корме.

Затем я бросился вниз за флагом и тут только вспомнил, что, починяя снасти, я не позаботился о флаг-фалах [1]).

— Нам не нужно давать им сигнал о бедствии,—сказала Мод.— Им достаточно посмотреть на наше судно.

— Мы спасены!..—сказал я торжественно.—И все-таки я еще не знаю, радоваться ли мне?—прибавил я, взглянув на нее.

Теперь наши глаза смело встретились. Мы склонились друг к другу и, прежде чем я понял это, я уже держал ее в своих объятиях.

— Говорить ли?—спросил я ее.

Она ответила:

— Нет, не нужно, хотя услышать это было бы хорошо!

Наши уста слились, и по какой-то странной игре воображения мне вспомнилась сцена, которая произошла в кают-компании «Призрака», когда она приложила свои пальцы к моим губам и сказала: «Не надо!.. Не надо!..»

— Моя жена, моя маленькая женушка!—сказал я, обнимая ее за плечи свободной рукой, как это умеют делать все влюбленные мужчины, хотя никто не учит их этому в школе.

— Муж мой!..—сказала она, и ресницы ее затрепетали, когда она опустила глаза и прижалась головой к моей груди, со счастливым вздохом.

Я посмотрел вперед на катер. Он был близко. С него спускали шлюпку.

— Один поцелуй, дорогая моя,—прошептал я.—Один поцелуй, прежде чем они подойдут!..

— И спасут нас от самих себя,—добавила она со своей самой очаровательной улыбкой, которой я раньше у нее не замечал,— улыбкой, полной лукавства любви.

---

[1]) Флаг-фалы — снасти, поднимающие флаг.

ДЖЭК ЛОНДОН

РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ

ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧЕНЫМ СОВЕТОМ
ДОПУЩЕНО ДЛЯ ШКОЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК.

БЕЛЫЕ И ЖЕЛТЫЕ

Залив Сан-Франциско так велик, что штормы на нем часто бывают опаснее для океанских судов, чем наиболее яростные штормы в самом океане. Воды залива таят в себе множество всякой рыбы, и потому поверхность его бороздят кили разнообразнейших рыбачьих лодок, управляемых самыми разнообразными рыбаками. Для защиты рыбы от этого пестрого, плавающего по заливу населения было создано множество мудрых законов, а специальный рыбачий патруль должен был следить за исполнением этих законов. По временам рыбачьему патрулю бывает нелегко: история его отмечает немало убитых на своем посту сторожей и немало поражений патруля в схватках с рыбаками, но все же побед патруля было значительно больше; об этом свидетельствует огромное количество погибших рыбаков, занимавшихся незаконной рыбной ловлей.

Самыми отчаянными среди рыбаков считаются китайские ловцы креветок [1]). Креветки обычно ползут по дну огромными стаями, пока не доползут до пресной воды: тогда они поворачивают обратно и ползут в море. Во время приливов китайцы опускают на дно большие мережи с открытыми зевами; креветки стаями заползают в них и оттуда попадают прямо в котлы с кипящей водой. Это само по себе не было бы худо, если бы петли сетей не были так часты и мелки, что даже самая мелкая рыбешка, самая крошечная, только-что родившаяся—в одну четверть дюйма длиной—и та не может проскочить сквозь эти петли. Красивые берега мысов Педро и Пабло, где были расположены поселки китайских рыбаков, сделались ужасными от отвратительного зловония гниющей рыбы, которую китайцы выбрасывали из своих сетей: им нужны были только креветки. На обязанности патруля было бороться против такого безжалостного уничтожения мириадов рыб.

Мне не было еще шестнадцати лет, когда я считался уже опытным матросом, хорошо знал залив, и моя парусная лодка «Северный Олень» была поэтому заарендована рыболовной компанией.

---

[1]) Креветки (или гарнели)— ракообразные из отряда десятиногих раков, подотряд длинноногих раков; предмет значительного лова, так как мясо креветок очень вкусно.

Таким образом, я стал временно одним из патрульных. Нам, рыбачьему патрулю, пришлось сперва припугнуть греческих рыбаков в Верхней бухте и в устьях рек, где рыбаки при первой же тревоге выхватывали из-за поясов ножи, так что схватить этих отчаянных головорезов можно только направив на них дула револьверов. Мы с радостью поэтому получили приказание отправиться в Нижнюю бухту для борьбы с китайцами, занимающимися ловлей креветок.

Нас было шестеро на двух лодках, и, чтобы не вызвать подозрения, мы вышли в сумерках и бросили якорь под выступом скалы, известной под названием мыса Пипола. Когда небо на востоке побледнело при первых лучах зари, мы снова двинулись в путь, держась берегового ветра и правя к мысу Педро. Утренний туман клубился и стлался по воде так, что мы плыли точно за какой-то плотной стеной, ничего не видя перед собой. Мы старались отогреться горячим кофе. Нам предстояла очень тяжелая работа откачивать воду со дна лодки, так как «Северный Олень» неизвестно по какой причине дал сильную течь. Почти всю ночь мы потратили на перекладывание балласта, осмотрели все пазы на дне, но труд наш не дал никаких результатов. Вода продолжала просачиваться, и нам непрерывно приходилось выкачивать ее, согнувшись в три погибели в кубрике.

После кофе трое патрульных перешли на другую шлюпку—маленькое судно для ловли лососей, а мы трое остались на «Северном Олене». Обе лодки шли вместе, пока солнце не поднялось над линией горизонта на востоке.

Горячие лучи рассеяли клубы тумана, и перед нами вдруг вырисовалась, точно на картине, вся флотилия ловцов креветок. Джонки расположились большим полумесяцем, между концами которого было не менее трех миль расстояния, и каждая джонка была привязана к буйку мережи, опущенной на дно. Но кругом была полная тишина: нигде никаких признаков жизни. Мы, однако, скоро поняли, в чем дело. Китайцы в ожидании отлива, когда удобнее всего поднимать их тяжелые мережи, улеглись спать в каютах джонок. Все это было очень удобно для нас, и мы быстро составили план нападения.

— Бросайтесь на джонки,—прошептал мне Легрант со своей лодки.—Пусть каждый из ваших двух товарищей захватит по джонке, а вы хватайте третью. Мы проделаем то же самое, и, право, не вижу причин, почему бы нам не заполучить таким образом шести джонок.

Мы разделились. Я положил «Северного Оленя» на другой галс [1]), прошел мимо одной джонки, взял к ветру грот [2]) и обогнул корму

[1]) Галс—курс корабля относительно ветра. Лечь на другой галс—повернуть судно так, чтобы ветер, дувший, например, в правый борт, дул в левый.

[2]) Грот—парус на грот-мачте (второй от носа корабля.)

джонки так медленно и на таком близком расстоянии, что один из патрульных легко перескочил через ее борт. Тогда я отвел лодку и направился ко второй джонке.

До сих пор все было тихо, но в этот момент на первой джонке, которую захватило лососное судно, послышались шум, крики, револьверный выстрел и вслед за ним ужасный вой.

— Теперь все вскочат. Они предупредят других,—сказал Джордж, второй патрульный, оставшийся со мной.

В это время мы находились посредине флотилии и видели, как тревога с невероятной быстротой распространялась среди китайцев. На палубах джонок появились полупроснувшиеся и полуголые китайцы. Продолжавшиеся крики и вопли ярости неслись над спокойным заливом. Где-то затрубили в морскую раковину. Направо от нас я увидел, как капитан джонки перерубил якорный канат и бросился помогать своей команде, поднимавшей огромный грубый косой парус. Налево от меня, на другой джонке, высовывались головы снизу; я повернул «Северного Оленя», подошел к ней почти вплотную, и Джордж вскочил на палубу джонки.

Вся флотилия пришла теперь в движение. В придачу к парусам китайцы достали длинные весла, и разбегающиеся джонки разрезали воды бухты по всем направлениям. Я был один теперь на «Северном Олене» и торопливо высматривал для себя третью джонку. Первая моя попытка кончилась неудачей: джонка, за которой я погнался, распустила паруса и быстро ушла от меня; я невольно почувствовал уважение к этому неуклюжему судну.

«Преследование будет бесполезно»,—решил я и отошел, ослабив грот таким образом, что джонки оказались от меня с подветренной стороны и, следовательно, в менее выгодном положении.

Джонка, которую я выбрал для нападения, покачивалась впереди «Северного Оленя», но когда я сделал широкий поворот, чтобы удобнее взять ее на абордаж [1]), паруса джонки внезапно надулись, и она метнулась в сторону, а смуглые монголы на ее борту согнулись над веслами, издавая дикие ритмические крики. Но я приготовился к этому. Я пошел к ветру, положил руль на борт и, навалившись на него всем телом, стал постепенно отдавать на ходу грот, чтобы по возможности ослабить силу удара. Два весла на правом борту джонки были смяты, и лодки с треском столкнулись. Бушприт «Северного Оленя», точно чудовищная рука, дотянулся до мачты джонки и сокрушил ее и парус.

---

[1]) Абордаж, при морском сражении—сцепка двух судов, произведенная одним из них в намерении овладеть другим.

Это было встречено яростным воплем. Огромный, отвратительный китаец с желтым платком на голове и с изуродованным оспой лицом уперся шестом в нос «Северного Оленя», чтобы разъединить сцепившиеся лодки. Я отдал кливер [1]), подождал, пока «Северного Оленя» отнесло к корме джонки, соскочил на борт джонки с концом в руке и отшвартовался. Рябой китаец, повязанный желтым платком, с угрожающим видом двинулся ко мне, но я опустил руку в задний карман брюк, и он поколебался в своей решимости. Я был безоружен, но китайцы научились бояться задних карманов американцев, и я на это и рассчитывал, чтобы удержать его и его дикую команду на приличном расстоянии.

Я приказал ему бросить якорь с носа джонки, на что он ответил: «Не понимай». Команда ответила тем же словом, и, хотя я совершенно ясно объяснил им знаками, чего я от них требую, они отказывались понимать. Убедившись в бесполезности спора, я сам размотал канат и отдал якорь.

— Теперь четверо из вас марш в мою лодку!—громко сказал я, показывая на пальцах, что четверо должны отправиться со мной, а пятый—остаться на джонке. Желтый Платок колебался, но я свирепо повторил приказание (в голосе у меня было гораздо больше свирепости, чем я испытывал на самом деле) и в то же время я опять протянул свою руку к заднему карману, и снова Желтый Платок покорился; бросая мрачные взгляды, он повел за собой трех китайцев на борт «Северного Оленя». Не поднимая кливера, я направил судно к той джонке, на которой находился Джордж; здесь нам было легче справиться: нас было двое, и у Джорджа был револьвер, который мог очень помочь, если бы дела пошли худо. И с этой джонки мы перевели четверых китайцев на «Северного Оленя» и только одного оставили на джонке смотреть за порядком.

К нам перешли еще четверо пассажиров с третьей джонки. Лодка Легранта успела набрать двенадцать пленных и подошла к нам сильно перегруженная. На маленьком судне патрульные были тесно сжаты своими пленниками и, в случае столкновения, могли бы оказаться в опасности.

— Вы должны выручить нас,—сказал Легрант.

Я посмотрел на своих пленных, которые сбились в кучу в кубрике [2]) и на рубке [3]).

---

[1]) Кливер—треугольный парус на бушприте (наклоненной мачте на носу судна).

[2]) Кубрик—«жилая палуба», палуба, занятая помещениями команды корабля.

[3]) Рубка—каюта на верхней палубе.

— Возьму троих,—ответил я.

— Возьмите четверых,—предложил он,—а ко мне перейдет Билль (третий патрульный). Нам здесь повернуться негде.

Обмен совершился, и лодка Леграпта, подняв парус, направилась по заливу к болотам, окружающим Сан-Рафаэль.

Я поставил кливер и последовал за ними на «Северном Олене». Сан-Рафаэль, где мы должны были передать властям наших пленников, сообщается с бухтой при помощи длинной извилистой болотистой речки, которая бывает судоходна только во время прилива. Теперь же как раз начинался отлив, и нам необходимо было спешить, чтобы не потерять полдня в ожидании следующего прилива.

Но береговой бриз [1]) с восходом солнца стал спадать и только изредка налетал теперь. Лодка, шедшая впереди нас, перешла на весла и скоро оставила нас далеко позади себя. Несколько китайцев стояло у дверей в кабину, и, когда я нагнулся, чтобы немного выбрать кливер-шток [2]), я почувствовал, что кто-то дотронулся до моего заднего кармана. Я не подал виду, что заметил это, но, взглянув мельком на Желтый Платок, понял, что китаец убедился в пустоте того кармана, который до сих пор наводил на него страх. Положение становилось тем более серьезным, что за время погони за джонками на «Северном Олене» набралось много воды, которая начинала теперь заливать уже пол кубрика. Китайцы показали мне на воду и вопросительно смотрели на меня.

— Да,—сказал я.—Наша вся скоро-скоро тонуть, если ваша не будет черпать. Понимай?

Нет, они «не понимай». По крайней мере, они все отрицательно покачали головами, но начали оживленно совещаться на своем языке. Я приподнял три-четыре палубных доски, достал два ведра и знаками, которых нельзя было не понять, пригласил своих пленников приняться за работу. Но они засмеялись в ответ и разбрелись по судну кто куда.

Их смех был недобрым смехом. В нем чувствовались злоба и угрозы, и угрозой были полны их мрачные взгляды. Желтый Платок, убедившись, что мой карман пуст, стал дерзок и беспрестанно шнырял среди других пленников, чего-то настойчиво требуя от них.

Сдерживая свое раздражение, я начал сам вычерпывать воду. Но едва я взялся за ведра, как парус вдруг наполнился, и «Северный Олень» сильно накренился. Поднялся дневной ветер. Джордж был никуда не годный моряк, и мне пришлось бросить вычерпывание и

---

[1]) Бриз—береговой ветер, дующий днем с моря, а ночью—с берега.

[2]) Снасть, которой натягивают и ослабляют кливер.

взяться за румпель [1]). Ветер дул из-за мыса Педро, с высоких гор, лежавших за ним; он приносил с собой дождь и налетал порывами: паруса то надувались, то лениво полоскались.

Джордж был самый беспомощный и неумелый человек, какого мне когда-либо приходилось видеть. Помимо своей неловкости и неспособности к какой-либо работе, он был еще и чахоточный, и я знал, что если он возьмется за вычерпывание, то это может вызвать у него кровохаркание. Однако, вода все прибывала, и нужно было что-нибудь предпринять. Я снова приказал китайцам взяться за ведра. Они вызывающе рассмеялись, и те из них, которые сидели в каюте по щиколотку в воде, обменялись какими-то замечаниями со своими товарищами, находившимися наверху.

— Пустите в ход свое оружие и заставьте их выкачивать,— сказал я Джорджу.

Но он отрицательно покачал головой, и по его виду было ясно, что он боится. Китайцы видели это так же хорошо, как и я, и их наглость становилась невыносимой. Сидевшие в каюте взломали ящики с провизией, к ним спустились стоявшие наверху, и китайцы устроили пир из наших сухарей и консервов.

— Ну, что мы можем сделать?—прошептал Джордж.

Я задыхался от бессильного бешенства.

— Если они не почувствуют сейчас власти над собой, то потом будет поздно. Вы должны сейчас же обуздать их.

Вода в лодке поднималась выше и выше, а порывы ветра становились все сильнее и сильнее. В промежутках между этими порывами пленники, уничтожившие дотла наши запасы провизии, приготовленные на неделю, собирались то на одном, то на другом борту, так что «Северный Олень» качался, точно скорлупа. Желтый Платок подошел ко мне и, указывая пальцем на свою деревушку, видневшуюся на берегу у мыса Педро, дал мне понять, что если я поверну «Северного Оленя» в этом направлении и высажу их на берег, то они начнут вычерпывать воду. Теперь вода в каюте доходила до коек, и постели были уже подмочены. В кубрике вода поднялась почти на фут, и все же я отказал, чем очень разочаровал Джорджа.

— Если вы не проявите мужества, они свяжут нас и вышвырнут за борт,—сказал я ему.—Передайте лучше мне свой револьвер, если хотите спастись.

— Самое безопасное было бы,—трусливо пробормотал он,—высадить их на берег. Я, по крайней мере, совсем не желаю тонуть из-за горсти китайцев.

---

[1]) Румпель—рычаг для поворачивания руля.

— А я не желаю сдаваться этой горсти китайцев для того только, чтобы предохранить себя от морской ванны,—горячо возразил я.

— Вы потопите «Северного Оленя» и всех нас вместе с ним,—захныкал он.—Не понимаю, что в этом хорошего.

— У каждого свой вкус,—сказал я.

Джордж ничего не ответил, но я заметил, что он дрожит мелкой дрожью. И китайцы, и опасность утонуть наполнили его душу ужасом. Он не мог побороть страха. А я, больше, чем китайцев, и больше, чем воды, боялся Джорджа и того, что он мог сделать. Я заметил, что он бросает частые взгляды на маленький ялик, шедший у нас на буксире за кормой. Как только ветер немного затих, я притянул ялик к борту. Глаза Джорджа загорелись надеждой, но прежде чем он успел угадать мое намерение, я прорубил топором хрупкое дно, и ялик наполнился водой до самого борта.

— Если тонуть, так вместе,—сказал я,—и если вы дадите мне свой револьвер, то вода в одно мгновение будет выкачена.

— Их слишком много,—уныло говорил он.—Мы не сможем справиться с ними.

Я с презрением повернулся к нему спиной. Наша вторая лодка уже скрылась из виду за маленьким архипелагом, известным под именем Морских Островов, и с этой стороны нельзя было ожидать никакой помощи. Желтый Платок развязно подошел ко мне, шлепая ногами по воде, покрывавшей пол кубрика. Мне не нравились его взгляды. Я почувствовал, что за приятной улыбкой, которую он старался изобразить на своем лице, таится злое намерение. Я так резко приказал ему отойти, что он повиновался.

— Держись дальше!—крикнул я.—Близко не подходить ко мне!

— Почему так?—спросил он с оскорбленным видом.—Я говорила хороший вещи.

— Что ты «говорила»?—резко перебил я, потому что я знал теперь, что он понял наш разговор с Джорджем.—Зачем говорила? Ты не умеешь говорить.

Он усмехнулся:

— Нет, я много понимает. Я честный китаец.

— Хорошо,—ответил я.—Ты умеешь говорить. Пусть твой сначала выливает много-много вода. Потом будем много говорить.

Он покачал головой, указывая через плечо на своих товарищей:

— Нельзя делать. Очень плохой китайцы, очень злой. Я подумать...

— Назад!—крикнул я, заметив, что рука его исчезла под блузой, а тело напряглось для прыжка.

Он отступил и вернулся в каюту, чтобы держать совет со своими товарищами: так можно было заключить по крикам и шуму.

«Северный Олень» глубоко сидел в воде и едва подвигался. При сильном волнении он, несомненно, пошел бы ко дну, но береговой ветер был настолько слаб, что едва морщил поверхность залива.

— Я думаю, что вам следовало бы направить судно к берегу,— сказал вдруг Джордж, и я понял по его тону, что страх заставил его решиться на какое-то действие.

— А я не думаю,—ответил я кратко.

— Я вам приказываю!—сказал он сварливым тоном.

— Мне приказано доставить этих пленных в Сан-Рафаэль,—было моим ответом.

Мы оба повысили голос, и китайцы, заслышав спор, повылезли из каюты.

— А теперь будете вы держать к берегу?—Это сказал Джордж, и я, увидел перед собою дуло его револьвера, того револьвера, который он не смел из трусости направить против китайцев, но которым не поколебался пригрозить мне.

Точно молния пронизала мой мозг. Ярко предстало предо мной все положение: стыд от потери пленников, трусость и низость Джорджа, встреча с Легрантом и другими патрульными и наши жалкие объяснения; уголком глаза я видел, как китайцы столпились у дверей каюты и торжествующе подмигивали друг другу. Не будет же этого!

Я поднял руку и опустил голову. Первым движением я толкнул дуло револьвера, а вторым убрал голову с пути пули, которая со свистом пролетела мимо. Одной рукой я схватил кисть руки Джорджа, а другой—револьвер. Желтый Платок и другие китайцы кинулись ко мне. Теперь или никогда! Собрав все свои силы, я толкнул Джорджа им навстречу. Затем я также внезапно отскочил назад, вырвал револьвер из его пальцев и сбил его с ног. Он упал под ноги Желтому Платку, тот споткнулся, и оба они скатились в открытый люк. В ту же секунду я направил на толпу револьвер, и дикие китайские рыбаки тотчас же стали кланяться мне.

Но я быстро убедился, что далеко не одно и то же стрелять по нападающим или по людям, которые просто отказываются повиноваться. Китайцы попрежнему не исполняли приказаний. Я грозил им револьвером, но они упорно продолжали сидеть в затопленной каюте и на рубке и не хотели сдвинуться с места.

Прошло минут пятнадцать; «Северный Олень» погружался глубже и глубже; грот его лениво висел при полном штиле. Но у мыса Педро я заметил на воде темную полосу, которая быстро приближалась к нам. Это был устойчивый ветер, которого я давно ждал. Я подозвал китайцев и указал им на темную полосу воды. Они приветствовали ветер криками. Затем я указал на парус и на воду на палубе

«Северного Оленя» и показал им жестами, что когда ветер достигнет паруса, мы перевернемся. Но они в ответ только смеялись недоверчиво, так как знали, что в моей власти отдать грот, чтобы обезветрить его и таким образом избежать катастрофы. Но я решил не уступать. Я притянул грот на фут или на два, повернулся и, упершись ногами, налег спиною на румпель. При этом положении я мог одной рукой натягивать парус, а другой держать револьвер. Темная линия приближалась, и китайцы смотрели то на нее, то на меня со страхом, которого они не могли скрыть. Мой ум, воля и выносливость были противопоставлены их уму, воле и выносливости, и весь вопрос заключался в том, кто из нас дольше выдержит ожидание неминуемой смерти и не сдастся.

Затем налетел ветер. Грот туго натянулся, блоки затрещали, и «Северный Олень» стал крениться все больше и больше, до тех пор, пока правый борт не очутился под водой; за ним скрылись окна каюты, и вода начала переливаться через перила кубрика. Судно накренилось так быстро, что люди в каюте попадали друг на друга и скатились в правую сторону; они барахтались и извивались в воде; тем, которые были внизу, угрожала опасность захлебнуться.

Ветер усиливался, и «Северный Олень» накренился еще сильнее. Я думал одно мгновение, что все погибло: еще один такой порыв, и «Северный Олень» пойдет ко дну. Пока я, продолжая натягивать грот, раздумывал, сдаваться мне или нет, китайцы закричали о пощаде. Это были для меня самые сладостные звуки, которые я когда-либо слышал. Только тогда я пошел на фордевинд [1]) и отдал грот. «Северный Олень» медленно выпрямился; однако, в нем оказалось столько воды, что я усомнился в возможности спасти его.

Но китайцы как сумасшедшие бросились вниз и принялись вычерпывать воду ведрами, жестянками и всем, что попадалось им под руку. Приятно было видеть, как вода перелетала через борт. И когда «Северный Олень» снова гордо и прямо закачался на волнах, мы помчались с попутным ветром и поспели как раз во-время, чтобы переправиться через болотистые места и войти в устье реки. Сопротивление китайцев было сломлено: они стали такими послушными, что едва мы завидели Сан-Рафаэль, как они с Желтым Платком во главе уже держали швартовый канат [2]). Что же касается Джорджа, то это было его последнее путешествие с рыбачьим патрулем. Такие вещи были ему не по душе,—объяснил он, рассудив, что ему более подходит место конторщика на суше. И мы тоже так думали.

---

[1]) Ход судна по ветру.

[2]) Швартовый канат—канат, притягивающий корабль к пристани.

«КОРОЛЬ ГРЕКОВ»

Большой Алек долго не попадался в руки рыбачьему патрулю. Алек хвастливо заявлял, что никто не возьмет его живым, и прибавлял при этом, что многие пытались взять его мертвым, но безуспешно. Молва поясняла, что двое патрульных, которые пытались захватить его мертвым, сами нашли свою смерть. А между тем никто так систематически и дерзко не нарушал законов о рыбной ловле, как Большой Алек.

Его прозвали Большим Алеком за его крупную фигуру. Ростом он был шести футов трех дюймов, и в соответствии с ростом были его широкие плечи и могучая грудь. Великолепные мускулы, твердые, как сталь, дополняли его богатырскую наружность, и среди рыбаков рассказывались бесконечные истории о его необычайной силе. Он был так же дерзок и неукротим духом, как могуч телом, и благодаря этому его называли еще «королем греков».

Рыбачье население состояло, главным образом, из греков; они почитали Большого Алека и повиновались ему, как своему вождю. В качестве их главы он защищал и спасал их, если они попадались в лапы закона, а когда нужно было сообща бороться,—объединял их.

Рыбачий патруль не раз пытался поймать его, но все эти попытки кончались неудачно, и теперь от мысли захватить Алека окончательно отказались; поэтому, когда пронесся слух, что Большой Алек приехал в Бенисию, я очень хотел увидеть его. Но мне не пришлось гоняться за ним. Со своей обычной дерзостью первое, что он сделал по приезде, это явился сам в рыбачий патруль. Чарль Легрант и я служили под начальством патрульного Карминтеля, и мы все трое находились на «Северном Олене», готовясь к маленькому путешествию, когда Большой Алек появился на борту. Карминтель, повидимому, знал его; при встрече они пожали друг другу руки; на меня и на Чарли Большой Алек не обратил никакого внимания.

— Я приехал сюда половить осетров месяца два,—сказал он Карминтелю. Глаза Алека при этом вызывающе блеснули.

— Хорошо, Алек,—сказал Карминтель тихим голосом,—я не стану беспокоить вас. Пойдемте в каюту, потолкуем обо всем,—добавил он.

Когда они ушли, и дверь каюты закрылась за ними, Чарли многозначительно подмигнул мне. Но я был в то время еще очень юн, не знал людей и ничего не понял. Чарли не счел нужным объяснять мне, но я все же почувствовал, что происходит что-то неладное.

Оставив их совещаться, мы, по предложению Чарли, сели в нашу шлюпку и поплыли к Старой пароходной пристани, где стоял ковчег Большого Алека. Ковчег, это—небольшое судно, превращенное в дом, поместительный и удобный; он так же необходим рыбаку в заливе Сан-Франциско, как сети и лодки. Нам очень хотелось взглянуть на ковчег Большого Алека, так как история говорила, что он не раз служил ареной битвы и весь изрешетен пулями. Мы нашли дыры от пуль (забитые деревянными закрашенными втулками), но их оказалось гораздо меньше, чем я ожидал. Чарли заметил мое разочарование и расхохотался; чтобы утешить меня, он тут же рассказал доподлинную историю об одной экспедиции, которая отправилась в пловучий дом Большого Алека, чтобы там захватить его живым, а в крайнем случае хотя бы мертвым. В конце концов после битвы, длившейся полдня, патрульные спаслись бегством на поврежденных лодках; у них было трое раненых и один убитый. А когда на следующее утро они вернулись с подкреплениями, они нашли только колья ковчега Большого Алека. Сам же ковчег исчез на несколько месяцев в густых суизунских камышах.

— Но почему же его не повесили за убийство?—спросил я.— Соединенные Штаты, я думаю, довольно сильны для того, чтобы осуществить правосудие над таким человеком.

— Он сам отдался в руки властей и потребовал суда,—ответил Чарли.—Ему стоило пятьдесят тысяч долларов выиграть дело. Его защищали лучшие адвокаты страны. Каждый грек-рыболов внес свою долю в эту сумму. Большой Алек распределял и собирал налог, как самый настоящий король. Соединенные Штаты, может быть, и всемогущи, а все же, паренек, остается несомненным, что Большой Алек—король внутри Соединенных Штатов, король со своей страной и своими подданными.

— Ну, а что вы сделаете, если он начнет теперь ловить осетров? Он будет ловить их, конечно, «китайской лесой».

Чарли пожал плечами.

— Ну, там будет видно,—произнес он загадочно.

«Китайская леса»—искусное изобретение, выдуманное народом, имя которого она носит. С помощью простой системы поплавков, грузил и якорей тысячи крючков—каждый на отдельной лесе—свешиваются над дном на высоте от шести дюймов до одного фута; главная суть здесь в крючке: он с длинным конусообразным концом, острым, как иголка. Эти крючки висят на расстоянии нескольких

дюймов друг от друга, и когда они, точно бахрома, тысячами свешиваются над дном на протяжении двухсот фатомов [1]), то являются непреодолимым препятствием для рыбы, которая идет глубоко внизу над самым дном.

Осетр, например, всегда идет у самого дна, взрывая ил точно свинья, и его часто называют «водяной свиньей». Наколовшись на первый крючок, осетр в испуге делает прыжок и наскакивает на десяток других крючков. Тогда он начинает отчаянно метаться, и крючки, прикрепленные к множеству отдельных лес, один за другим вонзаются в нежное мясо осетра и крепко держат несчастную рыбу, пока ее не вытащат. В виду того, что ни один осетр не может пройти сквозь «китайскую лесу», это изобретение в законах о рыбной ловле называется западней, а так как такой способ ловли ведет к полному истреблению осетров, он признан противозаконным. Такою-то лесой—мы были в этом уверены—и намеревался Большой Алек ловить осетров, открыто и дерзко нарушая закон.

Прошло несколько дней после визита к нам Большого Алека. Мы с Чарли все время зорко следили за ним. Он протащил на буксире свой ковчег мимо Соланской пристани в большую бухту у Тернеровской верфи. Мы знали, что эта бухта—излюбленное место осетров, и не сомневались, что «король греков» намерен здесь начать свою охоту. Во время приливов и отливов вода в бухте бурлила точно на мельнице, и поднять, спустить или установить «китайскую лесу» можно было только в промежуток между приливом и отливом, когда в бухте было спокойно. Поэтому мы с Чарли и решили наблюдать около этого времени за бухтой с Соланской пристани.

На четвертый день я, лежа на солнце на краю пристани, увидел шлюпку, идущую к бухте. Мгновенно бинокль был у моих глаз, и я стал следить за каждым движением ялика, за каждым взмахом его весел. В ялике плыло двое, и хотя нас разделяла добрая миля, я узнал в одном из них Большого Алека и, прежде чем шлюпка повернула к берегу, я понял, что грек поставил лесу.

— Большой Алек поставил «китайскую лесу» в бухте Тернеровской верфи,—сказал в тот же день Чарли Легрант Карминтелю.

Выражение досады мелькнуло на лице патрульного.

— Да?—сказал он рассеянно, и это было все.

Чарли закусил губу, сдерживая раздражение, и вышел.

— А что, ты не боишься рискнуть?—обратился он ко мне в тот же вечер, когда мы кончили мыть палубы «Северного Оленя» и приготовлялись спать.

У меня сдавило горло от волнения, и я мог только кивнуть.

---

[1]) Фатом—мера длины = 6 футам = 1,829 *м.*

— Ну, в таком случае,—глаза Чарли заблестели решимостью,—мы с тобой притиснем Большого Алека, что бы там ни думал Карминтель. Согласен ты помочь мне? Это трудная штука, но мы справимся,—прибавил он после паузы.

— Конечно, справимся!—восторженно подтвердил я.

Мы пожали друг другу руки и пошли спать.

Нелегкую задачу поставили мы себе. Чтобы обвинить человека в незаконной рыбной ловле, нужно было поймать его на месте преступления со всеми вещественными доказательствами: крючками, лесами, рыбой и тут же захватить рыболова. Значит, мы должны были захватить Большого Алека в открытых водах, где он мог легко заметить наше приближение и приготовить нам одну из тех теплых встреч, которые прославили его.

— Ничего другого тут не придумаешь,—сказал Чарли однажды утром.—Если мы сумеем подойти к нему борт-о-борт, силы наши будут равны; значит, у нас только одно и есть—попытаться подойти к нему борт-о-борт. Попробуем, паренек!

Мы были в колумбийской лодке для ловли лососей, в той самой, в которой охотились за китайскими рыбаками. Наступило затишье между приливом и отливом, и мы, обогнув Соланскую пристань, увидели Большого Алека за работой: он обходил свою лесу и выбирал рыбу.

— Поменяемся местами,—скомандовал Чарли,—правь прямо ему в корму, как будто мы идем к верфи.

Я сел за руль, а Чарли поместился на средней скамье и положил возле себя револьвер.

— Если Алек начнет стрелять,—предостерег он,—ложись на дно и правь оттуда так, чтобы высовывалась одна только рука.

Я кивнул, и мы замолчали. Лодка скользила по воде. Мы подходили к Большому Алеку ближе и ближе. Мы хорошо видели его: он вылавливал осетров и бросал их в лодку, а его товарищ очищал крючки и снова опускал их в воду. Тем не менее, когда мы были на расстоянии ярдов пятисот от них, Алек заметил нас.

— Эй, вы! Чего вам надо?—крикнул он.

— Продолжай править, будто ты ничего не слышишь,—прошептал Чарли.

Это были тревожные минуты. Рыбак пристально рассматривал нас, а мы все приближались и приближались к нему.

— Убирайтесь отсюда, если желаете себе добра!—крикнул он вдруг, точно сообразив, кто мы такие.—Если не уйдете, я покажу вам дорогу.

Он приложил винтовку к плечу и стал целиться в меня.

— Уберетесь вы теперь?—спросил он.

Я услыхал, как Чарли зарычал от досады.

— Идем назад,—шепнул он.—На этот раз дело сорвалось.

Я повернул руль, отдал парус, и наша лодка сразу отошла на пять-шесть румбов [1]). Большой Алек следил за нами, пока мы не отошли довольно далеко, потом вернулся к своей работе.

— Оставьте Большого Алека в покое,—сказал нам Карминтель довольно сердито в тот же вечер.

— Значит, он вам жаловался, так, что ли?—многозначительно заметил Чарли.

Карминтель покраснел.

— Говорю вам, оставьте его в покое,—повторил он.—Это опасный человек; и нам не очень-то много заплатят за преследование его.

— Да,—тихо ответил Чарли,—я слыхал, будто платят гораздо лучше, если не трогать его.

Это было прямым вызовом Карминтелю, и мы увидели по выражению его лица, что удар попал в цель. Все знали, что Большой Алек так же охотно давал взятки, как и вступал в драку, и что за последние годы почти никто из патрульных не отказывался от денег богатого рыболова.

— Вы хотите сказать...—начал Карминтель резким тоном.

Чарли оборвал его.

— Я ничего не хочу сказать. Вы слышали, что я сказал, и если на вас шапка горит...

Он пожал плечами. Карминтель молча бросил на него яростный взгляд.

— Нехватает нам выдумки и сообразительности,—сказал мне однажды Чарли, когда мы сделали попытку подкрасться к Большому Алеку на рассвете и снова были прогнаны им.

После этого в течение многих дней я ломал себе голову, пытаясь изобрести способ, с помощью которого два человека могли бы схватить третьего, хорошо владеющего винтовкой и никогда не расстающегося с ней. И это нужно было проделать в открытом море. В тихий промежуток между приливом и отливом постоянно можно было видеть Большого Алека, который средь бела дня открыто и дерзко работал со своей «китайской лесой». И было обиднее всего, что каждый рыбак от Бениции до Валлехо прекрасно знал, как Алек смеется над нами. Карминтель тоже мешал нам, посылая нас наблюдать за рыбаками в Сан-Пабло, и мы, таким образом, могли уделить «королю греков» очень немного времени. Но так как жена и

[1]) Румб—одно из делений на компасе ($^1/_{32}$ круга горизонта).

дети Чарли жили в Бениции, то мы сделали этот пункт своей штаб-квартирой и постоянно бывали там.

— Знаете, что мы должны сделать?—сказал я по прошествии нескольких бесплодных недель.—Когда Большой Алек отправится с рыбой на берег, мы захватим его лесу. Это заставит его потратить время и деньги на новую лесу, а мы постараемся придумать, как захватить вторую. Если мы не можем поймать его, будем устраивать ему, по крайней мере, всякие неприятности.

Чарли подумал и сказал, что мысль не плоха. Мы стали ждать удобного случая, и однажды, когда настало время между приливом и отливом, Большой Алек, собрав рыбу с лесы, вернулся на берег, мы вышли в залив на нашей лодке. Мы были уверены, что определим положение лесы по береговым знакам. Прилив только-что начался, когда мы подплыли к тому месту, где по нашим предположениям находилась леса, и бросили рыбачий якорь. Мы спустили его на коротком канате, так что он едва касался дна, и медленно потащили его за собой, пока он не задержался и лодка вдруг не остановилась.

— Готово!—воскликнул Чарли.—Помоги мне вытянуть.

Вместе мы потянули веревку, пока не показался якорь, а за ним и осетровая леса, зацепившаяся за один из его рогов. Множество смертоносных крючков заблестело пред нами, когда мы освобождали якорь. Затем мы двинулись вдоль лесы, как вдруг удар по лодке заставил нас вздрогнуть. Мы оглянулись, но ничего не увидели и снова вернулись к работе. Через мгновение раздался второй удар, и планшир между Чарли и мной разлетелся в щепки.

— Совсем похоже на пулю, парнишка,—сказал Чарли задумчиво.—И далеко же стреляет этот Большой Алек! Он употребляет бездымный порох,—объявил он, осмотрев берег, находившийся на расстоянии мили от нас.—Вот почему не слышно выстрела.

Я взглянул на берег, но не увидел там никаких признаков Большого Алека; очевидно, он прятался за каким-нибудь утесом, и мы были в его власти. Третья пуля со свистом пролетела над нашими головами и упала в воду.

— Пожалуй, лучше нам убраться отсюда,—хладнокровно заметил Чарли.—Как ты думаешь, парень?

Я думал так же, как и он, и сказал, что леса совсем не нужна нам.

Мы подняли якорь и поставили парус. Стрельба прекратилась, и мы уплыли восвояси с неприятным сознанием, что Большой Алек смеется над нашим бегством.

На следующий день, когда мы были на рыболовной пристани и проверяли сети, Алек начал издеваться над нами перед толпою

рыбаков. Лицо Чарли потемнело от гнева, но он пообещал только Большому Алеку посадить его в конце концов за решетку и больше ничего не отвечал на все насмешки. «Король греков» начал хвастаться, что ни одному патрулю не удавалось еще поймать его да никогда и не удастся, а рыбаки поддерживали его и клялись, что это истинная правда. Рыбаки от насмешек перешли к ругани, но Алек успокоил своих «подданных», и они оставили нас в покое.

Карминтель тоже смеялся над Чарли, отпускал иронические замечания и колкости. Но Чарли не подавал виду, что это злит его, хотя по секрету сказал мне, что он решил изловить Большого Алека, хотя бы ему пришлось посвятить на это дело весь остаток жизни.

— Не знаю, как это я устрою,—говорил он,—но я сделаю, что хочу. Это так же верно, как то, что я Чарли Легрант. Не бойся, мне придет в голову хорошая мысль, когда нужно будет.

И когда стало нужно, мысль, действительно, пришла к нему, и совершенно неожиданно.

Прошел месяц, в течение которого мы постоянно ходили вверх и вниз по реке и по заливу по всяким поручениям, и у нас не было ни минуты, чтобы заняться нашим рыбаком; он все это время ловил рыбу «китайской лесой» в бухте Терперовской верфи. Как-то раз нас вызвали по патрульному делу в Сельби на верфь, и вот тут-то нам на помощь пришел долгожданный случай. Он явился под видом беспомощной яхты, наполненной людьми, страдавшими морской болезнью; и мы с большим трудом признали в этой яхте тот благоприятный случай, которого мы все время ждали. Это была большая яхта-шлюп, находившаяся в отчаянном положении, потому что ветер переходил в шторм, а на борту ее не было ни одного настоящего моряка.

С пристани Сельби мы с беспечным любопытством следили за неумелыми маневрами поставить яхту на якорь и за такими же неумелыми попытками отправить ялик к берегу. Жалкого вида человек в парусиновой грязной одежде, едва не потопив ялика в огромных волнах, бросил нам конец и вылез на берег. Он так раскачивался из стороны в сторону, точно пристань опускалась и поднималась под ним. Он рассказал нам о своих злоключениях, которые были и злоключениями яхты. На яхте был единственный опытный моряк, от которого зависели все бывшие на яхте. Он был вызван телеграммой обратно в Сан-Франциско, а они попробовали продолжать путь без него. Сильный ветер и волнение в бухте Сан-Пабло сразу сломили их энергию: все заболели морской болезнью, и никто не знает, что и как нужно делать. Они подошли к верфи, чтобы оставить здесь яхту или отыскать кого-нибудь, кто отвел бы ее

в Беницию. Коротко говоря, не знаем ли мы матросов, которые согласились бы доставить яхту в Беницию. Чарли посмотрел на меня. «Северный Олень» спокойно стоял на якоре. Мы были свободны до полуночи. При этом ветре мы легко могли дойти до Бениции часа в два, пробыть несколько часов на берегу и вернуться с вечерним поездом в Сельби на верфь.

— Хорошо, мы согласны, капитан,—сказал Чарли приунывшему туристу, грустно улыбнувшемуся при слове «капитан».

— Я только владелец яхты,—сказал он.

Мы доставили его на яхту в ялике лучше и быстрее, чем сделал это он, переправляясь с яхты на берег, и убедились собственными глазами в беспомощности пассажиров. Их было двенадцать человек мужчин и женщин, и все они так страдали, что не могли даже порадоваться нашему появлению. Яхта неистово качалась, и владелец, не успев ступить на нее, тотчас же свалился, как и все другие. Никто из них не мог ничем помочь нам, так что мне и Чарли пришлось вдвоем поставить парус и поднять якорь.

Это был тяжелый переход, хотя и недолгий. Каркинезский пролив кипел, как вулкан, и мы стремительно прошли его на фордевинде, при чем большой грот во время этого отчаянного бега попеременно то опускал, то вздымал к небу свой гик [1]). Но пассажиры ни на что не обращали внимания и оставались равнодушными ко всему. Двое или трое, в том числе и владелец, мелькали в кубрике, вздрагивая каждый раз, когда яхта взлетала на гребень волны или падала стремительно вниз, и бросая тоскующие взгляды на берег. Остальные растянулись на полу в каюте на подушках. Время от времени раздавался чей-нибудь стон, но многие больные лежали молча.

Когда показалась Тернеровская верфь, Чарли направил яхту в бухту, так как там было спокойно. Бениция уже виднелась перед нами; мы шли по сравнительно спокойным водам и вдруг увидели перед собой силуэт лодки, танцовавшей на волнах; лодка шла в том же направлении, как и наша яхта. Мы с Чарли переглянулись. Не было произнесено ни единого слова, но яхта вдруг начала проделывать удивительные маневры, меняя каждую минуту направление и кружась по воле ветра, как будто на руле ее сидел самый отъявленный любитель. Было на что посмотреть моряку. Казалось, будто яхта сама, без участия человека, безумно носилась по бухте. Иногда казалось, что чья-то воля делает усилия направить ее в Беницию, но тщетно.

Владелец яхты забыл свою болезнь и со страхом смотрел на нас. Пятно лодки становилось все больше и больше, и мы разглядели,

---

[1]) Косой парус, прикрепленный сверху к гафелю, имеет снизу другое дерево,—когда парус выходит за пределы борта,—называемое гиком.

наконец, Большого Алека и его товарища с петлей осетровой лесы вокруг катушки; они, оставив работу, смеялись над нами. Чарли надвинул на глаза свою шапку, и я последовал его примеру, хотя не мог угадать его мысли, которую он, очевидно, решил привести в исполнение.

Мы подошли к лодке так близко, что даже сквозь ветер расслышали слова Большого Алека и его помощника; они ругали нас со всем презрением профессиональных моряков к любителям, особенно когда любители разыгрывают таких дураков.

Мы с грохотом пронеслись мимо рыбаков, и ничего не произошло. Чарли усмехнулся при виде разочарования, отразившегося на моем лице, и закричал:

— Стой на шкотах [1]) для поворота!—Он круто повернул руль, и яхта послушно повернулась. Грот ослаб, спустился, пронесся над нашими головами вслед за гиком и с треском закрепился на бугеле [2]). Яхта сильно накренилась, и больные пассажиры покатились по полу каюты, свалившись все в одну груду у коек левого борта. Но у нас не было времени заниматься ими. Яхта, выполнив маневр, понеслась прямо на лодку. Я увидел, как Большой Алек прыгнул через борт, а его компаньон ухватился за наш бушприт. Затем раздался треск в тот момент, когда мы разбили лодку, и ряд толчков, когда она прошла под нашим дном.

— Конец его винтовке,—пробормотал Чарли и выскочил на палубу, чтобы посмотреть, нет ли Большого Алека где-нибудь на корме.

Ветер и волны скоро остановили наше движение вперед, и мы были отнесены к тому месту, где столкнулись с лодкой. Черная голова и смуглое лицо Алека показались на поверхности близко от нас. Ничего не подозревавший и страшно возмущенный тем, что он принимал за неловкость любителей, грек был вытащен нами на борт. Он с трудом переводил дыхание: так глубоко пришлось ему нырнуть и так долго пришлось оставаться под водой, чтобы избегнуть нашего киля.

В следующий момент, к великому изумлению и ужасу владельца яхты, Чарли сидел верхом на Большом Алеке, и я помогал ему связывать «короля греков» веревками. Владелец взволнованно прыгал вокруг нас и требовал объяснений. Но в это время товарищ Большого Алека приполз с бушприта на корму и со страхом заглянул через перила в кубрик. Чарли схватил его за шею, и тот растянулся на спине рядом с Большим Алеком.

— Еще веревок!—крикнул Чарли, и я поспешил притащить их.

---

[1]) Шкоты—снасти, растягивающие у парусов подветренную сторону.

[2]) Бугель—железный обруч для связывания частей корабля.

Разбитый ялик вяло покачивался неподалеку от нас; я наставил паруса, а Чарли взялся за руль и направил яхту к нему.

— Эти люди—закоренелые преступники,—объяснил Чарли рассерженному владельцу,—это дерзкие нарушители закона о рыбной ловле. Вы видели, что мы накрыли этих молодцов на их преступном деле, и вы должны приготовиться, что вас вызовут свидетелем на суд.

Чарли подошел к ялику, за которым волочилась оборвавшаяся леса. Он вытащил сорок или пятьдесят футов лесы вместе с молодым осетром, прочно запутавшимся в ее острых крючках. Чарли отрезал ножом этот кусок лесы и бросил его в кубрик рядом с пленником.

— Это будет вещественным доказательством, улика номер первый,—продолжал Чарли,—присмотритесь к ней хорошенько, чтобы вы могли узнать ее на суде, да запомните также место и время, где преступники были пойманы.

И затем, перестав кружить и вилять, мы с триумфом пошли прямо в Беницию, а в кубрике лежал крепко связанный «король греков», в первый раз в жизни попавший в руки рыбачьего патруля.

НАБЕГ НА УСТРИЧНЫХ ПИРАТОВ

Из всех начальников рыбачьего патруля, под командой которых нам приходилось служить в разное время, самым лучшим был Нейль Партингтон; в этом Чарли Легрант был, я думаю, согласен со мной.

Партингтон не был ни лгуном, ни трусом, и хотя он требовал от нас полного повиновения при исполнении его приказаний, но в то же время наши отношения были совершенно товарищескими, и он предоставлял нам такую свободу, к которой мы не всегда бывали подготовлены, как это покажет настоящий рассказ.

Семья Нейля жила в Оклэнде, на Нижней бухте, в шести милях по воде от Сан-Франциско. Однажды, когда мы делали рекогносцировку среди китайцев, занимавшихся ловлей креветок у мыса Педро, Партингтон получил письмо, что жена его тяжело больна, и через час «Северный Олень» при свежем попутном ветре уже шел в Оклэнд. В Оклэндском лимане мы бросили якорь, и в следующие дни, когда Нейль находился на берегу, мы с Чарли подтянули снасти, перебрали балласт, почистились,—словом, привели шлюпку в порядок.

Покончив с этой работой, мы заскучали: время тянулось очень медленно. Жена Нейля была опасно больна, и нам предстояло простоять на якоре целую неделю в ожидании кризиса. Мы с Чарли разгуливали по докам, стараясь найти какое-нибудь занятие, и случайно набрели на устричную флотилию у Оклэндской городской пристани. По большей части это были славные оснащенные лодочки, быстроходные и прочные, и мы с небрежным видом уселись на краю пристани, чтобы рассмотреть их получше.

— Недурный улов, кажется,—сказал Чарли,—указывая на груды устриц, разложенных на палубе одного из судов; устрицы были рассортированы по их величине, всего три сорта.

Разносчики с своими тележками останавливались на самом краю пристани, и из их переговоров и споров я узнал рыночную цену устриц.

— На этом судне по меньшей мере на двести долларов устриц,—высчитал я.—Интересно бы знать, сколько времени они потратили на такой улов?

— Три-четыре дня,—ответил Чарли.—Недурный заработок для двух рыбаков: по двадцать пять долларов в день на человека.

Эта лодка называлась «Призрак» и стояла прямо под нами. Команда ее состояла из двух человек. Один был приземистый, коренастый парень с необычайно длинными, точно у гориллы, руками, а другой—высокого роста, хорошо сложенный малый, с ясными голубыми глазами и гладкими черными волосами. Этот контраст между цветом волос и глаз был так необычен и так резко бросался в глаза, что мы с Чарли задержались на пристани дольше, чем предполагали. И хорошо сделали. Мы увидали, как к краю пристани подошел толстый пожилой человек—по виду и костюму зажиточный купец—и остановился рядом с нами, глядя вниз на палубу «Призрака». Он, повидимому, был чем-то рассержен, и чем дольше смотрел на судно, тем больше раздражался.

— Это мои устрицы,—произнес он наконец.—Сегодня ночью эти разбойники сделали набег на мои устричные отмели и ограбили меня.

Высокий рыбак и низенький рыбак посмотрели наверх с своей палубы.

— Алло, Тафт!—крикнул низенький человек с наглой развязностью (среди рыбаков и матросов бухты он был известен под кличкой Осьминога, которую получил за свои длинные руки).—Алло, Тафт!—повторил он с той же развязностью.—Чего это вы там разворчались?

— Это мои устрицы, вот что я говорю. Вы украли их с моих отмелей.

— Уж больно вы умны, а, как вы думаете?—насмешливо ответил Осьминог.—Как же вы узнаете их, ваших устриц? Что они, отмечены чем-нибудь, что ли?

— По-моему,—вмешался высокий человек,—устрицы всегда устрицы, где бы вы их ни выловили, они одинаковы во всем заливе да и на всем свете, уж если на то пошло. Мы не желаем ссориться с вами, мистер Тафт, но и не хотим, чтобы вы оскорбляли нас, утверждая, что это ваши устрицы и что мы воры и грабители, пока вы не докажете, что это ваш товар.

— Я знаю, что это мои устрицы,—прорычал мистер Тафт,—жизнь свою прозакладываю!

— Докажите!—вызывающе сказал высокий, которого, как мы узнали после, все называли Дельфином за его замечательное уменье плавать.

Мистер Тафт беспомощно пожал плечами. Разумеется, он не мог доказать, что это его устрицы, как бы он ни был в этом уверен.

— Я не пожалел бы тысячи долларов, чтобы упрятать вас в тюрьму!—воскликнул он.—И готов заплатить пятьдесят долларов за каждую вашу голову тому, кто уличит и схватит вас обоих!

Со всех лодок раздались взрывы смеха, так как другие пираты прислушивались к разговору.

— Ну, устрицы стоят подороже,—язвительно заметил Дельфин.

Мистер Тафт нетерпеливо повернулся и отошел. Чарли незаметно проследил, куда он пошел, и через несколько минут, когда мистер Тафт скрылся за углом, Чарли лениво поднялся и медленно двинулся. Я последовал за ним, и мы побрели в противоположную сторону.

— Ну, теперь скорее идем,—прошептал Чарли, когда мы скрылись из глаз устричной флотилии.

Мы немедленно переменили направление и помчались, кружа по боковым улицам, вдогонку за мистером Тафтом, пока не увидели впереди тучную фигуру.

— С ним нужно переговорить насчет вознаграждения,—объяснял Чарли, пока мы догоняли владельца устричных отмелей.—Нейль задержится здесь не меньше недели, и мы могли бы за это время заработать кое-что. Как ты скажешь?

— Хорошо, очень хорошо,—сказал мистер Тафт, когда Чарли представился и объяснил ему свой план.—Эти грабители ежегодно обкрадывают меня на тысячи долларов, и я готов заплатить какую угодно цену, лишь бы избавиться от них; да, сэр, какую угодно. Как я сказал, я дам вам по пятидесяти долларов за каждого и буду считать, что и это еще дешево. Они ограбили мои отмели, сорвали значки, терроризировали моих сторожей, а в прошлом году убили одного из них. Доказать это я не мог. Улик против них не было. Все было сделано темной ночью. Сыщики ничего не нашли. Никто не может ничего поделать с этими людьми; нам ни разу не удалось задержать хоть одного из них. И я говорю теперь, мистер—как, вы сказали, ваша фамилия?

— Легрант,—ответил Чарли.

— Так вот, я и говорю, мистер Легрант, я очень буду обязан вам за помощь, которую вы мне предлагаете. И буду рад, очень рад всячески содействовать вам. Мои сторожа и лодка в вашем распоряжении. Вы можете всегда найти меня в Сан-Франциско в моей конторе или протелефонировать туда за мой счет. Я вообще покрою ваши издержки, если, разумеется, они будут потребны и необходимы. Положение стало отчаянным, необходимо принять решительные меры и выяснить, наконец, кому принадлежат устричные отмели—мне или этой шайке разбойников?

— Теперь отправимся к Нейлю,—сказал Чарли, когда мы проводили мистера Тафта на поезд в Сан-Франциско.

Нейль Партингтон не только ничего не стал возражать против этого предприятия, но, напротив, выразил готовность помочь нам.

Ни я, ни Чарли ничего не знали об устричном промысле, а голова Нейля была настоящей энциклопедией по этой части. Он повел нас к одному греку, юноше лет семнадцати или восемнадцати, который досконально знал приемы устричных пиратов.

Считаю нужным пояснить, что мы с Чарли были в патруле на положении добровольцев, тогда как Нейль Партингтон считался штатным патрульным и получал определенное жалованье. Чарли и я были как бы его сверхштатными помощниками и получали только то, что зарабатывали, то-есть известный процент со штрафов, налагавшихся на уличенных нами нарушителей законов о рыбной ловле. Таким образом, мы считали, что имеем право на всякое случайно подвернувшееся вознаграждение. Мы предложили Партингтону поделиться с ним тем, что получим от мистера Тафта, но патрульный и слышать не хотел об этом. Он заявил, что очень рад оказать услугу людям, которые хорошо и много помогали ему.

Устроив нечто вроде военного совета, мы выработали следующий план действий.

Нас почти никто не знал в Нижней бухте; но «Северный Олень» был всем известен, как патрульное судно, и мы решили поэтому, что я вместе с молодым греком Николаем отправлюсь на какой-нибудь невинного вида суденышке к острову Аспарагусу и присоединюсь к флотилии устричных пиратов. Там, судя по описанию Николая, мы легко могли накрыть пиратов во время поимки устриц и арестовать их. Чарли же должен был остаться на берегу со сторожами мистера Тафта и нарядом полицейских, чтобы в нужную минуту притти нам на помощь.

— Я знаю, где есть подходящая лодка,—сказал Нейль в конце нашего совещания.—Старый, негодный шлюп, он стоит теперь в Тибурне. Вы с Николаем можете переправиться туда на пароме, нанять его за какие-нибудь гроши и плыть прямо к отмелям.

— Желаю вам успеха,—сказал он через два дня, прощаясь с нами.—Помните только—это опасные люди, будьте осторожны.

Мы заарендовали шлюп очень дешево. Он оказался еще невзрачнее и хуже, чем нам его описывали. Это было большое плоскодонное судно с четырехугольной кормой, оснащенное, как шлюп, с треснувшей мачтой, никуда негодным такелажем [1]) и ржавым приводом; оно было очень неповоротливо и плохо слушалось руля; от него отвратительно пахло угольной смолой, так как все оно было вымазано этим вонючим составом от носа до кормы и от крыши каюты до киля. Во всю длину каждого борта тянулась большими буквами надпись «Угольная смола Мэгги». Наш переход от

[1]) Такелаж—вся корабельная оснастка.

Тибурона до Аспарагуса был спокоен и очень забавен. Мы все время смеялись.

К острову подошли на следующий день. Флотилия устричных пиратов—около дюжины судов—стояла на якоре у так называемых Заброшенных отмелей. «Угольная смола Мэгги», подгоняемая легким ветерком, медленно вошла в средину флотилии, и все пираты высыпали на палубу, чтобы посмотреть на нас. Мы с Николаем, хорошо ознакомившись за время путешествия с нашим ветхим корветом [1]), управляли им самым неуклюжим образом.

— Что это такое?—спросил кто-то из пиратов.

— А попробуй-ка, угадай, ну, как ты думаешь, назови-ка, если можешь,—отозвался другой.

— Будь я проклят, если это не сам Ноев ковчег!—воскликнул Осьминог с палубы «Призрака».

— Эй, кто у вас капитан?—крикнул другой шутник.—Откуда вы, из какого порта?

Мы не обращали внимания на шутки и продолжали править с ловкостью самых зеленых новичков, притворяясь, что «Угольная смола Мэгги» требует всего нашего внимания. Я повернул ее к ветру и поставил повыше «Призрака», а Николай побежал вперед, чтобы спустить якорь. Он сделал это, так должно было казаться, очень неумело, потому что цепь запуталась, и якорь не достал до дна.

Мы с Николаем изобразили ужасное волнение, стараясь распутать цепь. Мы обманули ловко пиратов, и они принялись издеваться над нашей неловкостью.

Цепь не желала распутываться, и мы, осыпаемые насмешками и всевозможными язвительными советами, стали дрейфовать, пока не наскочили на «Призрак»; его бушприт проткнул наш грот, оставив в нем дыру величиной с ворота. Осьминог и Дельфин корчились от смеха, нисколько не намереваясь оказать нам помощь в беде. После долгих усилий нам, наконец, удалось распутать якорную цепь, и мы отдали около трехсот футов ее. Под нами было не больше десяти футов глубины, и длина каната давала «Угольной смоле Мэгги» возможность передвигаться по кругу в шестьсот футов в диаметре; в этом кругу она могла притти в соприкосновение по меньшей мере с половиной флотилии.

Устричные пираты стояли близко друг от друга на коротких канатах, так как погода была тихая. Они громко запротестовали, видя, что мы выбросили длинную якорную цепь по нашему невежеству. И они заставили нас подобрать цепь и выбросить только тридцать футов ее.

---

[1]) Корвет—старинное военное трехмачтовое судно.

Таким образом, убедив их в своей глупости и неловкости, мы спустились вниз, чтобы поздравить друг друга и приготовить ужин. Только-что мы окончили нашу еду и принялись мыть посуду, как к борту «Угольной смолы Мэгги» подошел ялик, и на палубе раздались тяжелые шаги. Затем в двери показалось грубое лицо Осьминога, и он вошел в каюту в сопровождении Дельфина. Не успели они сесть, к борту подошел другой ялик, а за ним еще и еще, пока, наконец, в нашей каюте не собрались представители всей флотилии.

— Где это вы стянули такую старую посудину?—спросил приземистый волосатый человек с острыми, злыми глазами, с резкими чертами мексиканца.

— Мы ее не стянули,—ответил Николай, стараясь своим ленивым возражением укрепить предположение, что мы действительно украли «Угольную смолу Мэгги».—А если бы стянули, что из того?

— Мне-то все равно, я не восхищаюсь вашим вкусом—вот и все,—насмешливо ответил мексиканец.—Я лучше сгнил бы на берегу, чем взял такую лохань. Ее, верно, и не повернешь никак.

— А как нам было знать это, покуда мы ее не испробовали?— спросил Николай так невинно, что это вызвало новый взрыв смеха.— А как вы ловите устриц?—поспешно спросил он.—Нам их нужно много; для них-то мы и забрались сюда.

— А на что они вам?—спросил Дельфин.

— На то, чтобы приятелям раздавать, разумеется,—ехидно ответил Николай,—ведь и вы так делаете, конечно.

Новый взрыв смеха. Наши гости становились все веселее, а мы все больше убеждались, что у них нет ни малейшего подозрения относительно нас и наших намерений.

— Не тебя ли я видел в Оклэндских доках?—спросил меня вдруг Осьминог.

— Да,—смело ответил я, решив итти напролом.—Я тогда сидел, смотрел на вас и соображал, стоит нам заняться устрицами или нет. И решил, что это выгодное дело. Вот мы и явились сюда. Конечно,—поспешно добавил я,—если вы не возражаете.

— Я скажу вам одно,—ответил Осьминог,—придется вам раздобыть себе судно получше этого. Мы не желаем срамиться с таким ящиком. Поняли?

— Понял,—ответил я.—Как только продадим устрицы, сейчас же найдем другое суденышко.

— А если вы окажетесь подходящими товарищами,—продолжал он,—что ж, работайте с нами. Но если нет (в голосе его послышалась угроза), ну, тогда придется вам пережить плохие деньки. Поняли?

— Конечно,—ответил я.

После таких советов и предупреждений разговор сделался общим, и мы узнали, что в эту же ночь предполагается совершить набег на отмели. Гости просидели у нас около часа, и когда садились в лодки, предложили нам принять участие в набеге, так как «чем больше народа, тем веселее».

— Заметил ты этого низенького малого, что похож на мексиканца?—спросил Николай, когда они отчалили.—Это Барки из «Спортивной банды», а тот, который приплыл к его лодке,—Спиллинг. Они оба выпущены из тюрьмы под залог в пять тысяч долларов.

Я много слышал о «Спортивной банде». Это был отряд хулиганов и преступников, которые терроризовали нижние кварталы Оклэнда. Две трети этой шайки постоянно пребывали в государственных тюрьмах за разные преступления, начиная с лжесвидетельства и мошенничества при выборах и кончая убийством.

— Они не всегда занимаются устричной ловлей,—продолжал Николай.—Они торчат здесь, чтобы поозорничать, да, кстати, подработать пока несколько долларов. Нам нужно следить за ними.

Мы сидели в кубрике, обсуждая подробности нашего плана, как вдруг около одиннадцати часов со стороны «Призрака» до нас донесся шум весел. Мы подтянули наш ялик, бросили в него несколько мешков и направились к «Призраку». Все ялики находились в сборе, так как решено было сделать набег сообща.

Я был очен удивлен, увидев, что глубина воды едва достигала одного фута, а когда мы бросали якорь в этом месте, было не менее десяти футов глубины. Это был большой июньский отлив во время полнолуния, и так как он должен был продолжаться еще полтора часа, то можно было ожидать, что место, где мы стояли на якоре, под конец совсем высохнет.

Отмели мистера Тафта находились в трех милях от места нашей стоянки, и мы долго гребли в полном молчании вслед за другими лодками. Время от времени наша лодка садилась на мель, весла почти непрестанно задевали дно. Наконец, мы вошли в полосу мягкой тины, которую вода покрывала на каких-нибудь два дюйма. Дальше лодки не могли итти. Пираты выскочили и потащили волоком свои плоскодонные ялики. Мы двинулись вслед за ними.

Круглая луна временами скрывалась за быстро бегущими облаками, но наши спутники двигались с уверенностью, выработанной долгой практикой. Полоса тины тянулась приблизительно с полмили, затем мы вошли в глубокий канал и снова сели в лодки. По обеим сторонам пролива тянулись отмели; на них виднелись груды мертвых устриц. Наконец мы достигли места, где собирали устриц. Два сторожа на одной из отмелей окликнули нас и приказали нам удалиться. Но Осьминог, Дельфин, Барки и Спиллинг все же

двинулись вперед, за ними последовали все остальные, и, таким образом, тридцать человек, занимавших по меньшей мере пятнадцать лодок, стали грести прямо на сторожей.

— Эй, убирайтесь-ка лучше отсюда,—угрожающе крикнул Барки,—или мы понаделаем столько дыр в ваших лодках, что они и в патоке потонут.

Сторожа отступили перед такой бандой и направились по каналу к берегу. Ничего другого от них и не требовалось.

Мы вытащили лодки на край большой отмели, рассыпались во все стороны и стали собирать устриц в мешки. Луна по временам выходила из-за облаков, и тогда мы совершенно ясно видели перед собой множество больших устриц.

Когда мешки наполнялись, их относили в лодки и брали оттуда другие. Мы с Николаем часто в тревоге возвращались к лодке с полупустыми мешками, но всегда натыкались на какого-нибудь пирата, который относил полный мешок или возвращался с пустым.

— Не беспокойтесь,—сказал Николай,—торопиться нечего. Они будут уходить все дальше и дальше; им скоро потребуется очень много времени, чтобы доносить мешки до лодок. Тогда они начнут ставить наполненные мешки стоймя на краю отмелей, чтобы собрать их во время прилива, когда можно будет подойти на яликах.

Прошло полчаса, и прилив уже начинался, когда вдруг произошло следующее. Оставив пиратов за работой, мы украдкой вернулись к лодкам; одну за другой мы бесшумно оттолкнули их от берега и связали все вместе в одну нескладную флотилию. Как раз, когда мы сталкивали последнюю лодку, нашу собственную, подошел один из хищников. Это был Барки. Он моментально сообразил, в чем дело, и кинулся на нас; но мы сильно оттолкнулись, и он очутился в воде, которая покрыла его с головой. Выбравшись снова на отмель, он тотчас же поднял крик, предупреждая товарищей об опасности.

Мы гребли изо всех сил, но флотилия, которую мы тащили за собой, сильно замедляла движение. С отмели донесся револьверный выстрел, за ним второй и третий; затем начался правильный обстрел. Пули шлепались вокруг нас. Но густые облака закрыли луну, и в наступившей темноте стрельба продолжалась уже наугад. В нас могли попасть только случайно.

— Хорошо бы теперь очутиться на паровом катере,—сказал я.

— А еще бы лучше, если бы луна больше не показывалась,—ответил мне, задыхаясь, Николай.

Это была трудная и медлительная работа, но каждый взмах весел отдалял нас от отмели и приближал к берегу, пока, наконец, стрельба не замерла вдали. И когда луна выплыла снова, мы были вне опасности. Нас окликнули с берега, и две полицейских лодки

с тремя гребцами в каждой подошли к нам. Чарли улыбался нам; он пожимал нам руки, восклицая:

— Вот так молодцы! Молодцы оба!

Когда флотилия причалила к берегу, мы с Николаем и одним из сторожей пересели на весла в одну из полицейских лодок, а Чарли стал у руля. Две других лодки следовали за нами, и так как луна светила теперь очень ярко, то мы легко разыскали пиратов на отмелях. Как только мы приблизились, они открыли стрельбу из своих револьверов, и мы быстро отступили.

— У нас много времени,—сказал Чарли.—Вода быстро прибывает, и когда она дойдет им до шеи, им не захочется стрелять больше.

Мы сидели на веслах, ожидая, чтобы прилив сделал свое дело. После большого отлива вода стремительно бежала обратно, и самый лучший пловец не одолел бы против течения трех миль, которые отделяли пиратов от их шлюпок, а между ними и берегом были мы, преграждая бегство в этом направлении. Вода быстро заливала отмели и через несколько часов должна была покрыть с головой всех оставшихся на отмелях. Ночь была поразительно тихая, и луна светила ровным светом. Мы наблюдали за пиратами в бинокль и рассказывали Чарли о нашем плавании на «Угольной смоле Мэгги». Наступил час, затем два часа ночи, пираты столпились на самой высокой отмели, стоя по пояс в воде.

— Вот доказательство, как важна сообразительность,—говорил Чарли.—Тафт целые годы старался поймать пиратов, но он шел на них открыто, грубой силой, и терпел неудачу. А вот мы—поломали головы...

В эту минуту я различил едва слышный плеск воды и поднял руку в знак молчания. Обернувшись, я указал товарищам на круги, медленно расходившиеся по воде футах в пятидесяти от нас. Мы ждали, затаив дыхание. Через минуту вода в шести футах от нас расступилась, и на поверхности в лунном свете показались черная голова и белое плечо. Послышался звук, как будто человек не то фыркнул от удивления, не то просто с шумом выпустил дыхание; затем голова и плечо скрылись.

— Это Дельфин,—сказал Николай.—Его и днем-то не поймаешь.

Около трех часов пираты подали первые признаки своей слабости. Мы услышали крик о помощи и безошибочно узнали голос Осьминога. На этот раз, когда мы приблизились, мы уже не были обстреляны. Осьминог, действительно, находился в опасном положении. Над водой поднимались головы и плечи его товарищей-пиратов, которые связались вместе, чтобы лучше устоять против течения, но ноги Осьминога не доставали до дна, так что товарищи должны были поддерживать его над водой.

— Ну, ребята,—весело сказал Чарли.—Теперь мы держим вас, уйти вам некуда. Если вы будете сопротивляться, мы вас оставим здесь, и скоро вам будет каюк. Но если вы будете вести себя хорошо, мы переведем вас поодиночке на борт и спасем всех. Что вы на это скажете?

— Скажем «да»,—ответили они хором, выбивая зубами мелкую дробь.

— Подходите поодиночке; первым пусть идет самый малорослый.

Первым попал на борт Осьминог, и он полез в лодку очень охотно, хотя счел нужным запротестовать, когда констэбль надел на него наручники. Вслед за ним подняли Барки, совершенно размякшего и смирившегося после долгого сидения в воде. Когда в нашу лодку набралось десять человек, мы отошли, и вслед за нами стала нагружаться вторая лодка. Третьей лодке досталось девять пленников. Оказалось, что мы захватили двадцать девять пиратов.

— А Дельфина-то не поймали,—сказал Осьминог с торжеством, словно побег его товарища уменьшал цену нашей победы.

Чарли рассмеялся.

— Да, не поймали, но видели, как он фыркал и пыхтел точно свинья, когда плыл к берегу.

Мы привели в устричный домик смиренную и дрожащую от холода банду хищников. На стук Чарли дверь распахнулась, и нас обдало приятной волной теплого воздуха.

— Вы можете здесь высушить свое платье и напиться горячего кофе,—сказал Чарли, когда все пираты вошли в дом.

А там у огня уже сидел Дельфин с кружкой дымящегося кофе в руках. Мы с Николаем одновременно посмотрели на Чарли. Он расхохотался.

— Тоже помогла хитрость,—сказал он,—хитрость и сообразительность. Уж если ты взялся что-нибудь разглядывать, так разгляди со всех сторон, а то и смотреть не стоит. Я осмотрел берег и оставил там двух констэблей. Вот и вся штука.

ОСАДА «ЛАНКАШИРСКОЙ КОРОЛЕВЫ»

Возможно, что самым отчаянным приключением за все время нашей службы в рыбачьем патруле была та осада большого четырехмачтового судна, которую я и Чарли Легрант вели в течение двух недель.

Дело это представляло нелегкую задачу: только по счастливой случайности удалось нам найти способ ее решить, приведя дело к счастливому концу.

После набега на устричных пиратов мы вернулись в Оклэнд. Прошло еще две недели, прежде чем жена Нейля Партингтона оказалась вне опасности и начала выздоравливать. Таким образом, мы только после месячного отсутствия повернули нос «Северного Оленя» к Бениции. Когда кошка отлучается, мыши решаются пошаливать; за четыре недели нашего отсутствия рыбаки привыкли с особенной дерзостью нарушать законы о рыбной ловле. Обогнув мыс Педро, мы заметили, что ловцы креветок работают усердно, а войдя в залив Сан-Пабло, увидели в Верхней бухте широко раскинувшуюся флотилию рыбачьих лодок. Рыбаки, завидев нас, стали торопливо вытаскивать сети и поднимать паруса.

Это одно уже было подозрительно, и мы тотчас же пустились вслед за ними. Действительно, на первой и единственной лодке, которую нам удалось поймать, мы нашли незаконную сеть. По закону в сетях для ловли сельдей расстояние между петлями должно быть не меньше семи с половиной дюймов от узла до узла, а в захваченной нами сети расстояние между петлями было не больше трех дюймов. Это было явное нарушение закона, и мы задержали обоих рыбаков. Одного Нейль Партингтон взял с собой, чтобы тот помогал ему управлять «Северным Оленем», а ко второму рыбаку мы с Чарли перешли в захваченную лодку.

Флотилия мчалась на всех парусах к Петалумскому берегу, и за весь остальной путь по заливу Сан-Пабло мы не встретили ни одного рыбака. Наш пленник—бронзовый от загара бородатый грек—мрачно сидел на своей сети, в то время как мы правили его судном. Это была новая лодка с реки Колумбии для ловли лососей; она, повидимому, совершала свой первый рейс и шла великолепно.

Чарли похвалил судно, но наш пленник продолжал угрюмо молчать, делая вид, что не обращает на нас никакого внимания, и мы вскоре пришли к заключению, что это на редкость необщительный малый.

Мы прошли Каркинезский пролив и зашли в бухту у Тернеровской верфи, где вода была значительно спокойнее. Там стояло несколько английских парусных судов, ожидавших груза пшеницы, и там же, на том самом месте, где был захвачен Большой Алек, мы неожиданно наткнулись на ялик с двумя итальянцами; у них оказалась вполне оборудованная «китайская леса» для ловли осетров. Это явилось полной неожиданностью как для нас, так и для них; мы налетели на их ялик прежде, чем они успели что-нибудь сообразить. Чарли едва успел во-время привести лодку к ветру, чтобы подойти к ним. Я же побежал на нос, бросил им конец и приказал закрепить его.

Чарли пошел вперед, чтобы перевести добычу в нашу лодку, но когда я начал подтягивать ялик к борту, итальянцы отпустили конец. Нас тотчас же стало относить, между тем как они, схватившись за две пары весел, погнали свое легкое суденышко против ветра. Этот маневр привел нас в некоторое замешательство: мы не могли рассчитывать догнать их на своей тяжелой и сильно нагруженной лодке. Но тут неожиданную помощь оказал наш пленник. Его черные глаза вдруг засверкали, а лицо загорелось от сдерживаемого возбуждения; он одним прыжком очутился на носу и поставил парус.

— Я слышал, что греки ненавидят итальянцев,—смеясь, сказал Чарли, направляясь к рулю.

Никогда в жизни мне не приходилось видеть, чтобы один человек так страстно желал поймать другого, как это было с нашим пленником во время погони за яликом итальянцев. Глаза его метали искры, ноздри трепетали и расширялись. Чарли правил рулем, а он парусом; и хотя Чарли был проворен и ловок как кошка, грек едва сдерживал свое нетерпение.

Итальянцы были отрезаны от берега; ближайшее расстояние до него равнялось доброй миле. Если бы итальянцы попытались направиться к берегу, то мы, идя под полным ветром, догнали бы их прежде, чем они успели бы пройти одну восьмую этого расстояния. Но они были слишком умны, чтобы сделать подобную попытку, и продолжали грести изо всех сил против ветра вдоль правого борта большого корабля «Ланкаширская Королева». За судном находилась открытая полоса воды, отделенная от берега двумя милями; туда они также не решались войти, потому что мы нагнали бы их прежде, чем они прошли бы это расстояние. Поэтому, когда они

очутились у носа «Ланкаширской Королевы», им оставалось только обойти ее и пойти вдоль другой стороны судна к корме, что опять-таки значило пойти по ветру и дать нам таким образом преимущество.

Мы же на своей лодке для ловли лососей, держа круто к ветру, повернули оверштаг [1]) и срезали нос кораблю. Затем Чарли повернул руль и направил нашу лодку вдоль левого борта корабля, а грек, распустив шкот, осклабился от удовольствия. Итальянцы успели пройти половину длины корабля; но сильный ветер подгонял нас сзади гораздо быстрее, чем они могли двигаться на веслах. Мы настигали их, и я, лежа на носу, уже готовился схватить ялик, как вдруг он совершенно неожиданно юркнул под огромную корму «Ланкаширской Королевы».

Погоня вернулась к своему началу. Итальянцы гребли вдоль правого борта корабля, а мы медленно продвигались вслед за ними, борясь против ветра. Затем они снова обогнули нос и начали грести вдоль левого борта, а мы перешли на другой галс, срезали нос и погнались за ними по ветру. И снова, как только я нацелился, чтобы зацепить ялик, он увернулся под корму судна и таким образом опять очутился вне опасности. Мы продолжали делать круг за кругом, и каждый раз ялик в последнюю минуту спасался, исчезая за кормой.

Судовая команда заметила, что происходит что-то необыкновенное, и мы увидели над собой целый ряд голов, смотревших через борт на наше состязание. Всякий раз, как ялик ускользал от нас под корму, они издавали радостные крики одобрения и перебегали на другую сторону «Ланкаширской Королевы», чтобы следить, как будет итти погоня против ветра. Они осыпали нас и итальянцев шутками и советами и так разозлили нашего грека, что он каждый раз, проходя мимо, поднимал кулак и яростно грозил команде. Они приветствовали его жест шумным весельем.

— Точно цирк!—воскликнул кто-то.

— А еще спорят о морских ипподромах; хотел бы я знать, чем это не ипподром,—подтвердил другой.

— Шестидневные бега! Пожалуйте!—объявил третий.—Кто держит пари за итальянцев?

На следующем галсе против ветра грек предложил Чарли поменяться местами.

— Пустите меня править лодкой,—попросил он,—я догоню их, поймаю их, даю слово!

---

[1]) Оверштаг—морской термин,—поворот корабля против ветра.

Это был удар профессиональной чести Чарли, так как он очень гордился уменьем управлять парусной лодкой; он все же передал руль пленнику и занял его место у паруса. Мы сделали еще три круга, и грек убедился, что не может достигнуть на этом судне большей скорости, чем Чарли.

— Бросьте-ка лучше это дело,—посоветовал сверху один из матросов.

Грек свирепо нахмурил брови и по обыкновению погрозил кулаком. Тем временем умишко мой тоже не оставался праздным, и я в конце концов выработал свой план.

— Сделаем еще один круг, Чарли,—сказал я.

И когда мы снова пошли против ветра, я прикрепил к канату небольшой крюк—кошку, как его называют матросы. Другой конец каната я привязал к концу на носу и, устроив кошку так, что ее не было видно, стал ждать удобного случая, чтобы воспользоваться ею. Еще раз пошли они вдоль левого борта «Ланкаширской Королевы», и мы погнались за ними, подгоняемые ветром. Мы все больше нагоняли ялик, и я притворился, что хочу поймать его так же, как раньше. Корма ялика была меньше чем в шести футах от нас, и итальянцы вызывающе смеялись, собираясь снова юркнуть под корму корабля. Но в эту минуту я неожиданно выпрямился и бросил крюк. Он вцепился в борт ялика, канат натянулся, и наше судно приблизилось.

Наверху среди столпившихся моряков раздались возгласы сожаления, которые сменились ликованием, когда один из итальянцев, вынув длинный складной нож, перерезал канат. Но мы уже успели оттянуть их с безопасного места. Чарли перегнулся и ухватил ялик за корму. Все это произошло в одну секунду: в тот момент, когда первый итальянец перерезал веревку, а Чарли уцепился за корму, второй итальянец ударил Чарли веслом по голове. Чарли выпустил ялик и без чувств упал на дно лодки, оглушенный ударом. А итальянцы налегли на весла и снова ускользнули под корму судна.

Грек стал у руля и, управляя в то же время парусом, пустился в погоню за итальянцами вокруг «Ланкаширской Королевы», а я занялся Чарли, на голове которого быстро вырастала огромная шишка. Наши зрители—матросы—были в диком восторге, и все, как один человек, приветствовали удиравших итальянцев. Чарли сел, держась одной рукой за голову и тупо оглядываясь кругом.

— Ну, теперь уж им не уйти,—сказал он, вытаскивая свой револьвер.

Когда мы делали следующий круг, он пригрозил итальянцам оружием, но они упорно продолжали грести, не обращая на угрозу никакого внимания.

— Остановитесь, или я буду стрелять!—угрожающе крикнул Чарли.

Но и это не произвело никакого впечатления. Итальянцы не испугались и тогда, когда Чарли дал несколько выстрелов, едва не задев их. Но, разумеется, нельзя было думать, что он станет убивать безоружных людей; итальянцы знали это так же хорошо, как и мы. Поэтому они продолжали упрямо снова и снова уходить от нас и кружиться вокруг судна.

— Хорошо же, мы закрутим их!—воскликнул Чарли.—Посмотрим, надолго ли у них хватит сил.

Охота продолжалась. Раз двадцать обогнули мы «Ланкаширскую Королеву» и, наконец, заметили, что даже железные мускулы итальянцев начинают уставать. Вопрос был в нескольких кругах, как вдруг игра приняла новый оборот. Пока погоня шла против ветра, итальянцам удавалось обычно выиграть большое расстояние у нас, так что ялик, обыкновенно, находился уже у середины подвертреного борта, когда мы огибали нос судна. Но в этот последний раз, огибая нос, мы увидели, что итальянцы быстро поднимаются по трапу, который им мгновенно спустили с судна. Это было организовано матросами, очевидно, с согласия капитана. Когда мы подошли к тому месту, где итальянцы были взяты на борт, трап был уже поднят, а ялик качался на судовых баканцах [1]) и был для нас недосягаем.

Разговор, который произошел с капитаном, был короток и резок. Капитан категорически запретил нам взойти на борт «Ланкаширской Королевы» и отказался выдать двух рыбаков. К этому времени Чарли так же разъярился, как и наш грек. Он не только испытал в этой долгой и смешной погоне полный провал, но вдобавок еще был побит до потери сознания людьми, которые улизнули от него.

— Голову свою даю на отсечение,—горячо заявил он, всаживая кулак одной руки в ладонь другой,—что этим парням не удастся ускользнуть от меня! Я останусь стеречь их здесь, хотя бы мне пришлось прождать их до конца положенного мне естественного срока моей жизни, а если не поймаю, то обещаю прожить неестественно долго, пока не сцапаю их, не будь я Чарли Леграпт!

Затем началась осада «Ланкаширской Королевы», осада, памятная в анналах рыбаков и рыбачьего патруля.

Когда «Северный Олень», отказавшись от бесплодного преследования рыбачьей флотилии, подошел к нам, Чарли поручил Партингтону прислать его собственную лодку с одеялами, провизией и рыбачьей угольной печкой. На закате мы обменялись лодками и распрощались с нашим греком; он должен был отправиться в Беницию и

---

[1]) Баканцы—места на судне для закрепления шлюпок.

сесть в тюрьму за собственный проступок: за незаконную рыбную ловлю. После ужина мы с Чарли распределили свои дежурства—по четыре часа до рассвета. В эту ночь рыбаки не делали попыток к бегству, хотя с «Ланкаширской Королевы» была спущена шлюпка—повидимому, для разведок.

На следующий день мы увидели, что нам придется вести правильную осаду, и усовершенствовали наши планы, принимая во внимание свое удобное положение. Док вблизи Бениции, известный под именем Соланской пристани, сослужил нам хорошую службу. Оказалось, что «Ланкаширская Королева», берег Тернеровской верфи и Соланская пристань занимают вершины трех углов большого равностороннего треугольника. Расстояние от «Ланкаширской Королевы» до берега, т.-е. сторона, по которой только и могли бежать итальянцы, равнялась стороне треугольника от Соланской пристани до берега, и это расстояние нам нужно было пройти скорее итальянцев и достигнуть берега раньше их. Но так как мы на парусах двигались значительно быстрее, чем они на веслах, то мы могли позволить им пройти половину их стороны треугольника прежде, чем погнаться за ними. Если бы мы дали им пройти больше половины этого расстояния, то они достигли бы берега раньше нас; а если бы мы тронулись в путь прежде, чем итальянцы дошли до середины этой линии, то они успели бы спастись назад на судно.

Мы определили, что воображаемая линия, проведенная от конца пристани до ветряной мельницы на берегу, перерезает как раз пополам ту сторону треугольника, по которой должны были бежать на берег итальянцы. Эта линия давала нам возможность определить, до какого пункта мы могли позволить доплыть нашим итальянцам прежде, чем начать преследовать их. День за днем мы следили в бинокль, как они не спеша гребли по направлению к пункту на полпути, и когда они становились на одну линию с мельницей, мы тотчас же бросались в лодку и наставляли паруса. При виде наших приготовлений они поворачивали и медленно плыли назад к «Ланкаширской Королеве», зная, что мы не могли догнать их.

Чтобы обеспечить себя на случай штиля, когда наше парусное судно было бы бесполезно, мы держали наготове легкий ялик с веслами. Но в те дни, когда наступал штиль, мы должны были отчаливать в то же мгновение, как отчаливали итальянцы. Ночью необходимо было стоять вблизи «Ланкаширской Королевы» и неотступно следить за итальянцами, что мы и делали с Чарли. Однако, итальянцы предпочитали, видимо, для своих вылазок дневное время, и наши ночные бдения были напрасны.

— Меня больше всего бесит,—говорил Чарли,—что мы не можем честно отдохнуть в своих постелях, а эти плуты и мошенники

спокойно спят по ночам. Но они мне заплатят за это,—угрожал он.—Я продержу их на этом судне, пока капитан не потребует с них за стол и помещение. Это так же верно, как то, что осетр не треска.

Мы терзались над разрешением задачи. Пока мы бодрствовали, итальянцы не могли убежать, но, с другой стороны, мы не могли поймать их, пока они были осторожны. Чарли непрерывно ломал себе голову над этим, но сообразительность на этот раз изменила ему. Задача могла быть, повидимому, решена только терпением. Это была игра в ожидание: кто сумеет дольше ждать, тот и выиграет. Прибавилась к тому еще одна причина для усиления нашего бешенства: мы увидели, что друзья наших итальянцев установили целую сигнализацию, при помощи которой они переговаривались с ними с берега. Таким образом мы ни на минуту не могли ослабить осаду. Кроме того, вокруг Соланской пристани всегда разгуливали два-три подозрительных рыбака, следивших за всем, что мы делали. Нам не оставалось ничего иного, как «сжать зубы и терпеть», как сказал Чарли, а между тем осада эта отнимала у нас время и не давала возможности заняться чем-нибудь другим.

Дни шли, а положение не менялось, хотя итальянцы и делали попытки изменить его. Раз ночью их друзья отчалили от берега в ялике, пытаясь обмануть нас и дать возможность своим приятелям спастись. Их план не удался потому, что баканцы «Ланкаширской Королевы» были плохо смазаны. Услыхав скрип баканцев, мы перестали преследовать чужую лодку и пошли к «Ланкаширской Королеве» как раз в тот момент, когда итальянцы спускали ялик. В другой раз, тоже ночью, штук шесть яликов сновали вокруг нас в темноте, но мы на своей лодке, точно пьявки, держались у борта «Ланкаширской Королевы» и расстроили их план; они разозлились и стали осыпать нас бранью. Чарли тихо смеялся, сидя на дне лодки.

— Это хороший знак,—сказал он мне.—Когда люди начинают браниться,—значит, они теряют терпение. А как только они потеряют терпение, они потеряют и голову. Запомни мои слова! Если мы сумеем проявить выдержку, то они в один прекрасный день перестанут быть осторожными, и мы словим их.

Но они не перестали быть осторожными, и Чарли должен был признать, что это один из тех случаев, когда все приметы врут. Их терпение, казалось, было равно нашему; вторая неделя осады тянулась так же медленно и однообразно, как и первая. Однако, утомленное воображение Чарли снова оживилось, и он выдумал новую хитрость. В Беницию приехал новый патрульный—Питер Бойлен, которого не знал никто из рыбаков, и мы втянули его в наш план. Мы держали это по возможности в тайне, но каким-то непостижимым

путем друзья с берега предупредили осажденных итальянцев, чтобы те были настороже.

В ту ночь, когда мы решили выполнить нашу хитрость, Чарли и я заняли свой обычный пост в ялике у борта «Ланкаширской Королевы». При наступлении темноты Питер Бойлен вышел в море на ветхой утлой лодочке, одной из тех, которые можно поднять и унести одной рукой. Когда мы услышали, что он плывет, шумно ударяя веслами по воде, мы отошли на некоторое расстояние и подняли весла. Поравнявшись с трапом, Питер весело окликнул якорного вахтенного «Ланкаширской Королевы» и спросил его, где стоит «Шотландский Вождь», другое судно с грузом пшеницы. И вдруг лодка опрокинулась, и он очутился в воде. Вахтенный сбежал по трапу и вытащил Питера из воды. Ему это и нужно было—попасть на борт судна; он надеялся, что ему позволят подняться на палубу, а затем разрешат согреться и обсушиться внизу. Но капитан весьма негостеприимно задержал его на нижней ступеньке трапа, где он дрожал и раскачивался, а ноги его болтались в воде. Мы не выдержали, вышли из темноты и взяли его в лодку.

Шутки и насмешки проснувшейся команды прозвучали совсем несладко в наших ушах. Даже оба итальянца, взобравшись на борт, долго и зло высмеивали нас.

— Хорошо,—сказал Чарли таким тихим голосом, что только я расслышал его,—я рад, что мы не смеемся первыми. Мы приберегаем наш смех к концу. Правда, мальчик?

Он похлопал меня по плечу, но мне показалось, что в его голосе больше решимости, чем надежды.

Можно было бы, конечно, обратиться к властям Соединенных Штатов и войти на английское судно по приказу правительства. Но в инструкциях рыболовной комиссии было сказано, что патрульные должны избегать осложнений, а наш случай, если бы мы обратились к высшим властям, мог бы окончиться международным конфликтом.

Вторая неделя осады подходила к концу, а перемен никаких не было. Утром четырнадцатого дня перемена произошла неожиданно для нас и для тех, кого мы хотели поймать; повод к этому был очень странный.

Мы с Чарли плыли к Соланской пристани после обычного ночного бдения у борта «Ланкаширской Королевы».

— Алло!—воскликнул Чарли в изумлении.—Во имя разума и здравого смысла, что это такое? Силы небесные! Видал ты когда-нибудь что-либо подобное?

У него было полное основание удивляться: у пристани стоял баркас самого необычайного вида. Его нельзя было, в сущности, назвать баркасом, но он все же скорее напоминал баркас, чем что-либо

другое. Судно это имело семьдесят футов в длину, но было очень узко и лишено всяких надстроек, отчего и казалось гораздо меньше своей настоящей величины. Баркас этот был весь сделан из стали и выкрашен в черный цвет. Посредине его, несколько отклоняясь к корме, поднимались три трубы на значительном расстоянии друг от друга; нос, длинный и острый, как нож, ясно говорил о том, что судно очень быстроходно. Проходя под кормой, мы прочли написанное мелкими белыми буквами слово «Молния»—название судна.

Чарли хотел немедленно все разузнать, и мы через несколько минут были уже на борту и разговаривали с механиком, который наблюдал с палубы восход солнца. Он охотно удовлетворил наше любопытство, и мы узнали спустя несколько минут, что «Молния» пришла из Сан-Франциско вечером, что это было, так сказать, ее пробное плавание, что яхта принадлежит Сайласу Тэту, молодому угольному калифорнскому миллионеру, у которого была страсть к быстроходным яхтам. Затем разговор коснулся турбины, прямого применения пара, назначения рычагов, кранов. Во всем этом я ровно ничего не понимал, так как был знаком только с парусными судами. Но последние слова механика привлекли мое внимание.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час, хотя вы, может быть, и не поверите этому,—закончил он с гордостью.

— Скажите-ка еще раз!—взволнованно воскликнул Чарли.

— Четыре тысячи лошадиных сил и сорок пять миль в час,—повторил механик, добродушно усмехаясь.

— А где владелец яхты?—было следующим вопросом Чарли.—Могу я переговорить с ним?

Механик покачал головой.

— Боюсь, что нет. Он спит теперь.

В этот момент на палубу вышел молодой человек в синей куртке, прошел на корму и стал смотреть на восход солнца.

— Вот это и есть мистер Тэт,—сказал механик.

Чарли подошел к владельцу яхты и стал что-то с жаром рассказывать молодому человеку; тот с интересом слушал Чарли; мистер Тэт, вероятно, спросил о глубине у берега близ Тернеровской верфи, потому что я видел, как Чарли объяснял ему это жестами. Через несколько минут Чарли вернулся к нам в очень возбужденном настроении.

— Ну, пойдем,—сказал он,—пойдем прямо в доки. Теперь наши разбойники попались.

Хорошо, что мы во-время покинули «Молнию»: вскоре около нее появился один из шпионивших рыбаков. Мы с Чарли заняли наши обычные места на конце пристани, немного впереди «Молнии», над нашей собственной лодкой, откуда мы могли с полным комфортом

наблюдать за «Ланкаширской Королевой». До девяти часов все было спокойно; затем мы увидели, что итальянцы отъехали от парохода и направились по своей стороне треугольника к берегу. Чарли принял равнодушный вид, но прежде чем они покрыли четверть расстояния, он шепнул мне:

— Сорок пять миль в час... Ничто не спасет их... Они наши!

Итальянцы медленно гребли и находились уже почти на одной линии с ветряной мельницей. В этот момент мы всегда вскакивали в нашу лодку и поднимали паруса; итальянцы, ожидавшие этого маневра, были, повидимому, очень удивлены, когда мы не подали и признаков жизни.

Когда они были на одной линии с мельницей, на одинаковом расстоянии от берега и от судна и несколько ближе к берегу, чем мы позволяли это до сих пор, они стали подозревать что-то. Мы наблюдали за ними в бинокль и видели, как они встали в ялике, пытаясь понять, что мы хотим делать. Шпион, сидевший рядом с нами на пристани, тоже был удивлен. Он не понимал нашего поведения. Итальянцы стали грести к берегу, но затем опять остановились и начали внимательно оглядываться. Но какой-то человек на берегу замахал платком в знак того, что на берегу все благополучно. Это заставило итальянцев решиться. Они налегли на весла, но Чарли все еще ждал. Только когда они прошли три четверти пути от «Ланкаширской Королевы» и от берега их отделяла четверть всего расстояния, он хлопнул меня по плечу и крикнул:

— Они наши! Они наши!

Мы пробежали несколько шагов и вскочили на борт «Молнии». В одно мгновение носовые и кормовые концы были отданы, и «Молния» стремительно двинулась вперед. Шпионивший рыбак, которого мы оставили на пристани, вынул револьвер и быстро выстрелил пять раз в воздух. Итальянцы поняли предостережение и начали грести, как сумасшедшие.

Но если они гребли, как сумасшедшие, то как назвать наше движение? Это был настоящий полет. Мы с такой страшной быстротой разрезали воду, что по обе стороны носа яхты вздымались огромные пенящиеся волны, а с кормы нас преследовал огромный вал, готовый, казалось, каждую минуту обрушиться на борт и уничтожить нас. «Молния» вся дрожала, трепетала и гудела, точно живое существо. Ветер, который мы поднимали своим движением, напоминал настоящий ураган—ураган, летевший со скоростью сорока пяти миль в час. Мы не могли устоять против него и едва переводили дыхание, задыхаясь и кашляя. Он относил дым, выходивший из труб, назад под прямым углом к нам. Мы мчались со скоростью экспресса.

— Мы действительно молнией налетели на них,—говорил Чарли, рассказывая об этом приключении.—Это самое точное выражение, какое я могу придумать.

Мне кажется, что не успели мы тронуться в путь, как уже настигли итальянцев. Нам пришлось, конечно, замедлить ход задолго до того, как мы нагнали ялик, но, несмотря на это, мы все же вихрем промчались мимо них и должны были повернуть обратно и описать дугу между ними и берегом. Они продолжали сильно грести, пока не увидели на промчавшейся яхте Чарли и меня. Это отняло у них последнюю энергию. Они сложили свои весла и мрачно позволили арестовать себя.

— Ну, Чарли,—сказал Нейль Партингтон, когда мы рассказывали об этом на пристани,—не вижу я, в чем проявилась на этот раз ваша сообразительность, которой вы хвастаетесь?

Но Чарли был верен своему коньку.

— Сообразительность?—спросил он, указывая на «Молнию».—Посмотрите на яхту. Уж если изобретение такой яхты не сообразительность, то я хотел бы знать, что же такое сообразительность? Конечно,—прибавил он,—сообразительность и воображение в этом случае проявил другой, но все равно действие было то же самое.

УДАР ЧАРЛИ

Может быть, самым смешным событием в нашей работе и в то же время самым опасным подвигом рыбачьего патруля была борьба с двадцатью озлобленными рыбаками, которых нам удалось захватить всех сразу. Это был удачный «удар» Чарли, и для рыбаков он был настоящим Ватерлоо [1]), самым тяжким ударом, какой когда-либо наносил им рыбачий патруль.

Во время так называемого «открытого сезона» рыбакам разрешается ловить лососей сколько им посчастливится и сколько смогут выдержать их лодки, но при одном важном ограничении: им не разрешается ставить сеть от захода солнца в субботу до его восхода в понедельник. Это мудрое постановление рыболовной комиссии объясняется необходимостью дать лососям возможность подняться к верховьям реки, где они мечут икру. И этот закон, за одним только случайным исключением, всегда свято соблюдался греческими рыбаками, занимающимися ловлей лососей для приготовления консервов для рынка.

Однажды в воскресенье утром Чарли сообщили по телефону из Коллинсвиля, что целая компания рыбаков вышла в море с сетями. Мы с Чарли сейчас же прыгнули в нашу лодку и отправились вслед за рыбаками. С легким попутным ветром мы прошли Каркинезский пролив, пересекли Суизинскую бухту, миновали маяк и застали на месте преступления флотилию рыбаков, занятых работой.

Позвольте мне сперва описать способ, которым они работали. Сети, употребляемые для этой цели, носят название жаберных сетей. Это— простые сети с петлями в форме ромба, и расстояние между узлами не должно быть меньше семи с половиной дюймов. В длину они имеют от пятисот до восьмисот футов, тогда как ширина их бывает не больше нескольких футов. Они не прикрепляются к одному месту, а плывут по течению, при чем верхний край поддерживается на воде поплавками, а нижний оттягивается вниз свинцовыми грузилами.

---

1) Ватерлоо—селение в Бельгии, недалеко от Брюсселя, где 15 июля 1815 г. была разгромлена армия Наполеона соединенными силами англичан и пруссаков. Сражением этим завершилась политическая и военная карьера Наполеона. Ватерлоо, в переносном смысле,—полное, решительное поражение.

Такое устройство держит сеть вертикально и преграждает путь всякой крупной рыбе, поднимающейся вверх по реке. Лососи плывут близко к поверхности и попадают головой в петли; однако, пройти сквозь них им мешает ширина тела, а назад они не могут вырваться: их удерживают зацепившиеся за петли жабры. Чтобы поставить такую сеть, нужно не меньше двух человек—один при этом гребет, а другой, стоя на корме, осторожно выбрасывает сеть. Когда она вся уже растянута поперек течения, рыбаки крепко привязывают один конец ее к лодке и плывут по течению, волоча сеть за собой.

Когда мы подошли к флотилии, нарушившей закон, лодки находились на расстоянии двухсот-трехсот ярдов друг от друга, и река, насколько хватал глаз, была сплошь усеяна сетями и рыбачьими лодками. Чарли взглянул на эту картину и сказал:

— Досадно, что у меня не тысяча рук, чтобы схватить их всех разом. Теперь нам удастся изловить только одну лодку, потому что пока мы будем возиться с ней, рыбаки на других лодках вытащут сети и удерут.

Когда мы подошли близко к рыбачьим лодкам, мы не заметили, однако, никаких признаков тревоги или волнения, которые всегда вызывались нашим появлением. Вместо этого каждая лодка спокойно оставалась у своей сети, а рыбаки не обращали ни малейшего внимания на нас.

— Странно,—пробормотал Чарли,—не узнали они нас, что ли?

Я сказал, что это невозможно, и Чарли согласился со мной. Однако, перед нами был большой флот, управлявшийся людьми, которые знали нас очень хорошо, но обращали на нас не больше внимания, чем если бы мы были какой-нибудь нагруженной сеном плоскодонкой или увеселительной яхтой.

Тут, очевидно, что-то скрывалось. Когда мы подошли к ближайшей сети, рыбаки, которым она принадлежала, отвязали от нее свою лодку и медленно поплыли к берегу. Но другие лодки попрежнему не проявляли ни малейших признаков тревоги.

— Странно,—заметил Чарли,—конфискуем, по крайней мере, сеть.

Мы спустили парус, подобрали конец сети и начали втаскивать ее в лодку. В ту же минуту мимо нас просвистела пуля и вдали слабо прозвучал ружейный выстрел. Рыбаки с берега стреляли в нас. Мы продолжали тянуть сеть. Пронеслась вторая пуля—еще ближе. Чарли закрутил конец сети вокруг шпильки и сел. Выстрелы прекратились. Но как только он стал снова тащить сеть, стрельба возобновилась.

— Ничего не поделаешь,—сказал он, выбрасывая конец сети через борт,—вы, ребята, сейчас сильнее нас, и сеть остается за вами.

Мы подплыли к следующей сети; Чарли хотел узнать точно: организованная это демонстрация или проделка одного рыбака. При нашем приближении и эти рыбаки оставили свою сеть и направились к берегу, а первые два вернулись и снова привязали свою лодку к той сети, которую нам пришлось оставить. У второй сети нас опять встретили ружейными выстрелами, которые смолкли лишь тогда, когда мы отступили. Этот маневр повторился и у третьей сети.

Потерпев таким образом полное поражение, мы поплыли обратно в Бенидию. Прошло еще несколько воскресений, и рыбаки продолжали упорно нарушать закон. Мы были совершенно бессильны и не могли помешать им без помощи солдат. Рыбакам понравился их новый способ борьбы, и они пользовались им и нашей беспомощностью.

В это время Нейль Партингтон вернулся из Нижней бухты, где он пробыл несколько недель. С ним был и Николай, молодой грек, помогавший нам при набеге на устричных пиратов; оба они присоединились к нам. Мы тщательно разработали план действий. Было решено, что пока мы с Чарли будем вытаскивать сети, они устроят на берегу засаду для тех рыбаков, которые высадятся на берег, чтобы стрелять в нас.

План был хорош. Даже Чарли одобрил его. Но рыбаки перехитрили нас. Они предупредили нас, устроив с своей стороны засаду на берегу и захватив в плен Нейля и Николая, и пули снова засвистали мимо наших ушей, когда мы с Чарли попытались завладеть сетями. А как только мы отступили, Нейль и Николай были освобождены. У наших товарищей был смущенный вид по возвращении из плена, и Чарли беспощадно высмеивал их. Но Нейль не оставался в долгу. Он язвительно осведомлялся у Чарли, куда девалась его сообразительность и почему она не помогла ему до сих пор.

— Подождите, придет время—что-нибудь соображу,—обещал нам Чарли.

— Очень возможно,—соглашался Нейль,—но боюсь только, что лососей истребят к тому времени окончательно, и ваша выдумка никому уже не будет нужна.

Нейль Партингтон, очень недовольный этим приключением, отправился в Нижнюю бухту, взяв с собою Николая, и мы с Чарли снова оказались одни и могли рассчитывать только на свои силы. А это значило, что воскресная ловля будет производиться беспрепятственно, если у Чарли не явится какая-нибудь счастливая идея. Я тоже ломал себе голову, как обуздать греков. Мы составляли тысячи планов, которые вслед за тем оказывались никуда не годными.

Рыбаки чувствовали себя прекрасно и хвастались на берегу, что одержали над нами победу. Мы скоро заметили, что и остальное рыбачье население начинает выказывать нам неповиновение. Мы

потерпели поражение, и они перестали уважать нас, а потеряв к нам уважение, стали относиться пренебрежительно. Чарли они прозвали старой бабой, а я получил кличку «грудного младенца». Положение становилось невыносимым; мы должны были жестоко наказать греков и вернуть себе уважение, которым мы пользовались раньше.

Наконец, пришла счастливая мысль. Мы были в это утро на пароходной пристани и наткнулись на кучку береговых рабочих и зевак, столпившихся вокруг заспанного молодого парня в высоких морских сапогах, который рассказывал о своих злоключениях. По его словам, он был рыбаком-любителем и ловил рыбу для местного рынка в Беркли (Беркли—в тридцати милях отсюда, в Нижней бухте). Прошлой ночью,—рассказывал парень,—он закинул сеть и задремал на дне лодки. Он незаметно проспал до утра, и когда открыл глаза, увидел, что лодка тихонько ударялась о столбы пароходной пристани в Бениции, а рядом стоял речной пароход «Апаш», и два матроса снимали с пароходного колеса обрывки его сети. Короче говоря, пока он спал, его рыбачий фонарь потух, и «Апаш» прошел по его сети. Разорванная в клочья сеть каким-то образом зацепилась за пароход и протащила лодку на тридцать миль в сторону.

Чарли толкнул меня локтем. Я понял его мысль, но возразил:

— Мы не можем нанять пароход.

— Дело не в пароходе,—ответил он,—пойдем к Тернеровской верфи, у меня есть в голове кое-что. Мы теперь выпутаемся, может быть.

Мы двинулись на верфь; Чарли повел меня к «Марии-Ревекке», которая стояла в доке, где ее чистили и приводили в порядок. Это была плоскодонная шхуна, которую мы оба хорошо знали. Она поднимала груз в сто сорок тонн, а такой большой парусности, как у нее, не было ни у одной шхуны в заливе.

— Как живешь, Оле?—приветствовал Чарли огромного шведа в синей блузе, который чистил гафель у грота.

Оле буркнул что-то, не выпуская трубки изо рта и не отрываясь от работы. Капитан шхуны, плавающей по заливу, должен работать так же хорошо, как и его матросы.

Оле Эриксен подтвердил предположение Чарли, что «Мария-Ревекка» вскоре отправится по реке Святого Иоакима в Стоктон за пшеницей. Затем Чарли обратился к нему с предложением, и Оле Эриксен отрицательно покачал головой.

— Да только один крюк, один крепкий крюк,—просил Чарли.

— Нет, я никак не мог,—сказал Оле Эриксен.—«Мария-Ревекка» будет хватать каждый грязный мель с такой крюк. Я не хочу потерять «Мария-Ревекка». «Мария-Ревекка»—это все, что я имеет.

— Нет, нет,—поторопился объяснить Чарли,—мы просунем конец крюка через дно и укрепим его изнутри гайкой. Как только он

сделает свое дело, мы спустимся в трюм, отвинтим гайку, и крюк отпадет. Дыру забьем деревянной втулкой, и «Мария-Ревекка» снова будет в полной исправности.

Оле Эриксен долго упрямился, но под конец, после хорошего обеда, согласился.

— Хорошо, пусть так делайтся,—сказал он, ударяя своим огромным кулаком по ладони другой руки.—Только ви поскорее с крюк. «Мария-Ревекка» будет спущен в сегоднюю ночь.

Была суббота, и Чарли надо было поторопиться. Мы отправились к кузнецу верфи, и он по указаниям Чарли выковал большой тяжелый, сильно изогнутый стальной крюк. Затем мы поспешили к «Марии-Ревекке» и пробуравили почти посредине киля дыру. Я просунул снаружи крюк, а Чарли изнутри крепко закрепил его гайкой. Таким образом крюк спускался на фут ниже дна шхуны. Он был изогнут наподобие серпа, только кривизна его была еще больше.

К вечеру того же дня «Марию-Ревекку» спустили на воду и закончили все приготовления для того, чтобы на следующее утро отправиться вверх по реке. Чарли и Оле внимательно изучали вечернее небо, стараясь угадать, будет ли ветер: без хорошего бриза наш план не мог быть выполнен. Но оба они решили, что все приметы обещают на завтра сильный западный ветер—и даже не обыкновенный дневной бриз, а полушторм; он начинал уже подниматься.

На следующее утро их предсказания оправдались. Солнце ярко светило, но в Каркинезском проливе завывал ветер, похожий на настоящий шторм, а не только на полушторм, и «Мария-Ревекка» вышла с двумя рифами на гроте и одним на фоке. В проливе и Суизинской бухте нам пришлось трудновато, но когда мы вошли в более закрытые воды, ветер слабел, хотя паруса оставались наполненными.

Пройдя мимо маяка Корабельного острова, мы опустили рифы и по указанию Чарли приготовились поднять все паруса в любую минуту.

Мы летели точно на крыльях прямо на флотилию рыбаков, занятую ловлей лососей. Как и в то памятное воскресенье, когда они одержали над нами свою первую победу, вся река, насколько хватал глаз, была усеяна лодками и сетями. Только у правого берега в проливе рыбаки оставили узкое пространство для прохода судов, вся же остальная часть реки была покрыта широко раскинутыми сетями. Нам, собственно, полагалось пройти по этому узкому проходу, но Чарли, стоявший на руле, направил «Марию-Ревекку» прямо на сети. Это не встревожило рыбаков, потому что суда, идущие вверх по реке, обычно бывают снабжены так называемыми «башмаками» на конце киля и благодаря этому легко скользят по сетям, не задевая их.

— Теперь все сделано!—крикнул Чарли, когда мы стремительно пересекли линию поплавков, указывавших, где поставлена сеть. На одном конце этой линии находился маленький боченок, заменявший буй, а на другом—лодка с двумя рыбаками. Буй и лодка тотчас же начали сближаться, и рыбаки, увидев, что мы тащим их за собой, подняли громкий крик. Несколько минут спустя мы зацепили вторую сеть, за ней третью, и таким образом, перерезая флотилию посредине, стали нанизывать сети на крюк одну за другой.

Рыбаки были поражены и ошеломлены. Как только мы задевали сеть, оба конца ее—буй и лодка—сходились и следовали за нашей кормой. И все это множество лодок и буев неслось за нами с головокружительной быстротой, так что рыбакам приходилось заботиться только о том, как бы не разбиться друг о друга. Греки кричали, как сумасшедшие, требуя, чтобы мы легли в дрейф: они думали, что это просто шутка подвыпивших матросов, ни минуты не подозревая, что на судне рыбачий патруль.

Тащить даже одну сеть очень тяжело; поэтому Чарли и Эриксен решили, что «Мария-Ревекка» и при хорошем ветре не сможет протащить больше десяти сетей. Подцепив десять сетей и волоча за собой десять лодок с двадцатью рыбаками, мы повернули налево от флотилии и направились к Коллинсвилю.

Мы ликовали. Чарли так правил рулем, точно вел домой победившую на гонках яхту. Два матроса, составлявшие команду «Марии-Ревекки», шутили и смеялись. Оле Эриксен в детской радости потирал свои огромные руки.

— Я думай, ваша рыбачья патруль никогда не имел такой счастье, как с Оле Эриксен,—сказал он; как раз в этот момент за кормой резко щелкнул выстрел, и пуля, задев недавно выкрашенную каюту, ударилась в гвоздь и со свистом отскочила.

Это было уже слишком для Оле Эриксена. Пострадала свежая краска, которая так нравилась ему. Он вскочил и показал кулак рыбакам. Но тут вторая пуля ударилась в каюту в шести дюймах от его головы, и старый моряк пригнулся к палубе, укрывшись под бортом.

Все рыбаки были вооружены винтовками и открыли по нас стрельбу. Мы попрятались от пуль, и даже Чарли пришлось бросить руль, чтобы укрыться. Если бы не тяжелые сети, мы неминуемо попали бы в руки взбешенных рыбаков. Но сети, прочно прикрепленные ко дну «Марии-Ревекки», удерживали ее корму по ветру, хотя и не очень твердо.

Чарли, лежа на палубе, едва мог дотянуться до нижних спиц штурвала; править таким образом было очень неудобно. Оле

Эриксен вспомнил, что в пустом трюме лежит большой лист стали. Это был, собственно, кусок стальной обшивки борта с парохода «Новый Джерси», который недавно потерпел крушение за Золотыми Воротами и в спасении которого «Мария-Ревекка» принимала деятельное участие.

Осторожно пробираясь ползком по палубе, два матроса, Оле и я притащили тяжелый лист наверх и установили его на корме в виде щита между рыбаками и штурвалом. Пули со звоном ударялись об него, и он гудел, как мишень, но Чарли усмехался под своим прикрытием и хладнокровно продолжал править.

Мы быстро шли к Коллинсвилю, волоча вопящих разъяренных греков, настоящий бедлам [1]), и пули свистели вокруг нас.

— Оле,—сказал Чарли тихо,—я не знаю, что нам теперь делать.

Оле Эриксен, лежавший на спине у самого борта и улыбавшийся, глядя на небо, повернулся к Чарли.

— Я думал итти в Коллинсвиль,—сказал он.

— Но мы не можем там остановиться,—простонал Чарли.—Я не подумал о том, что там нельзя остановиться.

Широкое лицо Оле Эриксена медленно каменело. К сожалению, это была правда. У нас в руках пчелиный рой, а остановиться в Коллинсвиле значило сунуть голову в самый улей.

— У каждого рыбака ружье,—весело заметил один из матросов.

— Да еще и нож,—прибавил другой.

Теперь застонал Оле Эриксен.

— Чего это я, шведский человек, мешался в чужой дело, как обезьяна,—рассуждал он сам с собой.

Пуля скользнула по корме, прожужжав, как злобная пчела.

— Остается только одно—выбросить «Марию-Ревекку» на берег, а самим удрать,—заявил веселый матрос.

— Бросать «Мария-Ревекка»?—спросил Оле с непередаваемым ужасом в голосе.

— Оставайтесь, если желаете. Только я хотел бы быть за тысячу миль, когда эти ребята доберутся до «Марии-Ревекки»,—сказал матрос, указывая на беснующихся греков, которых мы тащили за собой.

Мы подошли к Коллинсвилю и, вспенивая воду, проходили около пристани.

— У меня одна надежда на ветер,—сказал Чарли, бросая украдкой взгляд на наших пленников.

— А что дер ветер?—печально сказал Оле.—Дер река скоро кончится, и тогда, тогда...

---

[1]) Бедлам—больница для душевно-больных в Лондоне.

— А тогда греки всех нас и сцапают, всех до единого,—сказал веселый матрос, пока швед раздумывал над тем, что будет, когда река кончится.

В это время мы подошли к тому месту, где река разветвлялась. Влево от нас было устье Сакраменто, а вправо—устье Святого Иоакима. Веселый матрос ползком пробрался вперед и перебросил фок, тогда как Чарли переложил руль вправо, и мы свернули в устье Святого Иоакима. Ветер задул теперь справа, и «Мария-Ревекка» так сильно накренилась на левый борт, что, казалось, вот-вот перевернется.

Однако, мы продолжали нестись вперед, а рыбаки тащились за нами. Их сети стоили значительно больше, чем те штрафы, которые полагались за нарушение законов о рыбной ловле. Таким образом, перерезать сети и скрыться—что было очень легко сделать—совсем не привлекало наших пленников. Да к тому же их удерживал около сетей инстинкт, тот самый инстинкт, который привязывает моряка к его судну. Но сильнее всего в них горела жажда мести, и они готовы были следовать за нами на край света, если бы только мы захотели тащить их за собой так далеко.

Выстрелы прекратились, и мы рискнули взглянуть, как ведут себя наши пленники. Лодки тянулись за нами на неравном расстоянии друг от друга, но мы заметили, что первые четыре лодки идут вместе. Повидимому, передняя лодка бросила с кормы конец следующей; лодки, одна за другой, ловили концы, отделялись от своих сетей и подтягивались в одну линию с передней лодкой.

Быстрота, с которой мы неслись вперед, сильно затрудняла этот маневр. Несмотря на величайшее напряжение, им иногда не удавалось подтянуться даже на один дюйм; иногда же они сближались довольно быстро.

Когда все четыре лодки достаточно приблизились друг к другу, чтобы дать возможность человеку перейти с одной на другую, в ближайшую к нам лодку перебралось из трех остальных по одному греку, при чем каждый захватил свою винтовку. Таким образом, в передней лодке собралось пять человек, и нам стало совершенно ясно, что они намеревались захватить «Марию-Ревекку». Чтобы привести этот план в исполнение, им нужно было порядком потрудиться. Ухватившись за веревку, к которой были прикреплены поплавки сети, они стали подтягиваться к судну. Работа шла медленно, с перерывами, но все-таки греки заметно подбирались к нам. Чарли улыбнулся, видя их усилия, и приказал:

— Отдайте-ка марсель, Оле!

Парус туго натянулся под свист пуль, посыпавшихся с лодок. «Мария-Ревекка» накренилась и понеслась вперед еще быстрее. Но

греки не потерялись. При этой быстроте они не могли подтягиваться к судну руками и, убедившись в этом, пустили в ход особый прием. Один из них перегибался далеко через нос лодки—товарищи держали его в это время за ноги—и прикрепляли блок к пловучему краю сети; затем все вместе налегали на тали, покуда блоки не сходились вместе; затем маневр повторялся.

— Отдать стаксель! [1])—скомандовал Чарли.

Оле Эриксен, взглянув на трепещущую от напряжения «Марию-Ревекку», покачал головой.

— Мачты слетят,—сказал он.

— Ну, а если вы не сделаете этого, то мы слетим с судна,—возразил Чарли.

Оле бросил тревожный взгляд на мачты, затем на лодку с вооруженными греками и подчинился.

Пять греков сидели на носу—место ненадежное, когда судно идет на буксире. Я приготовился следить за тем, как пойдет их лодка, когда у нас наставят большой рыбачий стаксель, который был несравненно больше марселя и распускался только при очень слабом ветре. «Мария-Ревекка» сильно рванула вперед, нос лодки нырнул в воду, и люди, сидевшие в нем, точно сумасшедшие, натыкаясь друг на друга, бросились к корме, чтобы спасти лодку от гибели.

— Это немного охладит их,—заметил Чарли; однако, он с тревогой следил за ходом «Марии-Ревекки», которая шла теперь под гораздо большей парусностью, чем ей полагалось.

— Следующая остановка в Антиохии,—объявил веселый матрос, подражая железнодорожному кондуктору,—а за ней Мерриузер.

— Иди-ка сюда поскорее,—позвал меня Чарли.

Я пополз по палубе и поднялся на ноги только тогда, когда очутился рядом с ним под прикрытием листа стали.

— Достань у меня из кармана записную книжку,—приказал он.—Хорошо. Вырви листок и пиши то, что я буду говорить.

Вот что я написал под его диктовку:

«Телефонируйте в Мерриузер шерифу, констэблю или судье. Скажите им, что мы идем туда, и чтобы они подняли на ноги весь город. Вооружите всех. Соберите людей на пристани, встречайте нас, иначе нам крышка».

— Теперь привяжи покрепче бумажку к этой свайке и стань тут, чтобы выбросить на берег.

Я сделал, как он указал. Мы приближались к Антиохии. Ветер свистел в снастях, и «Мария-Ревекка», сильно накренившись, неслась точно морская гончая. Моряки в Антиохии, увидев, что мы

---

[1]) Стаксель—косой парус, прикрепленный между мачтами.

подняли марсель и стаксель, что было чрезвычайно рискованно при таком ветре, стали собираться небольшими группами на концах пристани, стараясь понять, что происходит.

Чарли на полном ходу стал поворачивать к берегу, и мы так близко подошли к нему, что могли бы выпрыгнуть на пристань. Тогда он подал мне знак, и я бросил свайку. Она со стуком ударилась о доски пристани, подскочила на пятнадцать-двадцать футов и была подхвачена изумленными зрителями.

Все это произошло в один миг; в следующее мгновение Антиохия была уже позади, а мы неслись вверх по реке Святого Иоакима к Мерриузеру, лежавшему в шести милях оттуда.

Оле Эриксен, повидимому, впал в каменное отчаяние, но Чарли и оба матроса надеялись выбраться из тяжелого положения, и не без основания. Население Мерриузера состоит главным образом из углекопов, и так как день был воскресный, то можно было смело ожидать, что все они в городе. Углекопы никогда не питали особенной любви к греческим рыбакам и, наверное, согласятся помочь нам,—рассчитывали мы.

Во все глаза смотрели мы на город, и первое, что мы увидели, доставило нам огромное облегчение: пристани были черны от людей. Подойдя ближе, мы увидели, что народ все прибывает, спускаясь бегом по главной улице с оружием в руках. Чарли взглянул на рыбаков с гордостью победителя. Греки были поражены видом вооруженной толпы и спрятали свои винтовки.

Подходя к главной пристани, «Мария-Ревекка» повернула против ветра, и пленные рыбаки описали сзади нее большую дугу. Мы выбросили концы и притянули судно к пристани. Это было выполнено под радостные крики углекопов.

Оле Эриксен вздохнул с облегчением.

— Я думал, никогда я не видал больше жена,—сознался он.

— Почему? Нам не грозило никакой опасности,—возразил Чарли.

Оле недоверчиво взглянул на него.

— Уверяю вас,—продолжал тот,—нам нужно было только освободиться от крюка, что я сейчас и сделаю, чтобы греки могли распутать свои сети.

Он спустился вниз, отвинтил гайку, и крюк выпал в воду. Когда греки вытянули свои сети в лодки, отряд гражданской милиции получил греков из наших рук и отвел их в тюрьму.

— Я думаю, я был большой дурак,—сказал Оле Эриксен. Но он изменил свое мнение, когда горожане, собравшись на борту, стали жать ему руки, удивляясь ему, а несколько предприимчивых репортеров сфотографировали «Марию-Ревекку» и ее капитана.

ДИМИТРИОС КОНТОС

Не нужно думать на основании моих рассказов о греческих рыбаках, что все они дурные люди. Совсем нет. Но это были люди грубые, жившие замкнуто в своих поселках и жестоко боровшиеся со стихиями за свою жизнь. Они жили вне всяких законов, не понимали их и считали всякий закон ненужным угнетением. Особенно тираническими им казались, разумеется, законы о рыбной ловле, а поэтому они смотрели и на служащих в рыбачьем патруле, как на своих природных врагов.

Мы отнимали у них жизнь, т.-е., вернее, их средства к жизни, что в сущности одно и то же. Мы отбирали у них незаконные приспособления и сети, которые стоили им больших денег и изготовление которых требовало много времени и труда. Мы мешали им ловить рыбу в известные времена года и лишали их хорошего заработка. А когда мы арестовывали их, то за этим следовал суд и большие штрафы. В результате все они, конечно, смертельно ненавидели нас. Подобно тому, как собака является естественным врагом кошки, а змея—человека, так и мы, рыбачий патруль, являлись естественным врагом рыбаков.

Но чтобы доказать вам, что они были в такой же мере способны на великодушие, как и на ненависть, я расскажу о Димитриосе Контосе. Димитриос Контос жил в Валлехо. После Большого Алека это был самый сильный, храбрый и влиятельный человек среди греков. Он не доставлял рыбачьему патрулю никаких хлопот, и нам, пожалуй, так и не пришлось бы никогда столкнуться с ним, если бы он не приобрел новой лодки для ловли лососей. Эта лодка и послужила причиной всех бед. Он построил ее по собственной модели, которая несколько отличалась по внешнему виду от обыкновенных лодок этого типа.

К великой его радости судно оказалось очень быстроходным—быстроходнее всех лодок в заливе и на реках. Это обстоятельство и сделало Контоса необыкновенно гордым и чванным. Услыхав про наше приключение на «Марии-Ревекке», испугавшее всех рыбаков, он послал нам в Беницию вызов. Один из местных рыбаков передал его нам. Димитриос Контос заявил, что в ближайшее воскресенье

он выйдет из Валлехо, поставит свою сеть на виду у всей Бениции и будет ловить лососей; пусть-ка Чарли Легрант поймает его, если сможет. Конечно, мы с Чарли ничего не знали о качествах его новой лодки. Наша лодка была очень быстроходна, и мы не боялись состязания ни с каким парусным судном.

Настало воскресенье. Слух о вызове распространился повсюду, так что все рыбаки и моряки Бениции, как один человек, высыпали на пароходную пристань, точно на большое футбольное состязание. Мы с Чарли были спокойны, но вид этой толпы убедил нас в том, что Димитриос Контос что-то подготовляет.

После полудня, когда морской ветер подул сильнее, вдали показался его парус и лодка, идущая под парусом. Футах в двадцати от пристани грек переменил галс и сделал театральный жест, словно рыцарь, выходящий на поединок. В ответ ему понеслись с пристани дружеские приветствия, и Димитриос Контос бросил якорь в проливе в двухстах ярдах от нас. Затем он спустил парус и, поставив лодку по ветру, начал забрасывать сеть. Он выбросил не много, не больше пятидесяти футов; однако, дерзость этого человека поразила нас с Чарли. Мы не знали в то время, что сеть эта была старая и негодная. Только впоследствии нам стало это известно: она могла удержать несколько рыб, но сколько-нибудь значительный улов изорвал бы ее в клочки.

Чарли покачал головой и сказал:

— Сознаюсь, я ничего не понимаю. Он, правда, выбросил только пятьдесят футов, но все равно он не успеет собрать сеть, если мы теперь же двинемся к нему. Чего ради он явился сюда? Похвастаться перед нами, что он может нарушать закон в нашем же городке?

В голосе Чарли зазвучала обида, и он долго возмущался нахальством Димитриоса Контоса.

А герой этого происшествия, небрежно развалившись на корме, следил за поплавком своей сети. Когда в сеть попадает крупная рыба, поплавки дергаются и предупреждают рыбака. Повидимому, это как раз и случилось. Димитриос вытащил футов двенадцати сети и, продержав ее минуту в воздухе, бросил на дно лодки большого блестящего лосося. Толпа, стоявшая на пристани, встретила его улов громкими восторженными криками. Такой дерзости Чарли не мог вынести.

— Идем, мальчуган,—позвал он меня, и мы немедленно прыгнули в лодку и наставили парус.

Толпа криком предупредила Димитриоса, и пока мы отчаливали от пристани, он успел быстро отрезать ножом свою негодную сеть; его парус был наготове и затрепетал на солнце. Димитриос мигом

перебежал на корму и во весь дух помчался по направлению к холмам Контра Косты.

В это время мы находились не больше, чем в тридцати футах от него. Чарли ликовал. Он знал, что наша лодка быстроходна, и что в уменьи управлять парусом с ним мало кто может поспорить. Он не сомневался, что мы догоним Димитриоса, и я разделял его уверенность.

Дул хороший попутный ветер. Мы быстро скользили по воде, а Димитриос оказывался все дальше и дальше. Он не только шел быстрее, но и круче к ветру. Это особенно поразило нас, когда, огибая холмы Контра Косты, он перешел на другой галс и оставил нас позади, обогнав футов на сто.

— Фью,—свистнул Чарли,—не то у его лодки крылья выросли, не то к нашему килю [1]) прицепили пятигаллонную жестянку дегтя.

И действительно было похоже на то. Когда Димитриос проходил мимо Сономских холмов по другую сторону пролива, мы оказались так далеко от него, что Чарли приказал мне спустить шкот, и мы повернули назад в Беницию. Рыбаки, стоявшие на пароходной пристани, осыпали нас градом насмешек, пока мы причаливали и привязывали лодку. Мы поспешили уйти с пристани. Чарли чувствовал, что попал в глупое положение. Он гордился своей лодкой и своим уменьем управлять парусами, а теперь вдруг другой человек и обставил его на состязании.

Чарли был печален дня два. Затем нам передали, как и в первый раз, что в следующее воскресенье Димитриос Контос повторит свой опыт. Чарли встрепенулся. Он вытащил лодку из воды, вычистил ее, заново выкрасил дно, сделал какое-то изменение в ее киле, перебрал привод и просидел почти всю ночь под воскресенье за шитьем нового паруса, который был значительно больше прежнего. Парус этот был так велик, что нам пришлось прибавить балласта и уложить на дно лодки около пятисот фунтов старых рельсов.

Наступило воскресенье, и снова Димитриос Контос явился, чтобы дерзко нарушить закон среди белого дня. Так же, как и в прошлое воскресенье, после полудня поднялся свежий ветер, и Димитриос снова отрезал футов сорок гнилой сети, наставил парус и умчался из-под нашего носа. Но он угадал намерение Чарли: парус его поднялся выше обыкновенного, а к заднему лику был пришит кусок холста.

Пока мы гнались друг за другом по направлению к холмам Контра Косты, никто из нас не выиграл ни ярда расстояния. Но у Сономских холмов мы заметили, что Димитриос взял круче к ветру и идет быстрее нас. Однако, Чарли правил нашей лодкой так ловко и

[1]) Киль—продольный брус, лежащий в основании корпуса судна.

искусно, что, казалось, лучше нельзя было править, и мы мчались быстрее, чем когда-либо.

Конечно, Чарли мог вытащить свой револьвер и выстрелить в Димитриоса, но мы давно уже убедились, что все наше существо протестует против стрельбы в убегающего человека, виновного в незначительном проступке. Между рыбаками и патрульными существовало на этот счет как бы молчаливое соглашение. Если мы не стреляли по ним, когда они убегали, то и они в свою очередь не сопротивлялись, если нам удавалось их настигнуть. Точно так же и в этот раз Димитриос Контос убегал от нас, а мы только гнались за ним, стараясь захватить его. Но если бы наша лодка оказалась быстроходнее, если бы мы настигли его, он не стал бы сопротивляться и дал бы арестовать себя.

Благодаря широкому парусу и сильному ветру наше положение в Каркинезском проливе оказалось совсем невкусным, как говорится. Нам приходилось все время следить за лодкой, как бы она не перевернулась; в то время как Чарли управлял рулем, я держал шкот в руке, готовый каждую минуту отпустить его. У Димитриоса же работы было полные руки: он должен был один и править, и следить за парусами.

Но поймать его мы не могли. Его лодка действительно была быстроходнее нашей. И хотя Чарли правил не хуже, если не лучше его, наша лодка все же не могла сравняться с лодкой грека.

— Отдай шкот!—скомандовал Чарли, и когда мы пошли против ветра, к нам донесся насмешливый хохот Димитриоса.

Чарли покачал головой.

— Ничего не поделаешь,—сказал он.—У Димитриоса лодка лучше нашей. Если он захочет повторить еще раз свое представление, нам нужно будет придумать что-нибудь новенькое.

Тут на помощь явилась моя изобретательность.

— А что, если в следующее воскресенье я погонюсь на лодке за Димитриосом, а ты подождешь его на пристани в Валлехо да и сцапаешь, как только он высадится там?

Чарли подумал с минуту и хлопнул себя по колену.

— Ну, что ж, хорошая мысль! Ты начинаешь, брат, пускать в ход свои мозги. Честь твоему учителю, могу я сказать. Только не следует загонять его слишком далеко,—продолжал он через минуту,—иначе он пойдет в Сан-Пабло вместо того, чтобы вернуться домой в Валлехо, и я только зря простою на пристани, поджидая его.

В четверг Чарли высказал некоторое сомнения насчет нашего плана.

— Всем будет известно, что я отправился в Валлехо, и, конечно, Димитриос тотчас узнает об этом. Боюсь, что нам придется отказаться от твоей выдумки.

Возражение было основательное, и весь остаток дня я ходил разочарованным. Но ночью передо мной открылся новый план, и я в нетерпении разбудил крепко спящего Чарли.

— Ну,—проворчал он,—в чем дело? Дом горит?

— Нет,—ответил я,—не дом, а моя голова. Послушай-ка, что я придумал. В воскресенье мы оба останемся на берегу, пока не увидим Димитриоса. Это успокоит подозрение у всех рыбаков. Затем, когда на горизонте покажется его парус, ты не спеша отправишься в город. Все рыбаки решат, что тебе стыдно оставаться на пристани и что ты заранее уверен, что потерпишь поражение.

— Пока недурно,—согласился Чарли, когда я остановился, чтобы перевести дыхание.

— Все это очень хорошо,—гордо продолжал я.—Итак, ты небрежной походкой отправишься в город, но лишь только пристань скроется из виду, беги со всех ног к Дану Малонею. Бери его лошадку и кати по проселочной дороге в Валлехо. Дорога превосходная, и ты успеешь домчаться до Валлехо, пока Димитриос будет бороться с ветром.

— Ну, относительно лошади поговорим завтра утром,—сказал Чарли, утверждая мой измененный план.

— Послушай-ка,—сказал он немного спустя, в свою очередь расталкивая меня, когда я уже спал, как убитый.

Я слышал, как он посмеивался в темноте.

— Послушай, мальчуган, а не кажется ли тебе, что это совсем новость—рыбачий патруль верхом на лошади!

— Изобретательность,—ответил я.—Как раз то, что ты постоянно проповедуешь: опережай мыслью твоего противника, и ты победишь его.

— Хе-хе,—смеялся он.—А если к мысли прибавить резвую лошадку, тут противнику совсем плохо придется, не будь я твой покорный слуга Чарли Легрант.

— Только управишься ли ты один с лодкой?—спросил он в пятницу.—Не забывай, что мы наладим большой парус.

Я с таким жаром стал защищать свое уменье править, что он перестал говорить об этом. Но в субботу он предложил мне снять с заднего лика целый холст. Разочарование, отразившееся на моем лице, заставило его передумать—я тоже гордился своим уменьем управлять парусной лодкой и страстно желал выйти один под большим парусом и пуститься по Каркинезскому заливу в погоню за убегающим греком.

Настало воскресенье, появился, конечно, и Димитриос Контос. Воскресенье и Димитриос были неразлучны. У рыбаков вошло в привычку появляться на пароходной пристани, приветствовать Димитриоса и насмехаться над нашим поражением. Димитриос, как всегда, спустил парус в двухстах ярдах от пристани и выбросил пятьдесят футов гнилой сети.

— Я думаю, что эта глупость будет продолжаться до тех пор, пока у него не кончится старая сеть,—пробормотал Чарли с намерением, чтобы его услышали греки.

— Тогда ми давать ему мой старый сетка,—быстро и насмешливо сказал один из греков.

— А мне все равно,—ответил Чарли.—У меня тоже есть где-то старая сеть. Если он придет и попросит, я могу дать ему.

Все расхохотались, так как думали, что могут позволить себе добродушно пошутить с человеком, так глупо попавшимся, как Чарли.

— Ну, прощай, мальчуган,—крикнул мне Чарли минуту спустя.—Я пойду в город к Малонею.

— А я могу выйти в лодке?—спросил я.

— Если хочешь, ступай,—ответил он, повернулся и медленно направился к городу.

Димитриос вынул из своей сети двух больших лососей, и я прыгнул в лодку. Рыбаки с шутками толпились вокруг, и когда я начал поднимать парус, на меня посыпались коварные советы. Они предлагали друг другу самые смелые пари, утверждая, что я обязательно поймаю Димитриоса, а двое из них, войдя в роль судей, торжественно попросили разрешения отправиться со мной, чтобы посмотреть, как я это сделаю.

Но я не торопился, чтобы дать Чарли побольше времени, и только тогда, когда я был уже уверен, что Чарли сидит верхом на маленькой лошадке Дана Малонея, я отчалил от пристани и поднял большой парус. Порыв ветра сразу наполнил его, и лодка, накренившись на правый борт, зачерпнула ведра два воды. Это случается и с самыми хорошими матросами на маленьких лодках. Меня все же осыпали саркастическими замечаниями, точно я оказался повинен не весть в чем.

Когда Димитриос увидел, что в патрульной лодке только один человек и что это мальчишка, он решил поиграть со мной. Подпустив меня футов на пятнадцать, он сделал короткий галс и вернулся к пароходной пристани кружить и лавировать к великому удовольствию своих друзей. Я ни на шаг не отставал от него и повторял все его маневры, хотя для меня это было очень опасно при таком ветре и с таким парусом, как мой.

Он рассчитывал, что ветер, отлив и сильное волнение погубят меня. Но я был в приподнятом настроении и никогда в жизни не управлял лодкой так хорошо, как в этот день. Меня охватило возбуждение, ум мой быстро работал, руки ни разу не дрогнули, и я чутьем угадывал те тысячи мелочей, о которых хороший лодочный матрос должен думать ежесекундно.

Вместо меня сам Димитриос чуть не потерпел крушение. Что-то случилось у него со снастями, и я быстро нагнал его. Очевидно, какая-то неожиданность встревожила его. Димитриос перестал играть со мной и пошел по пути в Валлехо. К большой моей радости я заметил, что могу итти немного круче к ветру, чем он. Ему, очевидно, был теперь необходим помощник. Зная, что нас разделяет всего несколько футов, он не решался оставить руль и пройти на середину лодки и спустить гафель.

Опасаясь на этот раз взять круто к ветру, как делал он это раньше, Димитриос стал понемногу отдавать шкот и полегоньку травить его, чтобы уйти от меня. Я позволил ему опередить себя, пока шел против ветра, но затем стал нагонять его. Когда я приблизился, он притворился, что переходит на другой галс. Тогда я отдал шкот, чтобы обогнать его. Но это была только хитрая уловка, и он тотчас же снова перешел на прежний курс, а я поспешно стал наверстывать потерянное расстояние.

Разумеется, Димитриос управлял лодкой гораздо искуснее меня. Мне часто казалось, что я вот-вот настигну его, но он проделывал ловкий маневр и ускользал от меня из-под носа. Ветер становился все сильнее, и мы оба должны были внимательно следить за тем, чтобы не перевернуться. Моя лодка держалась только благодаря лишнему балласту. Я сидел скорчившись у наветренного борта и держал в одной руке руль, а в другой—шкот; так как шкот был только один раз обернут вокруг шпиля, то при сильных порывах ветра мне часто приходилось отдавать его. Из-за этого парус выводился из ветра, и я отставал от грека. Единственным утешением было то, что и Димитриосу приходилось прибегать часто к тому же маневру.

Сильный отлив, мчавшийся по Каркинезскому проливу против ветра, поднимал огромные свирепые волны, и они постоянно перекатывались через мою лодку. Я промок насквозь, и даже парус был подмочен. Один раз мне удалось перехитрить Димитриоса, и нос моей лодки ударился в середину его судна. Если бы у меня был теперь в лодке товарищ! Прежде чем я успел перебраться на нос, грек оттолкнул мою лодку веслом и насмешливо смотрел на меня.

Мы находились как раз у выхода из пролива, где море всегда бывает особенно бурно. Здесь смешиваются воды Каркинезского и

Валлехского проливов, как бы набегая друг на друга. Первый несет весь бассейн реки Напа, а во второй впадают все воды Сусинской бухты и рек Сакраменто и Святого Иоакима. Там, где сталкиваются эти огромные массы воды, всегда происходит сильное волнение. К тому же на этот раз в заливе Сан-Пабло, на расстоянии пятнадцати миль отсюда, бушевал сильный шторм. Неслись огромные волны, образуя водовороты и кипучие бездны. Волны вздымались со всех сторон, обрушиваясь на нас одинаково часто как с подветренной, так и с наветренной стороны. И, врываясь в это безумие расходившихся стихий, гремели огромные дымящиеся валы из залива Сан-Пабло.

Я был в таком же диком возбуждении, как и воды, плясавшие вокруг меня. Лодка шла великолепно, поднимаясь и опускаясь на волнах, точно беговая лошадь. Я с трудом сдерживал радость, властно охватывавшую меня. Огромный парус, воющий ветер, бушующие волны, ныряющая лодка, и я, пигмей среди всего этого, управлял стихиями, мчался среди них и над ними, торжествующий, как победитель.

И вот тогда, когда я несся, словно герой, моя лодка получила страшный удар и сразу остановилась. Меня бросило вперед, а затем на дно. Когда я вскочил на ноги, я увидел мелькнувший в волнах зеленоватый, покрытый раковинами предмет и узнал в нем чудовище всех моряков—затонувшую сваю. От нее нет спасения. Размокшая свая плывет как-раз под поверхностью и заметить ее своевременно при сильном волнении невозможно.

Весь нос лодки был, очевидно, раздавлен, потому что через несколько секунд лодка наполнилась водой. Затем нахлынули две-три волны, и лодка стала тонуть, увлекаемая на дно тяжелым балластом. Все это произошло так быстро, что я запутался в парусе и очутился под водой. Когда, едва не задохнувшись, я вынырнул на поверхность, от весел не было и следа: их, должно быть, унесло бурным течением. Я увидел, что Димитриос Контос смотрит на меня, и услышал его насмешливый голос, кричавший мне что-то. Он продолжал держаться своего курса, оставляя меня на гибель. Мне осталось только пуститься вплавь, но я могу продержаться, конечно, не больше нескольких минут. Задерживая дыхание и работая руками, я ухитрился стащить с себя в воде тяжелые морские сапоги и куртку. Но и сбросив с себя лишнюю тяжесть, я продолжал задыхаться, и скоро сообразил, что самое трудное не плыть, а дышать во время бури.

Волны били, кидали меня, покрывали с головой, душили, захлестывая глаза, нос и рот. Какие-то странные тиски сжимали мне ноги и тянули вниз, чтобы снова выбросить наверх в кипящем

водовороте; и когда, напрягая все силы, я готовился перевести дыхание, огромный вал вдруг обрушивался на меня, и я глотал вместо воздуха соленую воду.

Я не мог дольше держаться. Я уже дышал водою, а не воздухом; я тонул. Сознание покидало меня, голова кружилась. Я судорожно боролся, побуждаемый инстинктом, и барахтался в полубессознательном состоянии, как вдруг почувствовал, что кто-то тянет меня за плечо через борт лодки.

Некоторое время я лежал поперек скамьи, на которую меня бросили лицом вниз, и изо рта моего выливалась вода. Немного погодя, все еще чувствуя себя слабым, я повернул голову, чтобы посмотреть, кто был моим спасителем. И тут я увидел, что на корме со шкотом в одной руке и румпелем в другой сидит собственной персоной Димитриос Контос и, усмехаясь, кивает мне. Он хотел, было, оставить меня тонуть,—как он сам рассказывал после,—но лучшая часть его существа одержала победу и послала назад ко мне.

— Как твое дело, хорошо?—спросил он.

Я попытался изобразить губами «да»—голосом я не мог издать ни звука.

— Ты хорошо правил лодка,—сказал он,—хорошо, как мужчина.

Комплимент Димитриоса Контоса был большой похвалой, и я очень оценил это, хотя в ответ мог только наклонить голову.

Больше мы не разговаривали, потому что я старался притти в себя, а Димитриос Контос был занят лодкой. Он причалил к Валлехской пристани, привязал лодку и помог мне выйти. Когда мы оба стояли на пристани, из-за кольев, на которых сушились сети, вышел Чарли и опустил руку на плечо Димитриоса Контоса.

— Он спас мне жизнь, Чарли,—запротестовал я,—его нельзя теперь арестовывать.

На лице Чарли появилось не надолго выражение нерешительности, но тотчас же исчезло; так бывало всегда, когда он принимал какое-нибудь решение.

— Не могу ничем помочь тут,—сказал он ласково,—я не могу отступить от своего долга, а мой долг арестовать его. Сегодня воскресенье, а в его лодке два лосося, которых он поймал. Как же мне поступить?

— Но он спас мне жизнь,—настаивал я, не находя другого довода.

Лицо Димитриоса Контоса потемнело от гнева, когда он понял решение Чарли. По его разумению, с ним поступили несправедливо. Лучшая часть его простой натуры восторжествовала, он совершил великодушный поступок, спас беспомощного врага, и в благодарность за это враг тащил его теперь в тюрьму.

Когда мы с Чарли возвращались в Беницию, мы оба были в дурном настроении. Я стоял за дух закона, а не за букву его; а Чарли стоял за букву. Он считал, что иначе он поступить не мог. Закон говорил, что в воскресенье нельзя ловить лососей. Он был патрульным, и его долг следить за исполнением закона. Он должен это делать. Он исполняет свой долг, и совесть его чиста. А мне его поступок казался несправедливым, и я чувствовал жалость к Димитриосу Контосу.

Через два дня мы отправились в Валлехо на суд. Я должен был явиться в качестве свидетеля. Это была самая отвратительная минута, какую мне когда-либо в жизни приходилось испытывать. Я показал, стоя на месте свидетеля, что видел, как Димитриос поймал двух лососей, с которыми его задержал Чарли.

Димитриос взял адвоката, но дело его было безнадежно. Присяжные совещались четверть часа и вынесли ему обвинительный вердикт. Судья приговорил его к уплате штрафа в сто долларов или к тюремному заключению на пятьдесят дней. Тогда Чарли подошел к секретарю суда.

— Я хочу уплатить этот штраф,—сказал он, кладя на стол пять золотых монет по двадцати долларов.—Это... это одно, что можно сделать, мальчуган,—пробормотал он, обращаясь ко мне.

Глаза у меня стали влажными, и я схватил его за руку.

— Я хочу заплатить...—начал я.

— Заплатить половину?—прервал он.—Конечно, я так и думал что ты заплатишь свою половину.

Между тем адвокат сообщил Димитриосу, что Чарли помимо штрафа уплатил также и следуемое адвокату вознаграждение.

Димитриос подошел к Чарли и пожал ему руку, при чем вся его горячая южная кровь бросилась ему в лицо. Не желая, чтобы мы превзошли его в великодушии, он сказал, что хочет сам заплатить и штраф, и адвокату, и едва не вспылил, когда Чарли не согласился на это.

Этот поступок Чарли, как мне кажется, больше, чем что-либо другое, внушил рыбакам уважение к закону. Чарли высоко поднялся в их уважении, и я получил свою долю славы, как мальчик, который умеет управлять лодкой. Димитриос Контос не только никогда больше не нарушал закона, но сделался нашим приятелем, и при случае часто посещал Бениицию, чтобы поболтать с нами.

ЖЕЛТЫЙ ПЛАТОК

— Не хочу приказывать тебе, мальчуган,—сказал Чарли,—но я против того, чтобы ты принимал участие в этом последнем набеге. Ты вышел невредимым из всех тяжелых дел с грубыми парнями, и для нас будет стыдно, если с тобой что-нибудь случится под конец.

— Но как же мне не участвовать в последнем набеге?—возразил я с молодым задором.—Какой-нибудь из набегов должен же быть последним, ты сам знаешь!

Чарли скрестил ноги, откинулся назад и стал обдумывать этот вопрос.

— Так, верно. Но почему бы нам не назвать концом арест Димитриоса Контоса? Ты вышел из этого приключения целым, здоровым и веселым, хотя и промок изрядно, и... и...—его голос оборвался, и он замолчал на несколько секунд.—И я никогда не простил бы себе, если бы с тобой что-нибудь случилось.

Я посмеялся над страхом Чарли, но его тревога за меня растрогала меня, и я согласился считать, что последний набег уже сделан. Мы провели вместе два года, и теперь я уходил со службы в рыбачьем патруле, чтобы закончить свое образование. Я скопил из своего заработка достаточную сумму, чтобы пробыть три года в высшей школе, и так как я мог поступить в школу только через несколько месяцев, я собирался основательно подготовиться к вступительным экзаменам.

Мои пожитки были аккуратно уложены в морской сундук, и я хотел уже купить билет и отправиться по железной дороге в Оклэнд, когда в Беницию явился Нейль Партингтон. «Северный Олень» должен был немедленно итти по патрульному делу в Нижнюю бухту, и Нейль заявил, что намерен затем отправиться прямо в Оклэнд. В Оклэнде жила семья Нейля, где я должен был поселиться на время учения в высшей школе; поэтому он решил, что мне лучше всего поставить свой сундук на борт «Северного Оленя» и поехать вместе с ним.

Сундук был перенесен, и часа в два-три пополудни мы подняли большой парус «Северного Оленя» и отчалили. Стояла отвратительная осенняя погода. Ветер, дувший с моря все лето, теперь затих, и его заменили капризные береговые ветры. Небо хмурилось, и мы

были не в силах определить, сколько времени займет переход. Мы отчалили при самом начале отлива. Когда «Северный Олень» вошел в Каркинезский пролив, я бросил последний взгляд на Бэнпцию и на бухту Терперовской верфи, где мы вели осаду «Ланкаширской Королевы» и поймали Большого Алека, «короля греков». У устья пролива я оглянулся на то место, где я тонул и где, несомненно, утонул бы, если бы доброта в натуре Димитриоса Контоса не победила.

Густая стена тумана двигалась по заливу Сан-Пабло нам навстречу, и через несколько минут «Северный Олень» пробирался ощупью среди серой сетки из мелких капель. Чарли, сидевший на руле, казалось был одарен особым инстинктом к такого рода работе. Он сам сознавался, что не знает, как это ему удается; он как-то учитывал силу ветра, течение, расстояние, время, дрейф; можно было только удивляться ему.

— Как будто немного рассеивается,—сказал Нейль Партингтон через два часа после того, как мы вошли в полосу тумана.—Где мы теперь находимся, Чарли, можете вы определить?

Чарли взглянул на часы.

— Шесть часов; отлив будет еще продолжаться три часа,—заметил он как будто некстати.

— Но вы не сказали, где мы находимся,—повторил настойчиво Нейль.

Чарли подумал с минуту и ответил:

— Отлив немного отклонил нас от курса, но если туман сейчас рассеется,—а он, как будто, поднимается,—вы увидите, что мы находимся не дальше, чем на тысячу миль от Мак-Нирской пристани.

— Вы могли бы быть точнее на несколько миль,—проворчал Нейль, показывая своим тоном, что он недоволен шуткой.

— Хорошо,—сказал решительно Чарли,—до пристани не меньше четверти мили и не больше полумили.

Ветер посвежел, и туман стал заметно редеть.

— Вот там Мак-Нир,—сказал Чарли, указывая прямо в туман, окружавший нас с подветренной стороны.

Мы пристально вглядывались по указанному направлению, как вдруг «Северный Олень» глухо ударился обо что-то и остановился. Мы бросились вперед и увидали, что наш бушприт [1]) запутался в оснастке короткой, грубо сделанной мачты. Мы столкнулись с китайской джонкой, стоявшей на якоре.

В ту же минуту, как мы очутились на носу, пять заспанных китайцев, точно пчелы, гудя, высыпали из каюты.

---

[1]) Бушприт—наклонная мачта на носу корабля.

Впереди всех шел высокий, сильный человек; его изрытое оспой лицо и желтый шелковый платок, повязанный вокруг головы, сразу бросились мне в глаза. Это был Желтый Платок, китаец, которого мы арестовали год назад за незаконную ловлю креветок; в тот раз он едва не потопил «Северного Оленя», и теперь снова чуть-чуть не пустил его ко дну, нарушив правила навигации.

— Что вы это стали на фарватере и не подаете никаких сигналов?—сердито закричал Чарли.

— Вы спрашиваете, почему они стоят здесь без сигналов?—спокойно ответил Нейль.—Посмотрите—и поймете.

Мы взглянули по направлению, указанному Нейлем, и увидели, что открытый трюм джонки почти доверху заполнен только-что наловленными креветками. Тут же вместе с креветками лежали мириады рыбешек величиной от четверти дюйма. Желтый Платок поднял сеть после прилива и, пользуясь туманом, дерзко стал на фарватере, приготовляясь, очевидно, еще раз поднять сеть после отлива.

— Так,—сказал Нейль сквозь зубы,—за всю мою разнообразную и большую практику в качестве начальника рыбачьего патруля мне ни разу не удавалось—должен сказать это—так врасплох накрыть рыбаков. Что же нам теперь делать с ними, Чарли?

— Отведем джонку на буксире в Сан-Рафаэль,—ответил Чарли. Обернувшись ко мне, он сказал:—Ты, мальчуган, переходи в джонку, а я брошу тебе буксирный канат. Если ветер не помешает, мы успеем пройти реку до отлива, переночуем в Сан-Рафаэле и завтра к полудню будем в Оклэнде.

Сделав это распоряжение, Чарли с Нейлем занялись «Северным Оленем» и двинулись в путь, взяв джонку на буксир. Я перешел на джонку и принял на себя обязанность следить за пленниками. Усевшись на корме джонки, я начал управлять ею с помощью допотопного руля с широкими отверстиями в форме ромба, через которые непрерывно переливалась вода.

Туман понемногу рассеялся, и расчеты Чарли подтвердила показавшаяся в полумгле пристань Мак-Нира. Пройдя вдоль западного берега, мы обогнули мыс Педро на виду у рыбачьих поселков, где жили китайцы, занимавшиеся ловлей креветок. Увидев, что одна из их джонок тянется на буксире за хорошо знакомым патрульным судном, они подняли страшный шум.

С берега дул неровный, порывистый ветер, для нас же было бы гораздо лучше, если бы он дул сильнее и устойчивее. Речка Сан-Рафаэль, по которой нам нужно было плыть, чтобы добраться до города и передать там наших пленников властям, протекала через обширные топи; и по ней было трудно итти при убывающей воде, а при низкой она становилась совсем несудоходной. Вода быстро убывала, и нам

нужно было спешить. Но тяжелая джонка, тащившаяся позади, задерживала ход «Северного Оленя».

— Прикажи-ка своим кули, чтобы они подняли парус!—крикнул мне, наконец, Чарли.—Не сидеть же нам, в самом деле, из-за них целую ночь в болоте!

Я повторил приказание Желтому Платку, который хриплым голосом неохотно передал его своим товарищам. Он был сильно простужен и корчился от приступов кашля; глаза его были воспалены и налиты кровью. Когда он бросил на меня злобный взгляд, я с ужасом вспомнил стычку, которая произошла между нами при его аресте в прошлом году.

Команда его угрюмо натянула фалы, и странный, чужеземный парус, косой, выкрашенный в темно-коричневый цвет, затрепетал в воздухе. Мы шли с хорошим ветром, и когда Желтый Платок натянул шкот, джонка пошла быстрее, и буксир ослабел. Как ни быстро шел «Северный Олень», джонка догоняла его, и, чтобы избежать столкновения, я взял немного круче к ветру. Но джонка продолжала приближаться, и через несколько минут я очутился у борта «Северного Оленя». Теперь оба буксирных каната натянулись под прямыми углами к обеим лодкам. Положение получалось очень забавное.

— Отдай канат!—крикнул я.

Чарли колебался.

— Да не бойся,—прибавил я,—ничего не случится. Мы пройдем реку на этом галсе, а вы будете все время сзади до самого Сан-Рафаэля.

Чарли отдал канат, и Желтый Платок послал одного из китайцев на нос, чтобы выбрать канат. Я едва разглядел в сгущавшихся сумерках устье Сан-Рафаэля, и когда Джонка вошла в реку, с трудом мог различить берега. «Северный Олень» находился в пяти минутах хода позади нас, но мы все сильнее опережали его, быстро двигаясь по узкой, извилистой реке. Зная, что позади находится Чарли, я не боялся своих пятерых пленников, но темнота мешала мне следить за ними, и я переложил револьвер из заднего кармана брюк в боковой карман куртки, откуда мне было легче достать его.

Я боялся только Желтого Платка. Он прекрасно понимал это и, как покажут дальнейшие события, воспользовался этим в свое время. Он сидел в нескольких футах от меня. Я едва различал очертания его фигуры, но тем не менее заметил, что он медленно подвигается ко мне. Я стал внимательно следить за ним. Держа левую руку на румпеле, я засунул правую в карман куртки и нащупал револьвер.

Я увидел, что китаец придвинулся ко мне еще на несколько дюймов, и только собрался крикнуть ему: «Назад!»—как вдруг чья-то грузная фигура прыгнула на меня с другой стороны и одним ударом

сбила с ног. Это был китаец из команды джонки. Он вцепился в мою правую руку так, что я не мог уже вытащить ее из кармана, и в то же время другой рукой зажал мне рот. Я сумел бы вырваться и освободить руку или рот и поднять тревогу, но в этот момент на меня навалился и Желтый Платок.

Я тщетно барахтался на дне джонки. Мои руки и ноги были крепко скручены, а рот завязан, как оказалось потом, чьей-то ситцевой рубахой. Желтый Платок взял румпель и стал шопотом отдавать приказания. По положению своего тела и по перестановке паруса, который смутно вырисовывался надо мной при свете звезд, я понял, что джонка направляется в устье маленькой болотистой речонки, которая впадала в Сан-Рафаэль.

Через несколько минут мы тихо подошли к берегу и бесшумно спустили парус. Все китайцы соблюдали полную тишину. Желтый Платок присел на дно рядом со мной, и я слышал, как он старался подавить свой резкий, отрывистый кашель. Прошло, должно быть, минут семь-восемь. Затем я услышал голос Чарли, когда «Северный Олень» проходил мимо устья речонки.

— Не могу сказать вам, как я рад, что наш мальчуган благополучно покончил с рыбачьим патрулем,—услышал я слова Чарли.

Тут Нейль сказал что-то, чего я не расслышал, а затем голос Чарли продолжал:

— У мальчугана большие способности к морскому делу, и если он, окончив школу, изучит навигацию и отправится в дальнее плавание, то из него выйдет прекрасный моряк.

Все это было очень лестно; но лежа связанным, в плену у моих же пленников, я не испытывал никакой радости, с тревогой прислушиваясь, как замирают вдали голоса на «Северном Олене», удалявшемся по направлению к Сан-Рафаэлю. С «Северным Оленем» исчезла моя последняя надежда. Я не мог и вообразить себе, что ожидает меня. Китайцы были для меня людьми чужой расы, и я не мог предвидеть, как они поступят в данном случае.

Прождав еще несколько минут, команда подняла косой парус, и Желтый Платок направил лодку к устью Сан-Рафаэля. Вода все убывала, и ему с трудом удавалось огибать илистые мели. Я надеялся, что джонка сядет на мель, но Желтый Платок вывел ее из залива без всяких несчастий.

Когда мы вышли из реки, между китайцами загорелся страшный спор; я догадался, что спор шел обо мне. Желтый Платок что-то горячо доказывал, но остальные четверо не менее горячо возражали ему. Было очевидно, что он предлагал покончить со мной, а они боялись последствий. Но я никак не мог понять, что они предлагают вместо жестокого плана Желтого Платка.

Легко представить, что я испытывал в то время, когда жизнь моя висела на волоске. Спор перешел в ссору, и в разгаре ее Желтый Платок, выхватив тяжелый румпель, прыгнул ко мне. Но его четыре товарища схватили его, и между ними завязалась борьба из-за румпеля. Наконец, Желтый Платок уступил и угрюмо вернулся на свое место к рулю, между тем как остальные стали упрекать его.

Парус спустили, и джонка медленно продвигалась на веслах. Я чувствовал, как она тихо врезывается в мягкую тину. Трое китайцев—все они были в высоких морских сапогах—прыгнули через борт, а двое других подняли меня и передали высадившимся товарищам. Желтый Платок взял меня за ноги, двое других китайцев за плечи, и процессия двинулась, поминутно увязая в топкой тине. Затем они зашагали по более твердой почве, и я понял, что меня выносят на берег. Я знал, где мы находились. Это мог быть только один из скалистых островков архипелага, так называемых Морских Островов.

Добравшись до твердой песчаной полосы, китайцы бросили меня—не особенно нежно—на землю. Желтый Платок злобно толкнул меня в бок, и затем все они, шлепая по тине, отправились назад к джонке. Через минуту я услышал, что они подняли парус, который заполоскал от ветра. Затем наступила тишина, и мне оставалось рассчитывать только на собственную изобретательность, чтобы освободиться от связывавших меня пут.

Я вспомнил, как фокусники в цирке, извиваясь и корчась, освобождались от связывавших их веревок. Но как я ни барахтался, как ни изворачивался, узлы нисколько не становились слабее. Между тем, барахтаясь, я докатился до кучи двухстворчатых раковин, которые, очевидно, остались там после какой-нибудь увеселительной прогулки на яхте. Это подало мне счастливую мысль. Руки мои были скручены за спиной; я схватил ими раковину и покатился по берегу к скалам: я знал, что здесь их много.

Я долго катился, ища подходящей щели. Наконец, я нашел ее и засунул туда раковину. Затем я стал тереться веревкой, которая связывала мои руки, об острый край раковины. Но хрупкий край обломался, так как я слишком сильно надавил на него. Я покатился обратно к куче и взял столько раковин, сколько мог захватить в обе руки. Много раковин я поломал, много раз царапал и разрезал себе руки, и от напряжения у меня начались судороги в ногах. Когда я лежал в мучительных судорогах, со стороны моря раздался знакомый голос,—голос Чарли,—который окликал меня. Но я не мог ответить и только беспомощно пыхтел, а лодка проходила мимо острова, и голос постепенно замирал вдалеке.

Я принялся пилить мои путы, и мне удалось, наконец, перетереть их. Остальное было легко. Как только руки стали свободны, развязать веревки, связывавшие ноги, и вынуть кляп изо рта было делом одной минуты. Я обежал кругом острова, чтобы убедиться, что это действительно остров, а не часть материка. Да, это был остров из группы Морских Островов, окаймленный песчаными отмелями и кольцом тины. Нужно было ждать рассвета и как-нибудь согреться. Ночь была необычайно холодная и сырая для Калифорнии, и ветер пронизывал меня до костей.

Чтобы согреться, я обежал много раз вокруг острова через его скалистый хребет, и это, как оказалось потом, сослужило мне большую службу не только тем, что помогло согреться. Среди этих упражнений я вспомнил, что легко мог выронить свои вещи из карманов, пока катался по песку. Обыскав карманы, я убедился, что у меня нет револьвера и перочинного ножа. Револьвер взял Желтый Платок, но нож я, должно быть, потерял в песке. Я принялся искать его, как вдруг услышал скрип уключин. Сперва я подумал о Чарли, но потом сообразил, что Чарли, несомненно, звал бы меня. Меня вдруг охватило предчувствие опасности. Эти острова—пустынное место, и трудно ожидать, чтобы случайные посетители причаливали к ним среди глубокой ночи. А что, если это Желтый Платок? Скрип уключин становился все явственнее. Я скорчился на песке и стал напряженно прислушиваться. Лодка (судя по частым ударам весел,—маленький ялик) остановилась в тине ярдах в пятидесяти от берега, и я услышал сухой, скрипучий кашель. Сердце мое остановилось: это был Желтый Платок. Чтобы совершить мщение, которому помешали его товарищи, он тайком ускользнул из поселка и вернулся ко мне один.

Что делать? Что мне делать? Я был безоружен и беспомощен на этом островке, а Желтый Платок, которого я не напрасно боялся, явился сюда за мной. Любое место будет для меня безопаснее, чем остров, и я инстинктивно бросился к воде, или, вернее, к тине. Когда Желтый Платок зашлепал по воде, направляясь к берегу, я вошел в тину и побежал, спотыкаясь, по тому же направлению, которого держались китайцы, когда высаживали меня на берег и возвращались обратно в джонку.

Желтый Платок, думая, что я лежу крепко связанный на берегу, не соблюдал осторожности и шумно шлепал по воде. Это помогало мне, и я под этот шум, стараясь двигаться как можно тише, успел пройти шагов пятьдесят, пока он добрался до берега. Затем я лег в тину и стал ждать. Тина была липкая и холодная. Я весь дрожал, но не рисковал подняться и побежать, боясь, как бы зоркие глаза Желтого Платка не открыли меня.

Выйдя на берег, китаец зашагал прямо к тому месту, где меня оставили связанным, и я даже пожалел, что не могу видеть его изумленного лица. Но сожаление было очень мимолетным, так как зубы мои стучали от холода.

Я мог только догадываться, что он делал, так как едва различал его при свете звезд. Но я не сомневался, что он первым делом обойдет берег, чтобы посмотреть, не пристали ли к острову другие лодки. Узнать это было очень легко по следам в тине.

Убедившись, что за мной не приплывала лодка, он должен был постараться выяснить, что сталось со мной. Он наткнулся на кучу раковин и пошел по моим следам, освещая себе путь спичками. Каждый раз, как спичка вспыхивала, я видел его лицо, когда же сера от спичек раздражала его легкие, он начинал кашлять. Признаюсь, в эти минуты я, лежа в липкой тине, начинал дрожать еще сильнее.

Обилие моих следов смущало его. Поэтому ему, очевидно, пришло в голову, что я лежу где-нибудь в тине, потому что он сделал несколько шагов по направлению ко мне и, остановившись, долго и тщательно осматривал темную поверхность. Желтый Платок был не более чем в пятнадцати футах от меня, и если бы он в эту минуту зажег спичку, то непременно увидел бы меня.

Он вернулся на берег, и, вскарабкавшись на скалистый хребет, отправился искать меня, освещая себе путь спичками. Близость опасности заставила меня бежать дальше. Не решаясь встать и пойти, так как тина шумно захлюпала бы под ногами, я стал передвигаться по ней ползком на руках. Держась все время следов, оставленных китайцами, когда они шли с джонки на берег и обратно, я дополз, наконец, до воды. Здесь я дошел вброд до глубины в три фута и, свернув в сторону, поплыл почти параллельно берегу.

У меня мелькнула мысль захватить ялик Желтого Платка и удрать на нем, но в этот момент китаец вернулся на берег и, словно угадав мое намерение, зашлепал по тине, чтобы проверить, цел ли его ялик. Это заставило меня повернуть в обратную сторону. Полуплывя, полуидя, высунув из воды одну только голову и стараясь не плескать, я кое-как отошел футов на сто от того места, где китайцы высаживались из своей джонки. Я снова забрался в тину и растянулся на ней плашмя.

Желтый Платок вернулся на берег, обыскал весь остров и еще раз подошел к куче раковин. Я прекрасно понимал, о чем он думает. Никто не мог уйти с острова или подойти к нему, не оставив следов в тине, а между тем единственные имевшиеся следы шли от его

ялика и от того места, где останавливалась первая джонка. Меня не было на острове, значит, я ушел по одному из этих следов. Он только-что побывал у своего ялика и убедился, что я не ушел этим путем. Значит, я мог уйти только по тем следам, которые вели к джонке. И, чтобы проверить это, он сам направился по следу, оставленному китайцами, поминутно чиркая спички.

Дойдя до того места, где я лежал первый раз, он открыл мои следы. Я понял это по тому, что он долго стоял там и жег много спичек. Он пошел по этим следам до самой воды, но на глубине трех футов Желтый Платок не мог больше различить их. С другой стороны, так как отлив все еще продолжался, то он легко заметил бы след, оставленный носом какой-нибудь джонки, точно так же, как и всякой другой лодки, если бы она пристала в этом месте. Но такого отпечатка не было, и китаец, как я понимал, был убежден в том, что я скрываюсь где-нибудь в тине.

Но искать в темноте в тине мальчика было все равно, что искать иголку в стоге сена, и он даже не пытался делать это. Он опять вернулся на берег и некоторое время побродил там. Я надеялся, что он откажется от своих поисков и уплывет. Я очень хотел этого, ах, как я страдал от холода! Наконец, он зашлепал к своему ялику и отчалил. А что, если это только уловка? Что, если он сделал это, чтобы заставить меня выйти на берег?

Чем больше я об этом думал, тем больше мне казалось подозрительным, что он так громко шумел веслами, когда отчаливал. Я остался лежать и дрожать в тине. Я так дрожал, что у меня заболели мускулы спины, и боль эта была еще мучительнее озноба. Мне нужно было напрячь всю мою волю, все самообладание, чтобы остаться в этом убежище.

И хорошо, что я сделал это, потому что через час на берегу что-то задвигалось. Я стал всматриваться в темноту, но уши предупредили меня раньше глаз; я услышал знакомый кашель. Желтый Платок высадился на остров, подплыв к нему с другой стороны, чтобы захватить меня на нем врасплох, если бы я вернулся туда.

После этого прошло несколько часов без всяких признаков присутствия Желтого Платка, а я все еще боялся выйти на берег. С другой стороны, меня в такой же мере пугала мысль, что я не выдержу этого испытания и умру. Я никогда не представлял себе, что можно так страдать. Я до такой степени застыл и окоченел, что перестал дрожать. Вместо этого мои мускулы и кости начали невыносимо болеть: я думал, что это агония. Прилив давно начался, и меня мало-по-малу стало относить к берегу. Высшей точки прилив достиг в три часа, и в три часа я вылез на берег, полуживой

и настолько беспомощный, что я не мог бы оказать никакого сопротивления, если бы Желтый Платок набросился на меня.

Желтый Платок не явился. Он отказался от меня и вернулся на мыс Педро. Но и без него положение мое было весьма плачевно. Я не мог ни стоять, ни ходить. Промокшее грязное платье сковывало меня точно ледяной панцырь. Казалось, что мне никогда не удастся снять его. Мои пальцы так онемели и сам я был так слаб, что провозился не меньше часа над тем, чтобы стащить сапоги. У меня не было сил разорвать кожаные шнурки, а узлы приводили меня в отчаяние. Я колотил руками о землю, чтобы оживить их. Минутами мне казалось, что я умираю. Но в конце концов, спустя несколько столетий, по-моему, я освободился от мокрого платья. Вода была теперь близко, и я с мучительными усилиями добрался до нее ползком и смыл тину со своего обнаженного тела. Я все еще не был в силах подняться на ноги и пойти, а между тем лежать я боялся. И мне не оставалось ничего другого, как медленно ползать взад и вперед по песку в роде улитки, и это требовало огромных усилий и вызывало мучительное, болезненное ощущение во всем теле. Я продолжал это занятие, пока хватило сил; но когда восток побледнел, я начал при первых проблесках зари слабеть. Небо загорелось розово-красным огнем, и золотой глаз солнца, показавшись над горизонтом, нашел меня лежащим беспомощно и неподвижно среди раковин.

Точно во сне я увидел знакомый грот «Северного Оленя», выскользнувший из речки Сан-Рафаэль при легком утреннем ветерке. Это видение несколько раз обрывалось, и были промежутки, которых я никак не могу восстановить в памяти. Однако, три вещи я помню отчетливо: первое появление грота «Северного Оленя»; момент, когда он бросил якорь в нескольких стах футов от меня и спустил маленькую шлюпку, и, наконец, гудящую, раскаленную докрасна печь каюты и самого себя, закутанного в одеяла. Открытыми оставались плечи и грудь, и Чарли немилосердно растирал их и колотил, а Нейль Партингтон обжигал мне рот и горло слишком горячим кофе. Но обжигал он или нет, надо сознаться, что это было приятно. К тому времени, как мы пришли в Оклэнд, я был уже здоров и силен попрежнему, хотя Чарли и Нейль Партингтон боялись, как бы у меня не началось воспаление легких, а миссис Партингтон в течение первых шести месяцев не переставала за мной озабоченно следить, не появятся ли у меня во время моего пребывания в школе симптомы чахотки.

Время летит. Мне кажется, что я вчера был шестнадцатилетним мальчиком, служащим в рыбачьем патруле. Однако, я знаю, что я

только сегодня утром пришел из Китая на купеческом корабле «Гарвестер», капитаном которого я состою. И знаю, что завтра утром я отправлюсь в Оклэнд повидать Нейля Партингтона и его жену, а оттуда загляну в Беницию к Чарли Легранту, и мы поболтаем с ним о старых временах. Нет, в Беницию я не поеду. Мне скоро придется присутствовать в качестве очень заинтересованной стороны на одной свадьбе. Имя невесты—Алиса Партингтон, а так как Чарли обещал быть шафером, то он должен приехать в Оклэнд, и мне незачем ехать к нему.

СОДЕРЖАНИЕ

МОРСКОЙ ВОЛК

Стр.

РАССКАЗЫ РЫБАЧЬЕГО ПАТРУЛЯ